

ЛЕХАИМ N 9 (209)

СЕНТЯБРЬ 2009г.

ЭЛУЛ 5769

ЛЕХАИМ СЕНТЯБРЬ 2009 ЭЛУЛ 5769 – 9(209)

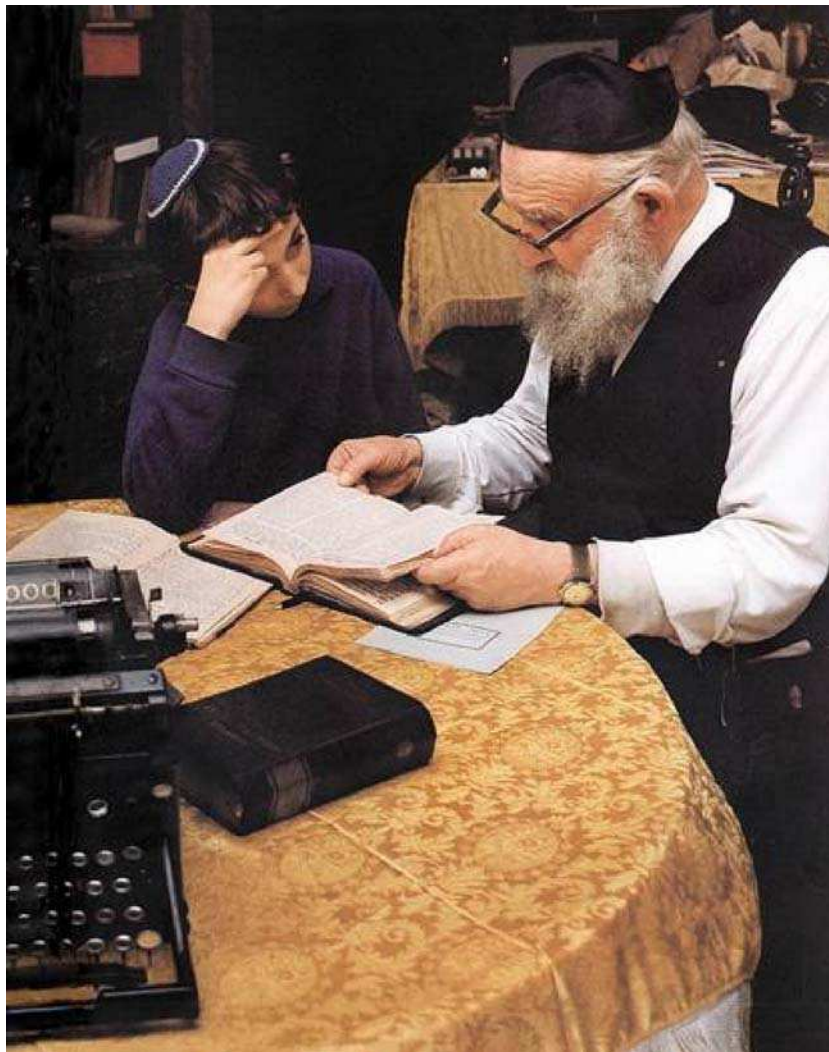
Послания Любавичского Ребе

Здоровье тела, сознания и духа.

לִיבּוֹבּוֹבֵי אֵיךְ עוֹלָמִי אֲבֹד אֲבֵי אֲבֹד

О старости

Становясь старше



Общество приучило нас видеть в снижении физических возможностей человека нечто прискорбное и считать, что пожилые люди менее способны к созидательному труду.

Иногда пожилых людей призывают относиться к таким изменениям позитивно: «Вы заработали себе право на отдых. Вы заслужили его». Другие высказываются более резко: «От вас уже никакой пользы – пора освободить место для других».

Обычай выталкивать людей на пенсию влияет на их психологию. Многие связывают с пенсией менее осмысленную и созидательную жизнь – поскольку считают, что стареют, – и подсознательно осуществляют свое предвидение.

Тора предлагает иной взгляд на вещи: «Долголетие возвестит мудрость» (Иов, 32:7). Наши мудрецы объясняют (в заключении трактата Киним; см. Шабат, 152а), что чем старше становятся те, кто изучает Тору, тем основательнее их знания. Это относится не только к ученым; наши мудрецы учат (Кидушин, 33а) проявлять уважение даже к необразованным людям, достигшим преклонных лет: благодаря обретенному опыту они становятся мудрее и проницательнее, а это бесценно для молодежи.

Поскольку человек по сути своей – существо мыслящее, а с возрастом он приумножает разум, нет оснований полагать, что наступил предел его активности. Закаленный жизнью человек приносит пользу другим, направляя их и помогая советом. Он больше влияет на людей, чем в юности, когда тратил свою энергию в основном на собственные удовольствия.

Когда отталкивают старого человека, это наносит урон не только ему, но и тем, кто хочет его заменить. Они лишают себя мудрости, приходящей с возрастом; одна лишь энергия молодых людей не компенсирует потерю мудрости.

Это особенно справедливо для нынешней эпохи, когда мы прилагаем значительно меньше физических усилий благодаря достижениям в области технологий и коммуникаций. Теперь более чем когда-либо знание и разум определяют социально-экономическое развитие. В такую эпоху людей, одаренных подобными качествами, должны ценить, а не отбрасывать за ненадобностью!

Человеку естественно желать больше того, чем он обладает. Как говорили наши мудрецы (см. Коелет раба, 1:13; Рамбам и Бахайе, конец Паршат Хаей Сара): «Кто имеет сотню, ищет две сотни». С возрастом это желание не утрачивается. Напротив, знания и мудрость, приходящие с опытом, побуждают нас стремиться ко все более масштабным и далеко идущим целям. Нам сказано (Иов, 5:7): «Человек рождается для труда». А с возрастом труд его и плоды труда тоже приумножаются.

С другой стороны, человек по прошествии многих лет обретает возможность пересмотреть свои приоритеты, ибо саму жизнь – а не просто зарабатывание на жизнь – он осмысливает как нечто основополагающее. Чем старше человек, тем меньше он зависим от финансовых проблем. Дети вступают в брак и живут отдельно. Все это позволяет пересмотреть свои устремления. Временами в молодости бизнес для человека был всем – пищей, водой и сном. Теперь у него появилась возможность обратить взор в другую сторону и развиваться духовно. Физические силы человека убывают, а мудрость возрастает (см. Зоар, т. 1, 180б, откуда наши мудрецы выводят: «Слабость тела – это сила души»), и это открывает ему познания в той области, где он намерен реализовать свою энергию.

Высокое духовное сознание, наполняющее жизненной силой многообразие опыта, позволяет ему жить насыщенной жизнью. Это, в свою очередь, наделяет его умением предчувствовать и, тем самым, приближать наивысший человеческий опыт, Эру Искупления, когда «еще сидеть будут старики и старухи на площадях Йерушалаима» (Зхарья, 8:4). Да произойдет это в ближайшем будущем!

Тора полагает, что старость – достоинство и благо. В Торе «старый» («закен») всегда синонимичен «мудрому». Тора требует уважать всех престарелых, независимо от их образованности и благочестия, поскольку многочисленные испытания и опыт, которые приносит каждый год прожитой жизни, сообщают мудрость, не сравнимую ни с каким источником знаний.

Тора описывает Авраама как «старого и в годах преклонного» (Берешит, 24:1). Он накапливал дни, исполненные ученостью и победами, – и с каждым прошедшим днем достоинство Авраама возрастало. Поэтому долгая жизнь считается одним из величайших благ, дарованных человеку.

Такое отношение к старикам диаметрально противоположно нынешнему, как правило, характерному для «развитых» стран сегодняшнего мира. В западном мире в XX веке старость – это бремя. Молодость распахивает двери во все сферы деятельности, от бизнеса до работы в правительстве. Молодое поколение утверждает, что необходимо «учиться на собственных ошибках», а не строить свою жизнь на опыте старших.

Считается, что в 50 лет человек «достиг своего пика»; ему уже намекают: лучше, чтобы его место занял кто-нибудь лет на двадцать пять помоложе. Многие компании и учреждения побуждают служащих выходить на пенсию в 65 лет, а то и раньше.

Так, из-за воззрений общества поздние годы жизни людей отмечены бездеятельностью и упадком. Стариков заставляют почувствовать, что они бесполезны, а то и вовсе являются обузой, и лучше уж им заточить себя в какой-нибудь «деревне пенсионеров» или в доме престарелых.

После десятилетий востребованности их знания и талант внезапно становятся ненужными. В течение многих лет эти люди приносили пользу обществу и вдруг превратились в нахлебников, которые должны питать благодарность к молодым за каждый миг, когда те отвлекаются на полчаса, чтобы вежливо поговорить с ними и подарить галстук на День отца.

На первый взгляд такое отношение отчасти оправданно. Разве с годами человек не ослабевает физически? Хорошо известно, что прекращение активной деятельности у пенсионеров – ключевой фактор старения, но ведь организм семидесятилетнего – вовсе не тот, что у тридцатилетнего.

Однако справедливо ли оценивать достоинство человека по его физическому состоянию? По количеству затраченных человеко-часов и межконтинентальных перелетов, совершенных в течение недели?

Такое отношение – нечто большее, чем лишение прав людей, представляющих целый сегмент нашего общества! При этом их единственная вина в том, что они родились на одно-два десятилетия раньше. В нашем отношении к престарелым проявляются наши критерии ценностей.

Если физические силы человека убывают, тогда как его мудрость и интуиция возрастают, что следует видеть в этом: прогресс или упадок? Если вклад человека снизился количественно, но вырос качественно, возросла или снизилась его общественная значимость?

Разумеется, двадцатилетний может плясать всю ночь, а его бабушка через три минуты выдохнется. Но ведь человек рождается не для плясок. Он сотворен, чтобы сделать жизнь на земле чище и ярче, чтобы она исполнилась большей святостью, чем это было до его прихода в мир. В этом смысле духовная зрелость пожилого человека компенсирует его старческую немощь; физическая слабость порой оборачивается преимуществом, поскольку позволяет сменить приоритеты. Гораздо сложнее сменить приоритеты в молодости, когда человек сконцентрирован на достижении материального благополучия.

Несомненно, физическое состояние организма влияет на его работоспособность. Жизнь – это единение тела и души, наиболее плодотворное, когда тело крепкое, а дух – здоровый. Но воздействие процесса старения на трудоспособность человека в значительной мере определяется тем, как он сам относится к этому единению.

Что такое средства и что такое итог? Если душа – всего-навсего инструмент для осуществления целей и потребностей тела, то физическое старение тела ведет к духовной немощи, порождая тоску, пустоту и отчаяние.

Но когда человек рассматривает свое тело как продолжение души, все обстоит иначе: духовный рост пожилого человека укрепляет тело, позволяет ему сохранять трудоспособность в течение того времени, которое Всемогущий даровал ему.



Определение жизни

Но и это еще не все. Есть нечто большее, чем отличие подхода Торы от воззрений наших современников на проблемы старения, чем классическая двойственность тела и души, чем вопрос материального или духовного приоритета.

Институт пенсионного обеспечения основан на ложном представлении, согласно которому жизнь делится на производительный и непроизводительный периоды. Первые 20–30 лет жизни рассматриваются как время, когда особых успехов не достигают, – человек обретает знания и готовится к производительному образу жизни. В последующие 30–40 лет реализуется его творческая энергия; он возвращает то, что было вложено в него уже бездейтельными ныне стариками; и теперь сам человек, в свою очередь, вносит вклад в еще пассивное молодое поколение. Наконец, когда он входит в «сумеречные годы», «реальные» достижения остаются позади – человек интенсивно

работал «всю жизнь», а сейчас имеет возможность «угомониться» и пожинать плоды своего труда...

Если творческий порыв по-прежнему не угасает в его стареющем теле, ему советуют найти какое-нибудь безобидное хобби, чтобы заполнить время. Конечно, время должно быть чем-то «наполнено», когда он коротает дни на обочине жизни: ведь его знания и способности сданы в архив прежней жизни. Круг замкнулся, и он вернулся в детство: теперь он пассивный потребитель в мире, очерченном и направляемом чужой инициативой.

Тора, однако, не признает подобных различий между периодами жизни, поскольку считает жизнь плодотворной в самой ее сущности: фраза «неплодотворный период жизни» – это оксюморон. Есть определенная разница между детством, зрелостью и т. д., но она отражает характер производительной деятельности человека, а не сам факт ее существования.

Уход на покой и пассивное вкушение плодов прежней деятельности имеют свое время и место – в грядущем Мире. По словам Талмуда, «сегодня – время делать, завтра – пожинать плоды». Б-г даровал человеку дополнительный день телесной жизни, и это означает, что тот не завершил еще своей миссии, что в мире есть что-то еще, чего он не достиг.

Так, изречение «человек рождается для труда» отражает глубинную суть человеческой природы. Человек получает истинное удовлетворение только от того, что заработал собственными усилиями и инициативой; незаслуженные дары и милостыня («хлеб труда» по каббалистической терминологии) дегуманизируют человека и ведут в никуда. Как замечено в Талмуде, «человек предпочитает одну меру зерна, возвращенного им самим, девяти, полученным в дар из чужих рук».

Взрослый человек, перегруженный житейскими заботами, ностальгически вспоминает о детском «рае» как времени свободы от ответственности и трудов. Однако в детстве он презирал подобный рай, желая делать что-то настоящее, созидать.

Возложи на ребенка ответственность, и он будет сиять; сделай его пассивным, непроизводительным получателем «образования», и он вырастет мрачным и непокорным. Ибо ребенок тоже живой человек и жаждет достижений; с момента рождения он уже активно влияет на окружающих, по крайней мере стимулируя родителей своим стремлением к знаниям и желанием любви.

То же касается и взрослых людей самого разного возраста. Обещаемая «счастливая пенсия» – жестокий миф: человек знает, что подлинное счастье достигается лишь тогда, когда он осуществляет творческий вклад в мир. Стариковская слабость (или, упаси Г-сподь, болезнь) – это не приговор к бездеятельности, а побуждение искать новые, лучшие пути свершений.

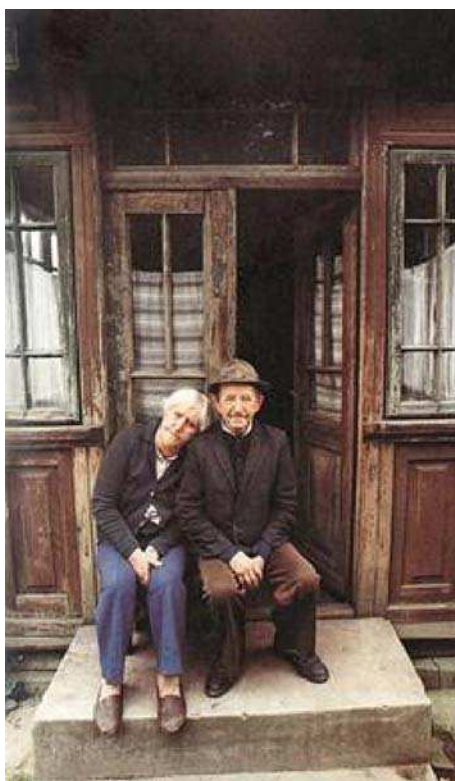
Дабы созидать и отдавать

Конечно же, такова человеческая натура: только плодотворная жизнь исполнена смысла. Но почему так устроен человек?

Потому что Б-г сотворил человека как соратника в Творении.

В мидраше говорится: «Б-г сказал праведникам: “Ибо Я Творец миров, то и вы должны быть таковыми”». Также в мидраше рассказано о диспуте между греческим философом и мудрецом Талмуда рабби Ошайей. «Если обрезание желательно Б-гу, – спросил философ, – то почему Он не создал Адама обрезанным?» Ответил рабби Ошайя: «Все, что было сотворено в шесть дней Творения, требует от человека улучшения и совершенствования – горчичное зерно должно стать слаще, пшеничное надо размолоть»... Б-г сознательно сотворил несовершенный мир, чтобы человек развивал и совершенствовал его.

Б-г – высший Источник и Податель, дающий нам жизнь и бытие, наделяющий нас дарами и духовными ресурсами. Но Б-г не хотел, чтобы мы были пассивными получателями Его даров. Он хотел от нас партнерства, в котором мы созидали бы и отдавали, как Он созидает и отдает, чтобы Он получал от нас, как мы получаем от Него. Так Он сделал тягу к свершениям самой сущностью человеческой жизни.



Курс действий

И все же печальнее всего то, что выход на пенсию, принудительный или нет, – это факт современной жизни. Год за годом он разрушает миллионы жизней и обрекает духовные ресурсы человека (самые ценные, какими мы обладаем как человеческий род) на полное или почти полное исчезновение.

Как нужно поступать перед лицом человеческой и социальной трагедии? Нужно ли начинать кампанию по изменению этой практики и лежащей в ее основе системы ценностей? Нужно ли обратить внимание на позитивные стороны пенсионной жизни и научиться их использовать?

Да, мы должны двигаться в обоих направлениях. Следует изменить отношение к этой проблеме лидеров бизнеса и различных профессий, общества в целом. И прежде всего, нужно изменить самооценку самих пожилых людей (равно как и тех, кто

приближается к пенсионному возрасту). Мы должны сказать им: вы не бесполезны; напротив, вы гораздо нужнее обществу, чем раньше; с каждым прошедшим днем и накопленным опытом ваша ценность возрастает.

Перемена, которая произошла с вами за эти годы, вовсе не повод к отходу от активной жизни, но возможность открыть новые, более осмысленные пути для совершенствования себя и окружающих. Долгая жизнь – это Б-жий дар, и Всевышний, несомненно, снабдил вас инструментарием для наилучшей реализации этого дара.

Вместе с тем мы должны использовать возможности, которые предоставляет нам выход на пенсию. Если многочисленные пенсионеры – мужчины и женщины – ищут, чем бы себя занять, давайте создадим для них центры изучения Торы. Проведя там несколько часов, они повысят свои знания и сделают жизнь более плодотворной.

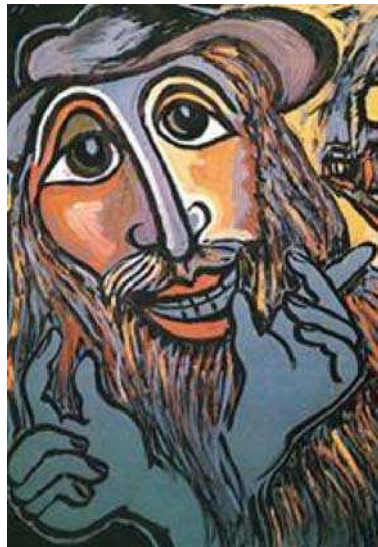
Давайте откроем такие центры в каждой общине, организуем классы и семинары в каждом доме для престарелых. Если борьба за рабочие места в молодые годы мешала многим открыть для себя ясные перспективы, то жизнь на пенсии предоставляет прекрасные возможности для учебы и духовного роста: обучение, как и плодотворное проживание, – это задача глобальная, на всю жизнь.

Тора откроет истинный потенциал и достоинство стариков, сделает их источником света для семей и общин.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НА КОНЧИКЕ ЯЗЫКА

Ааде Эацад

Слово создало мир, слово способно его изменить – в лучшую сторону или в худшую. Слово может даже убить: еврейская пословица гласит, что «жизнь и смерть находятся на кончике языка». Мудрецы нашего народа учат, что очень многие из бед и испытаний, которым подвергались евреи в разные моменты своей истории, были вызваны не дурными действиями, а дурными словами. Даже Храм был разрушен из-за «необоснованной вражды» – неуважения и злословия между людьми.



Понятно, что клеветать на ближнего, говорить о нем неправду – большой грех. Но злословие – это не только клевета: дурные слова, даже если они не содержат лжи, приносят огромный вред человеку. Тора приводит немало примеров того, как злословие изменило судьбу многих людей в худшую сторону. Йосеф злословил своих братьев перед отцом – известно, сколько испытаний потом обрушилось на него. Даже если злословие не выходит за пределы семьи, последствия могут быть разрушительными!

Мало того: злословить нельзя не только человека, но и что бы то ни было. Разведчики, посланные в Страну Израиля, злословили землю и природу – в результате весь еврейский народ был обречен 40 лет скитаться в пустыне...

Есть заповедь, обязывающая каждого еврея ежедневно вспоминать, что Б-г сделал с Мириам. Мириам злословила Моше перед их братом Аароном и получила за свой грех проказу. Тора говорит, что прокаженного надо отделить от всех, изолировать от ближних и от всего народа. Наши мудрецы объясняют, что проказа – «болезнь злословия»: с человеком, дурно говорящим о ближнем, жить рядом невозможно, потому что его слова отравляют жизнь окружающим.

Более того, злословие отравляет и жизнь того человека, который позволяет себе говорить о других дурно. Об этом 34-й псалом: «Хочет ли человек жить и любит ли он долгую жизнь, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных

слов». Иначе говоря, злословие укорачивает жизнь, и лишь тот, кто воздерживается от дурных слов, будет иметь долгий век.

В другом псалме, 120-м, царь Давид определяет злословие как «изоощренные стрелы сильного, с горящими углями дрековыми». Слово, как стрела, бьет далеко: человек в Москве сказал дурное о человеке, находящемся в Австралии, и через десять уст зло дойдет до того. Слово, как угли, долго горящие под слоем пепла: один раз сказано дурное о человеке, а он и через десять лет чувствует последствия. Сказать о человеке дурное – хуже, чем ударить: боль от удара пройдет через несколько часов, самое большее – через несколько дней, а боль от злых слов будет ощущаться годами.

И еще в одном смысле слово как стрела: оно вылетело – а дальше человек, сказавший его, теряет над ним всякий контроль. Как говорят наши мудрецы: «Пока человек не сказал, он хозяин своего слова, когда он сказал – слово его хозяин». Потом человек сколько угодно может убеждать окружающих, что, дескать, «не хотел», что «его не так поняли», – раз сказанное, злое слово гуляет по свету, и последствия его ощущаются на многих людях, много лет.

Один еврей пришел к раввину, чтобы покаяться в грехе злословия и спросить совета, как исправить сделанное. Раввин сказал ему: возьми подушку, иди на рынок и там разрежь наволочку. Еврей так и сделал: пух разлетелся по всей площади. Ага, подумал еврей, теперь люди сочтут, что я не в своем уме и не будут верить моему злословию... Вернулся к раввину, доложил обо всем. Ну что ж, говорит раввин, а теперь собери все пушинки до последней...

В Талмуде сказано, что злословие убивает троих: говорящего, слушающего и того, кого злословят. С первыми двумя все понятно: один нарушил заповедь, второй его поощрил своим вниманием. Но почему наказана жертва злословия? Да именно потому, что наши дурные слова делают так, что плохое, пребывающее внутри человека, выходит наружу. В каждом человеке есть частицы добра и частицы зла, и каждое наше слово стимулирует либо позитивную сторону человека, о котором идет речь, либо негативную.

Это знает всякий родитель: если ребенок нашалил, не дай Б-г начать говорить, какой он плохой! В этом случае ребенок начнет назло шалить еще больше – ну, разве что он будет поступать плохо тайком, чтобы избежать наказания. Это классический пример злословия: скажешь человеку, что он плохой, он и будет плохим! Правильное поведение родителей в этом случае – поговорить с ребенком с глазу на глаз, объяснить ему, что никто не сомневается, что по природе своей он хороший и стремится поступать хорошо, но на сей раз допустил ошибку, а впредь надо делать вот как. Тогда ребенок почти наверняка изменится в лучшую сторону – добрые слова будут стимулировать его положительные качества.

Знаменитый хасидский раввин, Бердичевский цадик, никогда не позволял себе говорить плохо о людях и от своих учеников требовал того же. Почему? Потому что дурное слово создает дурную реальность. В триаде человеческих инструментов для изменения мира – мысли, слове и деле – именно слово обладает наибольшей динамичностью. Мысль всегда существует внутри человека, дело – всегда вовне. И только слово, исходящее из человека в мир, становится сущностью реализуемой. В этом его сила. Следует пользоваться этой силой осторожно, чтобы слово несло в мир только добро.

Уроки Дней трепета

Адин Штейнзальц

Десять дней еврейского календаря между двумя великими праздниками Рош а-Шана и Йом Кипур называются «Ямим нораим» (т. е. «Дни трепета»). Замечу, что, хотя название праздника Рош а-Шана традиционно переводится как «Новый год», этот перевод неадекватен; он не только не соответствует буквальному смыслу ивритских слов, но и неправилен по сути. Рош а-Шана – это скорее начало, главный день года («рош» на иврите – «голова», а «шана» – «год»). День, когда на Небесах происходит суд и решается судьба всего сущего на предстоящий год. А Йом Кипур – это День Искупления, пост, в который Всевышний прощает наши грехи.



Рош а-шана

Пожалуй, Ямим нораим – самый проблематичный для осмысления период еврейского календаря. Однозначно его нельзя назвать праздничным, учитывая этимологию этого слова в русском языке, хотя он соседствует с двумя главными праздниками года. В эти дни еврей преисполнен трепета, ибо ожидает окончательного решения своей судьбы, поэтому для него они, прежде всего, время раскаяния и самоанализа. С другой стороны, в отличие от других памятных дат еврейского календаря эти дни не связаны ни с какими историческими событиями.

Последнее замечание нужно уточнить. Рош а-Шана, еврейский Новый год, все-таки годовщина вполне определенного исторического события, хотя и столь отдаленного, что даже многие отмечающие этот праздник не помнят о нем. Рош а-Шана – годовщина сотворения первого человека, Адама. Важно отметить: не мира, а именно человека! Если угодно – день рождения человечества. В этой точке еврейского календаря встречаются два основополагающих фактора: общечеловеческая память и индивидуальный самоанализ. В идеале Рош а-Шана должен быть днем самоотчета – как для всего человечества, так и для каждого индивидуума.

Человечеству из года в год необходимо находить время и силы для размышления над фундаментальными вопросами: для чего оно, собственно, создано и оправдывает ли свое существование?.. Но чтобы ответить на них, следует, прежде всего,

задаваться другим вопросом: ради чего создан я сам. И здесь ни в личном, ни в общечеловеческом аспектах не поможет «мелкая бухгалтерия», учет баланса между двумя колонками: слева – «грехи», справа – «добрые дела». Хотя очень важно подвести итоги прошедшего года и, образно выражаясь, выяснить состояние своего счета (в плюсе я или в минусе), для каждого из нас и для всего человечества в целом этого все же недостаточно, чтобы ответить на кардинальный вопрос: а стоило ли Всевышнему создавать нас.

Вероятно, именно здесь следует сказать несколько слов об уникальном еврейском понимании категорий времени и истории. Обращая взор в прошлое, к истокам человеческой истории, к прародителю всего человечества, Адаму, мы не просто вглядываемся в глубину времен. С еврейской точки зрения, в рамках традиционного восприятия мира, прошлое не исчезает с течением времени, превращаясь в воспоминание, а существует и в настоящем. Его присутствие, хотя и не столь очевидное, как ныне происходящие события, вполне ощутимо. Порой события давно минувших дней влияют на нас значительно сильнее, чем то, что совершается в наше время. Источник такого типа восприятия прошлого восходит к тайной части Торы, к классическому еврейскому наследию.

Каббала не рассматривает время как непрерывный поток, истоки которого в прошлом, а устье – в будущем. С точки зрения каббалы время дискретно и каждый его момент – это повторяющийся вновь и вновь независимый акт Творения. Таким образом, каждый миг прошлого, настоящего или будущего создает особую – вневременную – реальность. Если отнестись к этой концепции серьезно и принять ее как основополагающую, история предстанет перед нами не в виде единого последовательного процесса, а как совокупность событий разной степени важности, причем независимо от того, случились ли они уже – давно или недавно, или же им только предстоит произойти.

Но и на более поверхностном уровне восприятия видна актуализация минувшего. Для еврейской традиции каждый праздник – это воспроизведение прошлого в настоящем. Другими словами, это значит, что Рош а-Шана не столько годовщина сотворения человека, сколько сам день Творения, когда человечество создается заново – в прямом смысле слова.

Каждый из нас считает собственное существование чем-то само собой разумеющимся, не требующим ни оправданий, ни доказательств. Вспомним мидраш, приведенный в «Берешит раба»; он рассказывает о том, что еще в ту пору, когда Всевышний собрался сотворить человека, между ангелами, разделившимися на две группы, разгорелся спор: одни считали, что человек должен быть сотворен, а другие – что не должен.

Мы привыкли воспринимать Рош а-Шана как День суда лишь в том смысле, что он подводит итог прошедших двенадцати (а в високосный год – тринадцати) месяцев и в этот день выносятся вердикт о том, жить нам или умереть. И лишь в том случае, если чаша весов склоняется на сторону «жить», возникает тема качества жизни – если жить, то как? Но в действительности в эти дни рассматривается куда более значительный вопрос: о целесообразности существования всего мироздания. И с этой точки зрения важен не только баланс заслуг и преступлений, но и более общий аспект соответствия исходной цели Творения. Лейтмотив молитв в Рош а-Шана – тема сомнения человека в целесообразности своего существования. Я бы даже сказал, его изумления тем, что, несмотря на многочисленные грехи, он продолжает существовать. Мы говорим: «Ма энош ки тизкерену у бен адам ки тефкидену!» («Кто такой человек, что ты помнишь его, и кто такой сын Адама, чтобы ты обращался к нему!») Есть ли ответ на этот вопрос?

Одна из трех серий трубных звуков шофара (рог, в который мы трубим в Рош а-Шана) во время молитвы мусаф в Рош а-Шана называется «Коронация». Этот фрагмент молитвы – признание человеком власти Всевышнего. В нем ответ на вопрос, следовало или не следовало его создавать, тайна его существования, – и великая надежда на то, что он не напрасно ходит по этой земле, и жизнь каждого из нас и всего человечества в целом имеет вселенский смысл.

Из всех творений этого мира только человек способен сознательно подчиниться власти Всевышнего. Все сущее кроме него – животные, растения и неживая природа – принимает царскую власть Творца как данность. Другим творениям недоступны духовные поиски и сомнения, вера и отчаяние, «игра в прятки» с Творцом. Даже ангелы, духовные сущности, обычно воспринимаемые как более высокая ступень в сравнении с человеком, в этом смысле более уязвимы, чем каждый из нас. Ведь они, как и животные, не знают сомнений. Для них существование Творца и Его власть – единственная и очевидная реальность. И никому, кроме человека, не дано искать Б-га и находить Его, сомневаться в Его существовании и отречься от Него, бороться с Ним и подчиняться Ему, любить Его и бояться, убегать от Него и возвращаться к Нему. В этом смысле никто не способен заменить нас в сотворенном мире, и мы можем с гордостью сказать, что Творец не создал ничего более совершенного, чем человек.

Человек способен постигать Б-га. Не всегда он реализует эту возможность, да и не каждый ищущий обретает Его. Хасидизм учит, что разница между ищущими и не ищущими Его определяется вовсе не теми признаками, какими обычно оценивают религиозность. Многие из тех, кто ведет традиционный образ жизни и входит в религиозные общины, остаются при этом совершенно чуждыми диалогу с Б-гом. А есть люди, которые объявляют себя атеистами, да и живут соответственно, но при этом думают о Б-ге и живут с Ним повседневно, даже восставая против Него.

Упомянутая «Коронация» – первая из трех частей праздничной молитвы мусаф, сопровождаемых трубными звуками шофара. Она возглашает о том, что мы принимаем власть Всевышнего, Творца Вселенной. Вторая часть называется «Воспоминания» (или «Напоминания»). При внимательном прочтении текстов, сопровождающих трубные звуки, видно, что вспоминающий здесь не человек (вернее, не столько человек), а Всевышний. Он, отвечая коронуящему Его человечеству, вспоминает о заслугах наших предков, об их служении, о духовной составляющей бытия. Духовность же подразумевает свободу выбора, поэтому возможна только для человека, ибо он склоняется пред Его величием, хотя имеет право отречься от Него, в отличие от всех прочих тварей, безоглядно принадлежащих Творцу.

В этом смысле можно сказать, что первая часть молитвы, «Коронация», направлена снизу вверх, от человека к Б-гу, а вторая – «Воспоминания» – сверху вниз, от Б-га к человеку. Третья же часть – «Шофарот» (мн. число от слова «шофар»). Само это название связано, прежде всего, со звуками шофара, которые сыны Израиля слышали у горы Синай. Эта часть молитвы замыкает цикл движения снизу вверх и сверху вниз рассказом о Даровании Торы, о событии, благодаря которому человечество встретилось с Б-гом лицом к лицу, когда Творец спустился к человеку, а человек поднялся к Нему. В этом наш ответ на вопрос, достойны ли мы существования, правильным ли было решение сотворить человечество. И этот ответ, как всегда в еврейской традиции, двойственен. С одной стороны, человечество обладает потенциалом, с которым несравнимо ничто в сотворенном мире. Поэтому оно достойно сотворения. Но это нужно доказывать каждый прожитый день, каждым поступком и помыслом.

Прошлое не только сосуществует с нами в настоящем, сопровождая нас на пути к будущему. Без него их просто не будет ни у индивидуума, ни у народа, ни у человечества в целом. Человек отличается от животных тем, что наделен мышлением, языком и речью, свободой выбора. Но ведь и память отличает человека от всех прочих созданий. Хотя то, что у животных есть память, и не подвергается сомнению, так же как их способность учитывать случившееся с ними и делать из этого выводы, осмелюсь утверждать: человеческая память представляет собою феномен. И Рош а-Шана как «День памяти» (еще одно название этого праздника в еврейской традиции – Йом а-зикарон) требует от человека мобилизации именно этого, очень сложного душевного ресурса – памяти.

Уникальность нашей памяти в постоянном переосмыслении прошлого. Оно – не багаж, который мы тащим за собой, не склад, набитый ветхими вещами. Мы постоянно анализируем, перепроверяем, перетряхиваем все накопленное нами. Впрочем, «постоянно» – слишком громко сказано. Человек не может совершать столь сложный и ответственный духовный процесс на ходу. Переосмысление прошлого требует свободного времени, а это значит, что мы должны остановиться и прервать повседневный марафон. Поэтому календари всех народов – и еврейский календарь в частности, а может быть и в особенности – посвящены созданию таких островков памяти, своеобразных стоянок, созданных для переосмысления прошлого, его актуализации – переноса прошлого опыта в настоящее.

Наша память не только хранит прошлое, используя его по мере необходимости, но и переписывает из года в год, предавая целые пласты забвению, искажая, фальсифицируя смысл. Как различно звучит рассказ человека о себе самом в разные периоды его жизни, как услужливо наша память выделяет одни события и поглощает без остатка другие, делая трудным, а то и невозможным достоверный анализ прошедшего. Память и забвение идут рука об руку, и очень часто непросто понять, где кончается одно и начинается другое. Как спастись из этой ловушки?

Мудрецы Талмуда поставили перед человеком задачу на первый взгляд невыполнимую. Впрочем, если не абсолютизировать ее, она может стать мощным средством для самосовершенствования. Мудрецы предлагают человеку уподобиться Всевышнему, о Котором сказано: «Тот, Кто помнит забытое». Человек должен время от времени заставлять себя вновь и вновь вспоминать то, что ему хотелось бы забыть навсегда. И когда Рош а-Шана, День памяти, заставляет нас заново осмыслить свой опыт, воскресить прошлое, нужно не потакать себе, вспоминая то, что приходит на ум само, но направить память именно туда, куда она всячески противится идти, – туда, где царствует забвение.

Объяснить эту идею можно почти любым примером. История из личной жизни ничуть не хуже, а возможно, и лучше любой другой. Мы прекрасно помним романтические встречи, «медовый месяц», совместный отдых. К сожалению, хорошо запоминаются и конфликты, нервно истощавшие нас. Но это не та память, которая помогла бы нам уподобиться Всевышнему, «помнящему забытое». Попробуйте вспомнить будни: утренний подъем в дождливый осенний день, беглые взгляды и вскользь сказанные слова, сборы детей в школу, дорогу на работу... Все то, что мы называем житейскими мелочами и что составляет нашу повседневную жизнь. Заставив себя помнить об этих мелочах, мы не позволим нашей памяти быть фрагментарной, избавимся от подтасовок и искажений, спасем нашу жизнь от забвения. Именно таким способом можно превратить Рош а-Шана в настоящий День памяти, распахнуть перед нами позабытое прошлое. Подлинное, а не искаженное прошлое, не фальсифицированное, не сочиненное

избирательной памятью. И лишь на основе этого воссозданного прошлого нам удастся понять истинный смысл настоящего и проложить путь в завтрашний день.



ЙОМ КИПУР

«День Искупления» – так переводят название одного из важнейших праздников в еврейской традиции, поста Йом Кипур. Нужно сразу же отметить, что иудейская и христианская традиции по-разному трактуют слово «искупление». Если для евреев возможно только персональное искупление, которое подразумевает очищение от грехов того или иного человека, то в христианстве, с его концепцией первородного греха, отвергаемой иудаизмом, есть и идея всеобщего искупления. С нашей точки зрения, у всего человечества не может быть общих грехов. У каждого из нас – свои собственные, их-то и нужно искупать.

В общественном сознании возникла некая путаница с ответом на вопрос, в чем суть дня Йом Кипур. Возможно, эта мысль кому-то покажется парадоксальной, но искупление – «капара» – не следует путать с раскаянием – «тшува». «Тшува» (буквально: «возвращение» или «ответ») – деятельное раскаяние человека, то есть единственно позитивная и конструктивная реакция на грех. Искупление же – процесс совершенно иного порядка. Он не имеет непосредственного отношения к заслугам искупаемого. Искупить, то есть простить грех, может только Всевышний, и, как ни странно, в Йом Кипур искупление приходит само по себе, без приложения каких-либо усилий со стороны искупаемого, лишь потому, что Творец именно таким образом устроил наш мир, время и календарь.

В отличие от искупления, тшува – способность и готовность человека исправить прошлое. Вероятно, это лучшее и величайшее из возможных деяний человека. Ведь искупление – дело Всевышнего, в котором человеку отведена пассивная роль. Он должен лишь обрести такое душевное состояние, когда сможет, словно сосуд, принять искупление, дарованное ему Всевышним, подготовиться к нему.

Интересно, что если на когнитивном уровне мы склонны путать раскаяние с искуплением, то на уровне эмоциональном человек прекрасно различает их. Тшува всегда связана с глубокими переживаниями, с печалью, порой с депрессией, следствием невозможности продолжать прежнюю жизнь, как это описал царь Давид в Книге псалмов:

«Грехи мои передо мною всегда». Прощение же приходит к человеку извне и, как правило, сопровождается радостью и оптимизмом.

Сказанное вовсе не означает, что тшува и искупление не связаны между собой. Тшува – одно из условий искупления (см. Рамбам, Гилхот тшува, 1:3). Но разница между раскаянием (как делом человека) и искуплением (как делом Всевышнего) столь значима для еврейской традиции, что Алтер Ребе, основатель любавичского хасидизма, подчеркивает: «Покаянную молитву (видуй), которая является важной частью молитвенного ряда в Йом Кипур, следовало бы произносить перед началом этого дня, а не во время него» (Шульхан арух а-Рав, 607:2).

Хасидские учителя прошлых поколений, люди, отличавшиеся особой остротой мысли, говорили, что «никто не должен отбирать работу у Всевышнего». То есть даже из самых лучших побуждений человеку не следует принимать на себя те функции, которые Всевышний отвел Самому Себе. Сказанное верно и для акта искупления. Йом Кипур для нас – день полной пассивности. Отказ от еды, питья и многого другого – непереносимое условие этого дня, важный момент в формировании праздничной и свойственной только этому особому дню пассивности человека.

Суть праздника полнее всего раскрывается в молитвах этого дня. В Йом Кипур специфически праздничная часть молитвы начинается с благословения, в котором утверждается уникальная особенность Дня искупления, когда человек должен не предаваться воспоминаниям о совершенных им грехах, не впадать в отчаяние, но с радостью ожидать искупления и очищения, которых он удостоится в этот день по воле Творца.

Тема раскаяния и возвращения к Всевышнему – тема тшувы – в этой молитве вторична. Это своего рода «прослойка» между двумя напоминаниями об искуплении, даруемом Всевышним, – дважды повторяющейся цитатой из пророка Йешаяу: «Стер Я, как тучу, преступления твои и, как облако, грехи твои; вернись ко Мне, потому что Я освободил тебя» (44:22).

Еще один сквозной мотив молитв этого дня возвращает нас к идее святости – одной из основных в иудаизме. Освящение, то есть выделение подобного из общего ряда для реализации высоких целей, приходит как свыше, так и благодаря служению человека. Б-г избрал один народ из всех народов мира, одну землю из множества стран. В этом же ряду стоит и освящение островов святости во времени, что связано, прежде всего, с идеей субботы, днем духовного созидания и отказа от активности в физическом мире. А Йом Кипур назван «Субботой суббот», ибо он свят даже по отношению к святому.

Ко Дню искупления человек должен прийти подготовленным, способным принять прощение от Творца и быть достойным этого. Раскаяние, самоанализ – процесс, начавшийся в Рош а-Шана (а лучше – в дни чтения слихот, последние дни месяца элул, а еще лучше – с начала этого месяца, а еще лучше – в течение всего года), – вот путь к этому состоянию. В Йом Кипур каждый из нас должен остановиться, прервать свою неумную активность и ждать прощения. И оно неминуемо придет, если человек, со своей стороны, сделал все от него зависящее. Придет не потому, что он полностью очистил себя от скверны прошлого, а потому, что такова воля Всевышнего в этот день.

Долгий и нелегкий путь раскаяния можно условно разделить на три ступени, три этапа, соответствующие трем уровням человеческой души: нефеш, руах, нешама.

Человеку, отдалившемуся от Всевышнего и пытающемуся вернуться к Нему, нужно, прежде всего, осознать собственные грехи, определить их – для самого себя, а не для окружающих, – и исправить. На этом этапе, уровне нефеш, речь идет об устранении внешних признаков заболевания. Начальный этап можно уподобить первой помощи раненому, когда следует найти повреждение и остановить кровотечение, наложив жгут. Эту стадию называют исправлением действий, поступков.

Второй этап – исправление мыслей. Формально человек вполне благополучен, он больше не грешит, исправился, устранил последствия содеянного. Но... только материальные. Если человек не творит зло, свидетельствует ли это об уровне личности? Можно ли назвать эту личность в полной мере достойной? Этому уровню исправления соответствует второй уровень души – руах. Именно он – первый специфически человеческий, а не животный ее уровень. Исправляя его, человек занимается субстанциями куда менее осязаемыми, чем на первом этапе раскаяния; речь уже идет не о преступлениях и добрых делах, но о сферах более тонких, духовных, которые трудно определить словами. Вот почему этот этап для многих не просто труден, но практически непреодолим. Однако следует помнить, что Всевышний не ставит перед человеком невыполнимых задач и как Творец Он знает, на что способны Его создания.

Поэтому каждый из нас может пройти по пути раскаяния все этапы, исправить не только дела, но и мысли. Лишь после этого наступает черед третьего этапа – исправления на уровне нешама, самом верхнем уровне души. Если на первых двух этапах речь шла об исправлении, которое можно считать возвращением к норме, то третий этап – это, скорее, создание новой реальности. На уровне нешама человек вообще не способен грешить. Именно этот уровень мы имеем в виду, говоря, что душа «чиста», «не подвержена осквернению». Даже греша, мы не в состоянии осквернить этот уровень своей души, он лишь оттесняет ее, отдаляет от себя. В отличие от него предшествующие два уровня могут – из-за приземленности и греховности человека – погрязнуть в трясине материального мира. Исправление третьего уровня – это восстановление внутренней гармонии в человеке, воссоединение души.

Такая высшая степень раскаяния обладает парадоксальным свойством: при этом преступления и грехи, даже умышленные, превращаются в заслуги человека. Иными словами, у нас есть способ реально изменить, переписать заново свое прошлое. В Йом Кипур мы произносим длинную и утомительно подробную исповедальную молитву – видуй, в которой перечисляются все мыслимые и немыслимые грехи именно потому, что в этот день у нас есть все возможности, все шансы для того, чтобы начать жизнь заново, с чистого листа. Стереть прошлое нельзя, хотя мы так часто мечтаем об этом в глубине души, но его можно изменить, обновить, переписать заново. И былые ошибки останутся в нашей памяти, но пятна в биографии подвергнутся конструктивному переосмыслению, поэтому темные страницы нашей жизни будут побуждать нас лишь к добру.

ЗОАР» О ДНЕ РОШ А-ШАНА

Рòèé Áîéääî

Праздник Рош а-Шана в Стране Израиля отличается от всех остальных праздников еврейского года. Согласно Торе, Шавуот, Рош а-Шана и Йом Кипур – это только один день; что же касается Песаха и Суккот, то в них праздничных дней (когда запрещено работать) два: первый и последний (причем в Суккот последний день – самостоятельный праздник, Шмини ацерет)^[1]. Однако примерно две с половиной тысячи лет назад, в эпоху Второго храма, сложился обычай праздновать Рош а-Шана не один, а два дня. Талмуд рассказывает, какое событие стало поводом для этого (Мишна, Рош а-Шана, 4:4; Вавилонский Талмуд, Бейца, 4б).

В те времена начало нового месяца определяли так, как предписывает буква закона Торы: на основании показаний свидетелей, увидевших новорожденную луну. Выслушав эти показания и сравнив их с данными, полученными на основании математических расчетов, мудрецы Сангедрина объявляли, что начался новый месяц. Если же свидетели не приходили, Сангедрин постановлял, что сегодняшней день – 30-й предыдущего месяца, а первым днем нового месяца станет завтрашний день. Однако с месяцем тишрей была связана особая проблема: его первый день – праздник, а именно Рош а-Шана; свидетели же, увидевшие новую луну только в ночь перед этим днем, могли прийти в Иерусалим лишь днем. Праздник же у евреев, как известно, начинается вечером, после захода солнца. Как же быть: ведь заранее не известно, будет ли этот день объявлен 1 тишрея или нет? А от этого зависело, на какой день придется Йом Кипур (10 тишрея) и начало праздника Суккот (15 тишрея)! Поэтому уже с самого вечера дня, следующего за 29 элула, – то есть того дня, который с большой вероятностью мог быть объявлен Рош а-Шана, – весь народ вел себя так, как в праздник. Когда же приходили свидетели со своими показаниями и Сангедрин объявлял о святости дня, это задним числом подтверждало правильность такого образа действий.

«Однажды, – рассказывает Мишна (Рош а-Шана, 4:4), – долго не приходили свидетели, и сгубили левиты свой гимн». Изюм в том, что в день во время совершения постоянного жертвоприношения тамид утром и после полудня левиты в Храме пели «гимн дня» – то есть определенную главу Теилим, предназначенную для этого дня. (Между прочим, эти самые «гимны дня» мы произносим теперь в конце утренней молитвы шахарит.) Утром потенциального Рош а-Шана, пока свидетели еще не пришли и не было известно, освятит ли Сангедрин этот день, левиты пели гимн, соответствующий данному дню недели, – то есть тот же, что в будни. Когда же оказывалось, что этот день – действительно Рош а-Шана, во время совершения послеполуденного тамид левиты пели уже гимн, соответствующий Рош а-Шана. Но однажды свидетели всё не приходили, и левиты не знали, какой гимн им петь: будничный или праздничный. В результате они «сгубили свой гимн»: согласно одному мнению, который приводит Гемара, они пропели будничный, а потом оказалось, что нужно было петь праздничный; согласно другому мнению, они вообще не пропели ничего. И тогда Сангедрин принял постановление, что отныне свидетелей, увидевших новый месяц, будут принимать только до времени совершения послеполуденного тамид, а день 30 элула всегда будет праздничным.

Тем не менее во времена Храма заповеди, наиболее ярко выражающие святость Рош а-Шана, – трубление в шофар, совершение праздничных жертвоприношений и пение левитами праздничного гимна – совершали назавтра. Таким образом, Рош а-Шана стал двумя днями, но сначала – 30 элула и 1 тишрея. Лишь позже, когда перестали определять начало нового месяца на основании показаний свидетелей, и был составлен единый календарь (которым мы пользуемся и сегодня), Рош а-Шана сдвинули на один день и стали его праздновать 1 и 2 тишрея.

Поскольку евреям, живущим за пределами Страны Израиля, трудно сообщать о начале нового месяца, мудрецы Торы постановили, что в Стране Израиля все праздники должны праздноваться точно так, как написано в Торе, однако за пределами Святой Страны все праздничные дни должны быть удвоены, ибо остается сомнение – наподобие того, как это было принято делать еще во времена Храма с Рош а-Шана. Однако на века сохранилась традиция: Рош а-Шана даже в Стране Израиля состоит из двух дней. В самом простом смысле – для того, чтобы не забылось постановление, принятое Сангедрином. Но, кроме этого объяснения, есть и другое – то, которое открывает нам «Зоар» (ч. 3, с. 231а).



* * *

Рабби Йеуда, ученик рабби Шимона, сына Йохая, просит: «Пусть скажет нам наш господин возвышенные слова про Рош а-Шана!» И рабби Шимон начинает так:

– «И было в тот день...» (Млахим II, 4:8). Всюду, где написано «И было», содержится намек на беду. «И было» это наверняка в дни беды», «и было в тот день» – день страдания, день горя. Какой это день? День Рош а-Шана, день сурового суда всего мира. И вообще всюду, где написано «И было в тот день», имеется в виду Рош а-Шана. Так и в книге Иова (1:6): «И было в тот день, и пришли Б-жественные сыны» – это тоже случилось в день Рош а-Шана.

Рабби Шимон объясняет: скрытый смысл того, что Рош а-Шана – всегда два дня, связан с нашим праотцем Ицхаком, которого Авраам должен был принести в жертву Всевышнему именно в день Рош а-Шана. Заметим, что рассказ о (несостоявшемся) принесении Ицхака в жертву начинается со слов: «И было...» (Берешит, 22:1). Авраам был олицетворением хеседа (доброты), но для того, чтобы принести в жертву сына, ему

пришлось выявить в своей душе противоположное качество: суровость, даже жестокость. Ицхак же, в отличие от Авраама, воплощал собой гвуру, то есть суровость, неумолимость. Но поскольку ему предстояло согласиться, чтобы его принесли в жертву, он должен был открыть в себе противоположное качество – любовь (ко Всевышнему), форма проявления которой – милосердие. Великое значение этого испытания состоит в том, что благодаря ему характеры наших праотцев достигли совершенства, ибо они проявили свойства, противоречащие их природе и потому вначале скрытые.

Итак, Рош а-Шана тесно связан с именем Ицхака, соединившего в себе две противоположности: суровость и милосердие. Потому-то, как объясняет рабби Шимон, Рош а-Шана – два дня, а не один. «Если бы он состоял лишь из одного-единственного дня, то уничтожил бы всю вселенную», так как никто в сотворенном мире не устоял бы теперь перед проявлением Б-жественной гвуры – неумолимой суровости. Но в Рош а-Шана – два дня, каждый из которых воплощает одну из противоположностей: суровость и милосердие. Первый день Рош а-Шана – это суд суровый, однако его второй день – это суд милосердный. Но, несмотря на это, Рош а-Шана – один и тот же праздник: его два дня соединяются воедино как один «длинный день» (Бейца, 30б), подобно тому как два противоположных свойства соединились в характере Ицхака.

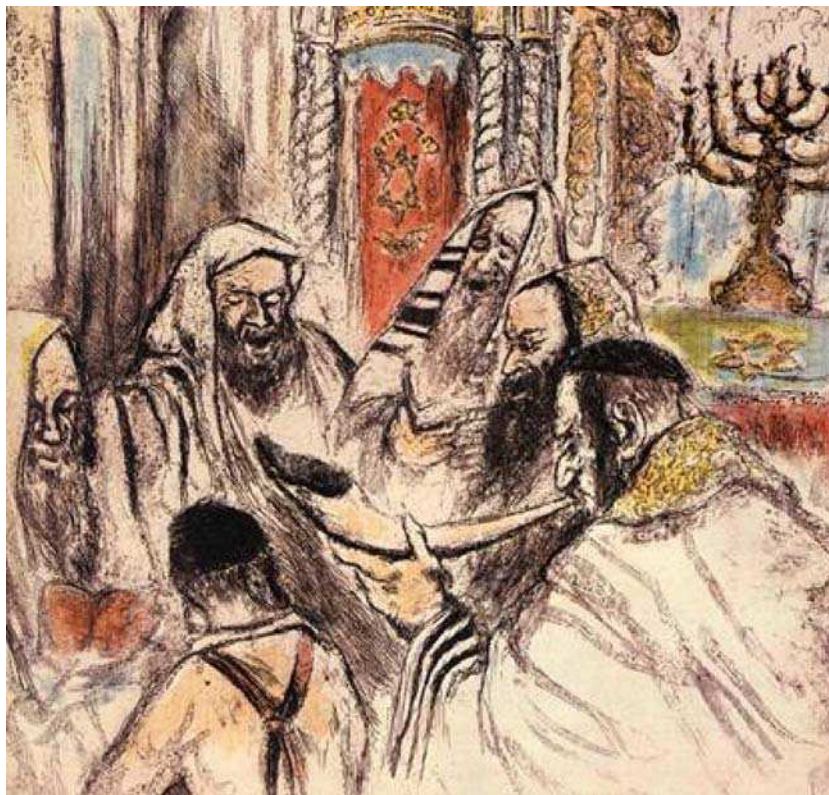
* * *

Понятие о суде в Рош а-Шана рабби Шимон дает на основании того, что сказано в начале книги Иова. Не случайно там два раза написано одно и то же: «И было в тот день, и пришли Б-жественные сыны» (Иов, 1:6; 2:1) – потому что первый раз это произошло в первый день Рош а-Шана, а во второй раз потом – на второй день Рош а-Шана. «Б-жественными сынами» там называется «Великий бейт дин» (Небесный суд), потому что входящие в него и вправду, словно сыны Царя, «стоящие рядом с Г-сподом» (Иов, 1:6; 2:1), имеющие силу выносить приговор миру, и потому в этот день действительно как бы сравнимые с Самим Всевышним. Одни из них «ищут заслуги и защищают, другие – находят вину и обвиняют, напоминая о грехах мира – грехах каждого человека». И благо тому человеку, который, не дожидаясь, когда ему вынесут приговор, совершает тшуву! Потому что дело того, кто сам признается во всех своих прегрешениях, какие только может припомнить, передается в руки одного Царя – Святого, благословен Он. А это лучше всего – как сказал царь Давид, когда Всевышний через Своего пророка предложил ему самому выбрать себе наказание (Шмуэль II, 24:14): «...Предадимся в руки Г-спода, потому что велико Его милосердие». И так просил (Теилим, 43:1): «Суди меня, Б-г, – Ты, а не другой!» «И весь Небесный бейт дин отдаляется от него» – от того человека, которого судит Сам Б-г.

Вот какова сила тшувы! И снова рабби Шимон приводит в пример Давида. «Проступок мой сообщу я Тебе, и грех мой я (никогда) не скрывал...» – говорит он Всевышнему (Теилим, 32:5), – и именно потому «...Ты прощал вину греха моего вечно!»

Эта особенность небесного судопроизводства основана на Торе: на ее принципе «человек близок к самому себе» (Сангедрин, 9б, 10а). Ни у кого нет более близкого родственника, чем он сам, поэтому человек не может свидетельствовать о себе – как не может быть свидетелем и близкий родственник. Согласно юридическим нормам Торы, человека нельзя осудить на основании того, что он сам сказал о себе: необходимы показания минимум двух свидетелей, в главном совпадающие между собой.

Более того: во время суда в Рош а-Шана ангелу-обвинителю тоже не позволяют высказать обвинение против человека, уже признавшегося в своих грехах. «Его позор (который он добровольно навлек на себя) выходит вперед и говорит, не давая говорить никому другому». И тогда Всевышний прощает ему – как сказано (Мишлей, 28:13): «...А признающего (свою вину) и раскаивающегося пожалеют».



* * *

Кроме установления о двух днях Рош а-Шана (принятого, как было сказано, из-за неуверенности в том, какой день станет днем Рош а-Шана), еще один момент сомнения остался в нем на века. И также разъясняется в «Зоаре», что в действительности нет здесь сомнения: обе возможности одинаково важны. Это – тот способ трубить в шофар, который называется труа.

Согласно Алахе (Мишна, Рош а-Шана, 4:9), трубление в Рош а-Шана – «трехчастное»: его первая и третья части представляют собой непрерывный продолжительный звук (ткиа), а вторая («середина») – труа, что имеет также название ябава (дословно «рыдание»). Вавилонский Талмуд (Рош а-Шана, 34а) говорит: точно не известно, как следует трубить в шофар, чтобы слышалась ябава, и на это есть две точки зрения: ябава – или последовательность отрывистых коротких звуков, или короткий мотив, напоминающий по интонации всхлипывание. Чтобы избавиться от всех сомнений, надо трубить всеми способами (Рош а-Шана, 34а) – так поступают и по сей день.

Однако, согласно «Зоару» (ч. 3, с. 231а), на самом-то деле никакого сомнения нет и здесь: необходимы оба способа производить труа. Как уже отмечалось, первый и второй дни Рош а-Шана – это два способа судопроизводства. Первый день – суд строгий и неумолимый, второй день – суд мягкий и снисходительный. Но оказывается, при этом меняется состав суда: в первый день Рош а-Шана действует Высший бейт дин, а во второй день – Нижний бейт дин. Рабби Шимон приводит стих (Млахим, I, 8:59; начало того же стиха было процитировано выше): «...И вершить <...> суд народа Его – дело дня в его

день». Что значит: «дело дня в его день»? Это намек на два дня Рош а-Шана, в каждый из них рассматривается соответствующее ему дело. И каждый из двух способов труа соответствует одному из двух образов вершить суд в Рош а-Шана. «Вавилоняне» – то есть мудрецы Торы, живущие в Двуречье («Вавилоне»), – не знают тайну труа, и поэтому трубят на всякий случай всеми способами; мы же, говорит рабби Шимон, мудрецы Страны Израиля, знающие каббалу, делаем то же самое, но сознательно. Мы знаем, что есть два суда: один из них судит строго, а второй – мягко, однако они объединяются воедино. Но, таким образом, во всем еврейском народе исполняют заповедь трубить в шофар в Рош а-Шана правильно, «и все идет по пути Истины».

И рабби Шимон заканчивает:

– «Счастлив народ, знающий, что такое труа» (Теилим, 89:16)^[2]. Не написано: «слушающий труа» или «трубящий труа», но: «знающий, что такое труа». Это мудрецы, живущие в атмосфере Святой земли: вот они-то и знают, что такое труа. Кто такой народ, как Израиль, знающий высшие тайны своего Владетеля, чтоб придти пред Его лик и связывать себя с Ним! Все те, кто знает тайну труа, пусть приблизятся, чтобы «пойти в свете лика Его» (слова, заканчивающие стих Теилим, 89:16) – Святого, благословен Он. А свет этот – тот первозданный свет, который припрятал Святой, благословен Он, для праведников, но чтобы удостоиться его, нужно знать, что такое труа!

^[1] Пурим и Ханука, установленные мудрецами в эпоху Второго храма, не являются праздниками в том смысле, который придает Тора этому понятию: в них работать не запрещается.

^[2] В оригинале именно слово «труа» – то, которое обозначает сомнительный способ звукоизвлечения.

ВСЕ УЖЕ СОВЕРШИЛИ ТШУВУ?

Eliahu Aeliead

В своей беседе в субботу, когда читают недельный раздел Торы «Балак», в 5751 (1991) году Любавичский Ребе сказал: «Мы приблизились к концу нашей эпохи, и безусловно – без всякого сомнения и даже тени сомнения – уже настало время Освобождения. Или, как говорят мудрецы наши, “все сроки исполнились”. И также совершение тшувы уже полностью завершено. Достигнута даже та степень совершенства, о которой сказано: “Машиах приходит, чтобы побудить праведников совершить тшуву” – с помощью искры Машиаха, которая есть в каждом без исключения, – поскольку мы уже в буквальном смысле очень близки к истинному и полному Освобождению!»

Эти слова вызывают крайнее удивление. Мы же видим воочию, что еще множество сынов Израиля необходимо приблизить к еврейству, раздуть в них искорку святости! Тем более что Алтер Ребе пишет в Танье (гл.1, с. 5а): еврей «в тот момент, когда совершает грехи, называется совершенным нечестивцем». И поэтому абсолютно непонятно, как может «совершенный нечестивец» считаться «совершившим тшуву полностью»?!



Главное – видеть в евреях только хорошее

В субботу, когда читали недельный раздел Торы «Ноах», в 5752 (1991) году Ребе говорил о том, что сыны Израиля в целом уже закончили свое служение и совершили тшуву. Все, что еще остается, – это исправление каких-то частных в служении отдельных евреев, но это – их личное дело, не связанное со служением всего народа, которое уже закончено и доведено до совершенства.

А еще раньше, в субботу, когда читали недельный раздел «Вайехи», в 5751 (1990) году, Ребе сказал, что необходимо приложить все силы к тому, чтобы истолковывать в лучшую сторону все поступки евреев и говорить только об их заслугах. Именно такой образ действий более всего угоден Всевышнему, ибо хорошо известно, что «мера доброты намного больше, нежели мера наказания» (Вавилонский Талмуд, Йома, 76а; Сота, 11а; Сангедрин, 100а). И, в чем нет никакого сомнения, духовный эффект разговоров в подобном духе таков, что Всевышний охотно принимает речи в защиту сынов Израиля и обращает внимание именно на их заслуги.

Ребе указал: посмотрев именно с этой точки зрения на историю народа Израиля, мы увидим, что во всех поколениях его великие представители прилагали массу усилий для того, чтобы находить оправдание поведению даже тех евреев, чей духовный уровень был очень низок, и подчеркивать их заслуги. И в первую очередь – заслуги в деле приближения истинного и полного Освобождения. Ведь «все сроки исполнились» еще во времена Талмуда (Сангедрин, 97б) – так насколько же больше это относится к нашему времени, после периода почти двухтысячелетнего изгнания!..

Но если так, что же задерживало приход Машиаха столь долгое время? Об этом сказали те же самые мудрецы. Отметив, что «все сроки исполнились», они добавили: «...и теперь все зависит только от тшувы» (Сангедрин, 97б). И, продолжая линию защиты и оправдания народа Израиля, Ребе уверенно заявил, что и это условие также уже исполнено. Потому что, сказал он, нет ни одного еврея, который хотя бы один раз в жизни не помыслил о тшuve, а скорее всего, подавляющее большинство евреев думали о ней много раз. Каждый же еврей обладает тем великим достоинством, что «в один миг, в одно мгновение» (выражение из Зоара; см., напр., ч. 1, с. 251б) из совершенного нечестивца может превратиться в совершенного праведника. Таково постановление Закона Торы. Мы видим это из того, что, если великий грешник и нечестивец обручается с незамужней женщиной, говоря: «Вот, ты посвящаешься мне при условии, что я – совершенный праведник», – обручение действительно. Почему? Ведь кажется вполне очевидным, что этот негодяй посмеялся над бедной женщиной! Нет, говорит Тора, в момент обручения «может быть, он помыслил о тшuve в своем сердце». И этого предположения достаточно для того, чтобы обручение считать действительным! Разве это – не потрясающий пример того, как надлежит относиться даже к явно недостойным евреям? Следовательно, заключает Ребе, нет ни малейшего сомнения в том, что Машиах должен явиться сейчас же, немедленно, раз стремления обелить грешника достаточно, чтобы считать его совершенным праведником!

Из этих слов Ребе следует, что главное средство приблизить Освобождение – защищать сынов Израиля и подчеркивать их заслуги.

На это, конечно, возразят, что, скорее всего, все сказанное относится к сфере воображения, а действительность совсем иная. Одно дело – стараться видеть и показывать у евреев только хорошее, но совсем другое – судить их поведение беспристрастно.

Однако это соображения человеческого разума. Тора же – воплощение разума Творца, который несравненно выше интеллекта даже самого великого из людей и зачастую совершенно непостижим для него. И если Тора, Тора Истины, утверждает, что чисто словесное оправдание и обеление еврея – нечто истинное, значит, так оно и есть. Кроме того, в нашем частном случае слова Любавичского Ребе о заслугах и о тшuve еврейского народа – отнюдь не плод его воображения.

Чтобы объяснить это, нам нужно отметить еще одно место в той же беседе Ребе. Поясняя свои слова о том, что в наше время уже весь народ Израиля совершил тшуву, он указывает на нечто весьма существенное: сейчас большинство евреев, не следующих Торе и не исполняющих ее заповеди, – это «младенцы, попавшие в плен к язычникам»^[1]. На первый взгляд это высказывание вызывает большое удивление: мы же видим воочию, что, к великому сожалению, совсем немало таких евреев, которые по собственной воле ушли с пути Торы и заповедей, – разве можно считать их «младенцами, попавшими в плен к язычникам»? Как можно искать им оправдания, говоря, что, мол, они не виноваты, поскольку якобы с самого детства не имели понятия о Торе и заповедях?



Оправдание грешника в свете Открытой Торы и в свете Торы Скрытой

Повторим еще раз: оправдание еврея с точки зрения Торы – отнюдь не плод воображения, но полностью соответствует Истине. Как известно (Танья, гл. 1, с. 5б), у каждого еврея не одна душа, а две: витальная (или животная) и Б-жественная. Когда Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак (Раяц) был еще мальчиком, он спросил своего отца, Ребе Шолома-Дов-Бера (Рашаба), почему Всевышний дал человеку два глаза. И тот ответил: «На каждого еврея нужно смотреть правым глазом, а левым глазом – на свои забавы и на “конфетки”». И когда хотят посмотреть на еврея, есть две возможности: обратить внимание на его животную душу или сосредоточиться лишь на Б-жественной душе. Но, в соответствии с указанием рабби Рашаба, надлежит постараться увидеть именно Б-жественную душу. Для этого следует обнаружить в том еврее хорошие качества и найти оправдание его проступкам именно с точки зрения Торы, и тогда Тора сама поможет видеть только его Б-жественную душу. Вот в чем внутренний смысл стремления обелить грешных евреев, а поскольку Б-жественной душой обладает каждый еврей без исключения, то в каждом представителе народа Израиля есть такое доброе качество, существование которого не вызывает никаких сомнений, ибо оно – по-настоящему истинное.

Следует указать, что в таком заступничестве за евреев есть несколько уровней.

В соответствии с Законом, нарушивший предписания Торы – грешник и подлежит наказанию. Однако оно снимается, если этот еврей поступил вопреки воле Всевышнего, бездумно совершив ошибку; тем более если был принужден к тому кем-то или просто своим положением «младенца, попавшего в плен к язычникам». Более того, Рамбам постановляет (Мишне Тора, Законы о разводе, 2:20), что даже грешащий сознательно на самом деле действует по принуждению. Он, как еврей, обладающий Б-жественной душой, безусловно, искренне желает исполнять волю своего Творца и очень старательно избегает нарушать ее, однако йецер а-ра (дурное начало, воплощенное в животной душе еврея) заставляя его грешить.

Согласно нашим мудрецам, еврей нарушает Тору лишь тогда, когда «входит в него дух безумия» (Сота, 3а). Значит, в самый момент совершения греха он находится в состоянии невменяемости, а поскольку человек невменяемый свободен от обязанности исполнять заповеди, то и от наказания за их неисполнение он освобожден.

И в сущности, это высказывание наших мудрецов – также попытка защитить и оправдать грешных евреев: его общий смысл в том, что никакой грешник в действительности не должен быть осужден и наказан. И очевидно, оно выражает в более лаконичной и афористической форме то, что Рамбам формулирует как закон Торы: еврей нарушает волю Всевышнего только против своей воли – поскольку его животная душа (йецер а-ра) заставляя еврея делать это и сбивает с толку, внушая, будто, даже согрешив,

он не порвет свою связь со Всевышним (см. Танья, гл. 14, с. 196). Следовательно, положение несправедливого еврея с этой точки зрения совершенно аналогично статусу «младенца, попавшего в плен к язычникам».

В Гемаре (Макот, 7а) мы находим даже такое утверждение: «Говорящий “это разрешено” – все равно что подвергшийся насилию». И каково в таком случае его оправдание? Во-первых, в плане духовном можно сказать, что этот еврей безумен, ибо йецер а-ра совершенно задурил ему мозги. Поэтому, отлично зная, что Тора запрещает действовать так, еврей все же притворился, будто не знает этого. Во-вторых, в плане физическом этого еврея можно назвать принужденным против своей воли сделать то, чего он не хочет; и это – совершенная истина в свете того, что пишет Рамбам. Наконец, возможно, наш еврей – «младенец, попавший в плен к язычникам» в буквальном смысле, то есть он действительно не знает, что в Торе существует данный запрет, или ошибается из-за недостаточного знания закона. Но, как бы там ни было, в любом из этих случаев наказывать его незачем.

Правда, все эти уловки несколько уязвимы, ибо никуда не деться от факта: нарушение Торы действительно произошло.

Согласно учению хасидизма (см. Ликутей Тора, Друшим ле-Рош а-Шана, Шир а-маалот), в каждом еврее есть два духовных уровня. Первый, обозначаемый именем «Яков», более низкий (так как в этом имени угадывается корень «экев», «пятка»); второй, обозначаемый именем «Израэль», более высокий (так как при небольшой перестановке букв в этом имени выявляется слово «рош», «голова»). Поэтому, чтобы защитить и оправдать еврея, следует подчеркнуть, что он – «Израэль», постоянно связанный нерушимой связью со Всевышним и вообще не имеющий никакого отношения к греху. Хотя, конечно, нелегко совсем закрыть глаза на то, что одновременно он также «Яков». Однако мы должны брать пример с Самого Всевышнего. О Нем написано в Торе: «Не смотрит на грех у Якова и не видит зла у Израэля» (Бемидбар, 23:21), что означает: хотя и у «Якова» есть грехи, и у «Израэля» возможно проявление зла, Всевышний не обращает на это внимания. Вот так же должны поступать и мы.

Однако и тут не все гладко. Алтер Ребе в указанном выше маамаре задает вопрос: почему Всевышний призывает (Ошеа, 14:2): «Вернись (то есть соверши тшуву), Израэль!» – ведь «Израэль» не грешит? Не правильнее было бы сказать: «Вернись, Яков»? Но дело в том, отвечает сам Алтер Ребе, что когда нога (на которую намекает имя «Яков») спотыкается, то падает и голова («Израэль»). Поэтому «Израэль» тоже должен совершать тшуву. И более того: поскольку в голове – ум, именно она начинает тшуву и предписывает способ ее совершения.

Говорит Мидраш, что у души нет единого названия: «Пять имен, обозначающих пять уровней души, наречены ей» (Берешит раба, 14:9; Дварим раба, 2:37) – нефеш, руах, нешама, хая и йехида. Но в своей беседе, связанной с недельным разделом Торы, Толдот, в 5752 (1991) году Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон останавливается на значении местоимения «ей» в этом изречении и объясняет, что оно намекает на шестую категорию: самую сущность души^[2].

Но ведь сущность души – это «частица», «искра» Б-жественной Сущности, о которой написано (Иов, 35:6, 7): «Если провинился ты – что причинишь Ему, а умножились твои грехи – что сделал Ему? Коль праведен ты – что даешь Ему или что из твоей руки Он возьмет?» Но это означает, что так же, как для Б-жественной Сущности не имеют значения грехи, совершаемые на земле, грех никак не воздействует на сущность

еврейской души. И тот, кто сосредоточивается лишь на ней и не обращает внимания не только на уровни нефеш, руах и нешама, но даже на высшие – хаю и йехиду, – приходит к выводу, что еврей вовсе не совершил греха, более того, даже ничуть не сошел со своей высшей духовной ступени. А это и значит, что еврей – на высшем уровне тшувы.



В истинном и полном Освобождении откроется сама сущность еврейской души. Это откровение неразрывно и теснейшим образом связано с откровением Б-жественной Сущности во всем мире. Ребе объясняет [3]: когда оправдание еврея строят на том, что он совершил грех из-за принуждения, или на том, что он «младенец, попавший в плен к язычникам» и поэтому не заслужил наказания, это только самая низкая из возможностей его защиты. На самом же деле любая заповедь – даже самая «легкая», любое доброе дело – даже самое «незначительное», совершенные евреем, находящимся в таком положении, обладают несказанной ценностью. Потому что они суть проявления его еврейской души, которая не знает, что такое грех, и никогда не нарушает волю Всевышнего. Ее единственное желание – исполнять Б-жественные заповеди.

Тем не менее на этом уровне все-таки упоминается грех – следовательно, он оставляет какой-то отпечаток. Однако есть такой вид оправдания, при котором нет и следа греха. И именно такой способ защиты евреев демонстрирует Ребе в своей беседе в субботу, Балак, в 5751 (1991) году. Он напоминает, что одна из главных задач Машиаха – побудить праведников совершить тшуву, то есть поднять их, никогда не грешивших, на еще более высокий духовный уровень, приближая к источнику их души, Б-жественной Сущности. Этот вид тшувы – тшува Машиаха, и она, по сути своей, откровение сущности еврейской души. Следовательно, любое проявление Б-жественной души еврея – откровение сущности его души, то есть тшува Машиаха. А поскольку нет еврея, ни разу не проявившего свою еврейскую душу, значит, все евреи без исключения уже совершили эту высшую тшуву!

[1] Термин, обозначающий еврея, с раннего детства не имевшего понятия о том, что такое еврейство, что существует Тора и обязанность исполнять ее заповеди. См., напр., Мишна, Шабат, 7:1; Шавуот, 1:2.

[2] Сущность Б-жественной души еврея – «частица» Б-жественной Сущности, которая не выразима никаким именем – лишь местоимением (как в начале Десяти заповедей: «Я – [Г-сподь, Б-г твой]»); поэтому сущность души также может быть выражена только местоимением. См. беседу Ребе в субботу, «Китаво», в 5751 (1991) году.

[3] См. беседу в субботу, «Вайехи», 5751 (1990) года.

ПОЧИТАНИЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

אָמײַע װײַלן

Никто не станет спорить, что ребенку лучше всего расти с родными родителями. Однако жизнь, к сожалению, не всегда соответствует идеалу: люди разводятся, умирают, создают новые семьи... Поэтому многие дети растут в семьях, где хотя бы один из родителей – приемный.

Построить отношения с отчимом или мачехой всегда непросто. Однако в еврейских семьях, помимо обычных психологических проблем, возникают еще и алахические, связанные, в частности, с пятой заповедью Декалога – о почитании родителей.

Почитание родителей – одна из немногих заповедей, за исполнение которых Тора обещает награду уже в этом мире: «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились твои дни на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (Шмот, 20:12). Поскольку, согласно Талмуду, в сотворении каждого ребенка участвуют трое: мать, отец и Всевышний (Кидушин, 30б), – почитая родителей, человек тем самым оказывает почтение и Творцу.

Впрочем, заповедь почитания родителей можно понять и с точки зрения естественных человеческих эмоций. Ведь именно родителям человек обязан своим существованием, если бы не они, он не появился бы на свет. Поэтому неудивительно, что чувства к родителям нередко совсем не зависят от того, как складываются наши отношения с ними. Многие испытывают искреннюю любовь даже к родителям, которых никогда в жизни не видели. Однако все это относится лишь к биологическим, а не к приемным родителям. Поэтому очевидно, что заповеди, касающиеся родных отца и матери, не распространяются автоматически на отношения в семье, где есть отчим или мачеха.



Итак, какие же алахические обязательства есть у детей в отношении приемных родителей и каков источник этих обязательств?

Прежде всего, некоторые из них – следствие обязанностей в отношении биологических родителей. Как пишет по этому поводу Рамбам: «Человек обязан почитать жену своего отца, даже если она не его мать, пока отец жив, ибо это – часть заповеди почитания отца. То же касается мужа матери, пока мать жива. Однако со смертью отца или матери обязательства по отношению к их супругам заканчиваются» (Мишне Тора, Гильхот мамрим, 6:15).

Шульхан арух приводит это мнение Рамбама в качестве Алахи, однако добавляет: «Хорошо продолжать почитать их и после смерти биологического родителя» (Йоре деа, 240:21). То есть, по мнению рава Йосефа Каро, даже после смерти отца или матери следует материально поддерживать отчима или мачеху, выражать им знаки уважения и т. д.

Кроме того, родитель – это не только тот, кто родил, но и тот, кто вырастил. Как писал испанский раввин Аарон Галеви: «Человек должен осознавать, что мать и отец являются причиной его существования. Поэтому ему надлежит оказывать им всяческие почести и делать для них все, что в его силах. Ибо они дали ему жизнь и тяжело трудились ради него, пока он был маленьким» (Сефер а-хинух, заповедь 33). Эту мысль мы находим и в Талмуде: «Сказал рав Йеошуа бен Карха: “Почему сказано: „Пятерых сыновей Михали, дочери Шауля, которых она родила Адриэлу“ (Шмуэль II, 21:8), если их матерью была Мерав? Потому, что Мерав их родила, а Михаль воспитала. И поэтому они названы ее детьми. Из этого мы учим, что того, кто воспитал дома сироту, Писание приравнивает к его отцу”» (Сангедрин, 19б).

Таким образом, «родительство» проявляется двояко: во-первых, в том, что именно родители дают человеку жизнь, а во-вторых, в том, что они его растят и воспитывают. С точки зрения Алахи последнее проявляется в том, что человек учит своих детей Торе.

В определенных случаях человек должен почитать своего учителя даже больше, чем биологического отца, – например, если оба находятся в плену, то прежде следует выкупить именно учителя, поскольку тот «дал ему удел в мире грядущем» (Бава мециа, 33а). Подобным образом, если отец и учитель идут с тяжелым грузом, то прежде надлежит помочь именно учителю (Бава мециа, 33а).

Еврейская традиция считает учителем даже того, кто научил человека хотя бы одной Алахе или даже еврейскому алфавиту^[1]. Поэтому, если приемный родитель занимается еврейским воспитанием своих детей, те, безусловно, обязаны почитать его как своего учителя.

В повседневной жизни евреи обходятся без отчеств. Однако в некоторых ситуациях – при вызове к Торе, составлении официальных еврейских документов – человека называют только «такой-то, сын такого-то». Во всех этих случаях Алаха разрешает пользоваться «приемным отчеством»^[2].

Однако применительно к отдельным ситуациям «алахическое равноправие» биологических и приемных родителей невозможно. Речь идет, прежде всего, о законах траура. Понятно, ни у кого не вызывает возражений, если человек, потерявший родителя, – неважно, родного или приемного, – испытывает и публично выражает скорбь. В частности, приемный ребенок имеет право не посещать праздничные церемонии в течение года после кончины отчима или мачехи (для родного ребенка подобное поведение – часть заповеди почитания родителей) или отмечать их йорцайт – годовщину смерти.

Однако есть определенные сомнения в том, насколько правомерно использование традиционных ритуалов вне четко очерченных границ. В частности, в первые дни траура по родителям человек может не выполнять некоторые заповеди, например, не обязан молиться. Очевидно, что в случае смерти кого-либо из приемных родителей это послабление не действует.

Кроме того, важно иметь в виду, что публичное соблюдение траура по приемному отцу может ввести людей в заблуждение. Например, окружающие могут подумать, что человек умер не бездетным, поэтому его вдова не нуждается в обряде халица[3], чтобы снова выйти замуж. Следует также помнить, что статус коена или левита не передается от приемного отца к приемному ребенку. Поэтому, если приемный отец был коеном или левитом, окружающие, увидев, что сын соблюдает по нему «полный траур», могут неверно определить его персональный статус.

Тем не менее многие раввины рекомендовали соблюдать формальный траур по приемным родителям. При этом они руководствовались следующими соображениями: если умирает человек, не имеющий близких родственников, десять достойных членов общины собираются на семь дней траура в его доме, а прочие жители посещают их и выражают соболезнования. А если все десять не могут остаться на семь дней, их подменяют другие члены общины (Шульхан арух, Йоре деа, 476:3). Очевидно, что если посторонний человек вправе скорбеть об умершем еврее, то приемному ребенку это тем более рекомендуется.

Кроме того, отдельные формы траура обязательны, поскольку приемные родители были для своих детей учителями Торы: они воспитывали их в духе определенных моральных ценностей и/или платили деньги тем, кто учил их Торе. К примеру, узнав о смерти учителя, человек обязан сделать надрез на одежде и надорвать ее (крив), подобно тому, как это делают на похоронах отца или матери, – так же следует поступать, узнав о смерти мачехи или отчима. Кроме того, одна из причин освобождения человека до похорон от соблюдения некоторых заповедей состоит в том, что в это время он занят приготовлением к похоронам. Это относится и к приемным детям. Тем не менее смерть отчима или мачехи не освобождает их от заповеди возлагать тфилин в первый день после похорон (рав Шломо-Залман Оэрбах постановил, что в этой ситуации приемный сын должен возлагать тфилин так, чтобы никто не видел[4]).

Алаха разрешает читать кадиш по любому человеку, чью память читающий хочет почтить. Поэтому нет возражений против того, чтобы человек читал кадиш по отчиму или мачехе. Проблема порой возникает только в тех синагогах, где, по обычаю, кадиш произносит лишь один человек, независимо от того, сколько скорбящих присутствует на молитве. В этом случае тот, кто не обязан читать кадиш, не может «перехватывать» это право у того, кто обязан. Впрочем, в наше время синагог, где сохранился бы этот обычай, почти не осталось.

Законы траура – неизбежная и не слишком приятная часть еврейского законодательства. Поэтому закончить эту статью хотелось бы упоминанием об отношениях между живыми людьми, точнее – о законах, касающихся возможных физических контактов между отчимом и падчерицей или пасынком и мачехой. Ибо Алаха, как известно, весьма неодобрительно относится к физическим контактам между мужчинами и женщинами, не состоящими в самом близком родстве.

Избегать физического соприкосновения с посторонними людьми обычно не очень трудно. Однако с собственными детьми, родными или приемными, это значительно сложнее.

С соответствующей проблемой в свое время столкнулся американский профессор-антрополог Авраам Шварцбаум, удочеривший и вырастивший китайскую девочку. За консультацией он обратился к раву Шломо-Залману Оэрбаху, ведущему иерусалимскому раввину того времени. На наш взгляд, ответ рава Шломо-Залмана достоин того, чтобы привести его почти полностью:

«Негия (“прикосновение” или “физический контакт”) запрещена только как проявление чувственности. Обычные, повседневные контакты разрешены, например, когда вы что-то передаете дочери из рук в руки или вместе выполняете какую-либо работу. Кроме того, вы должны иметь в виду, что во всех религиозных семьях физических контактов между отцом и дочерьми с течением времени становится все меньше... Не забывайте, что с того момента, как вашим собственным детям исполнится девять лет, запреты и правила, связанные с негия, распространятся и на них. Вообще, старайтесь во всем руководствоваться здравым смыслом. Я лично знаю одного весьма уважаемого раввина, который возлагает руки на головы своих невесток, благословляя их в канун субботы, точно так же, как возлагает руки на головы своих сыновей»^[5].

Впрочем, в некоторых общинах, в частности в Хабаде, приняты более строгие правила, касающиеся физических контактов между приемными родителями и детьми^[6]. Поэтому в каждой конкретной ситуации имеет смысл проконсультироваться со знающим раввином.

^[1] Ноах Орловек. Мой ученик – мой сын. Иерусалим, 2001.

^[2] Mordecai Hakohen, Imutz Yeladim lefi haHalakha [Adopting Children According to Halakha], in Y.L. Hakohen Maimon, ed., Torah Shebe-al Peh, vol. 3, 5721 [1951].

^[3] Халица (букв. «снятие», «разувание») – предписанный Торой обряд, освобождающий от необходимости заключать левиратный брак между бездетной вдовой и братом ее мужа. См.: Берешит, 38:8, 9; Дварим, 25:6.

^[4] Авраам Софер Авраам. Нишмат Авраам. Иерусалим: Римоним, 1987. Т. 5. С. 141.

^[5] Авраам Шварцбаум. Бамбуковая колыбель. История еврейского отца.
http://www.istok.ru/your_family/Bamboo/Bambook_5_4.html.

^[6] Кицур Шульхан арух (Краткий свод законов еврейского образа жизни), 140:31, 144:1.
http://www.chassidus.ru/library/halacha/kitzur_shamir/index.htm.

«ЕСЛИ БЫ Я ТОРГОВАЛ ГРОБАМИ...»

БИОГРАФИЯ РАББИ АВРААМА БЕН МЕИРА ИБН-ЭЗРЫ

יְאֹד עֲבֵרֵי הָא

Статья, предлагаемая вниманию читателей, является одним из предисловий к выходящему в серии «БЕТ: библиотека еврейских текстов» изданию памятника XII века – астрологического трактата «Начало мудрости» и авторских комментариев к нему («Книга обоснований») поэта, философа, астролога и комментатора Танаха Авраама Ибн-Эзры.

Издание представляет собой результат длительной работы коллектива переводчиков и исследователей Института перевода еврейских текстов и, помимо первого полного перевода трактатов Ибн-Эзры с иврита на русский, содержит значительный справочный аппарат.



Начальный лист толкования книги Шмот в комментарии Авраама Ибн-Эзры к Торе.
Неаполь. 1488 год

О частной жизни рабби Авраама, сына Меира из рода Ибн-Эзра, который называл себя «Рожденным без звезды», известно до обидного мало[1]. Точный год рождения рабби Авраама, сына Меира из рода Ибн-Эзра, неизвестен, родился он между 1089 и 1093 годами в мусульманском королевстве Сарагоса, в городе Тудела, что на реке Эбро. В то время это была мощная крепость, мусульманский форпост, защищавший северную границу от христианских королей Наварры и Арагона. Еврейская община Туделы проживала отдельно в еврейском районе, называемом джудерия[2], и занималась обычными для испанских евреев ремеслами: были там кожевенники, золотых дел мастера, торговцы. Как и всюду в Испании, много внимания уделялось воспитанию детей: «Каждые пятнадцать семей обязаны содержать учителя для обучения детей Писанию»[3]. О том, что образование в еврейской общине Туделы было поставлено блестяще, можно судить по числу великих людей, которые родились и получили воспитание в этом городе. В первую очередь следует упомянуть старшего современника Ибн-Эзры, философа и величайшего еврейского поэта Средних веков рабби Йеуду Галеви (ок. 1075–1141). Оттуда же вышел рабби Биньямин из Туделы, оставивший прекрасные записи о своем

путешествии на Восток во второй половине XII века. Там провел детство один из величайших каббалистов, рабби Авраам Абулафия (1240 – после 1291). Именно Тудела была родовым гнездом рода Шапрут и рода Минир, в каждом поколении поставлявших еврейскому миру гениев. Всех выходцев из Туделы отличают глубокие знания не только в Торе, но и в светских науках. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать Сефер а-кузари Йеуды Галеви, который, прекрасно зная философию, свободно ориентировался также в астрономии и филологии. Непонятной особенностью уроженцев Туделы была тяга к странствиям. Когда мы читаем биографии выходцев из этого города, в глазах начинает рябить от названий городов и стран, куда их заносило. Собственно, Авраам Ибн-Эзра и есть в высшей степени туделец: поэт, астроном, астролог, математик Б-жьей милостью. Бродяга, чьи переезды с места на место попросту необъяснимы.

О родителях рабби Авраама ничего не известно, кроме того, что они дали сыну блестящее образование. Обладая обширными познаниями в Танахе и еврейских науках, что было естественно для всей образованной части еврейской Испании, он также отлично ориентировался в современной ему философии, великолепно знал астрономию и тесно связанную с ней в те времена астрологию. Ибн-Эзра отличался широкими познаниями в математике, его учебник по арифметике «Книга числа», где он изложил принятую сегодня десятичную запись числа, немало способствовал распространению этой системы в еврейской общине Испании, а затем и в христианской Европе. А так называемая задача Ибн-Эзры занимает школьников вплоть до нашего времени[4]. Числа он любил с нежностью математика – в одном из своих трудов он даже посвятил каждой из цифр по стихотворению. В своих трудах он часто неожиданно сбивается на сложные арифметические расчеты, и создается впечатление, что просто из любви к ним. Не исключено, что у него было еще и медицинское образование, но как врач он никогда не практиковал.

В 1115 году, когда рабби Аврааму было около 25 лет, Альфонс I, король Арагона и Наварры, покорил Туделу, изрядно напугав этим еврейскую общину. Король сумел удержать евреев в городе, только письменно пожаловав им права автономии. Впрочем, сам рабби Авраам, кажется, в то время уже давно оставил Туделу, отправившись с севера Испании на юг. Куда и зачем, сказать трудно. В какой-то момент мы обнаруживаем его в Кордове. Очевидно, что он не бежал от политических или религиозных преследований, потому что в ту эпоху в Испании продолжалась война между христианскими и мусульманскими правителями, города и государства переходили из рук в руки, так что политического покоя в Испании было не найти в принципе. В религиозном отношении евреям было в то время достаточно безразлично, под чьей властью находиться, – и христиане, и мусульмане были одинаково неласковы, но все же в меру терпимы к евреям. Судя по стихам Ибн-Эзры, он очень любил Испанию: «Я буду печален, оставив Испанию», – напишет он позже. Да и в годы скитаний он для всех так и оставался р. Авраамом-испанцем. До пятидесяти лет он переходил из одного испанского города в другой, нигде надолго не задерживаясь. Не очень понятно, что он искал. Он мог легко обрести покой и найти пропитание в любой общине, хотя бы как уважаемый учитель, и все же ему не сиделось на месте. Состоятельным человеком он не был, но в то же время в испанский период его жизни мы не находим жалоб на бедствия и бедность. Чем он зарабатывал на жизнь, нам неизвестно. Можно предположить, что он пытался заниматься торговлей, но результаты заведомо не были блестящими.

Около 1140 года Ибн-Эзра, которому было в то время более пятидесяти лет, оставил Испанию, и начались его скитания. Причины поступка неясны: до начала серьезных бед еврейских общин Испании, связанных с вторжением Альмохадов из Африки в 1163 году, пройдут еще годы. В одном из своих писем Ибн-Эзра пишет, что

вынужден был оставить Испанию «...из-за преследователей». Очевидно, речь идет не о политических или религиозных преследованиях, и можно предположить, что имеются в виду какие-то финансовые неурядицы, для Ибн-Эзры совершенно естественные и органичные, ведь он был идеальным примером умного человека, совершенно не способного к финансовой деятельности.



Король Альфонсо I. Франсиско Прадилла

Подобно тому как мы ничего не знаем о родителях Ибн-Эзры, почти нет и сведений о его семейной жизни. Известно, что он был женат. Известно, что у него был сын Ицхак, знаменитый поэт, может быть даже превосходивший отца поэтическим талантом, – все же стихи рабби Авраама при всей своей легкости слишком «умны». Исследователям приходится прибегать к ненадежным интерпретациям текстов Ибн-Эзры, чтобы извлечь из них какую-то информацию о его семье. Согласно распространенной легенде, он был женат на дочери Йеуды Галеви, но это вряд ли соответствует действительности, хотя бы потому, что Ицхака Ибн-Эзру никогда не считали внуком Йеуды Галеви. Утверждается, что у рабби Авраама было пять детей. Доказательством тому служат слова комментария к Пятикнижию: «Тот, кто знает время зачатия, может вычислить срок родов, а кто знает время рождения, может вычислить срок зачатия. Формула испытана древними, и я сам пять раз проверял ее»^[5]. Из этого утверждения делается вывод, что у Ибн-Эзры было пять детей – по числу проверок. Может быть, и правда, что, кроме Ицхака, у него были другие дети – в стихах он называет своего сына «сохранившимся угольком, утешением старости», откуда можно заключить, что другие дети не выжили.

К моменту, когда Ибн-Эзра оставил Испанию, у него уже не было жены, а его сын Ицхак, покинув Испанию, не последовал в Европу с отцом, а отправился на Восток, сопровождая рабби Йеуду Галеви в его последнем путешествии. Вначале Ицхак поселился в Каире. Потом мы находим его в Багдаде на должности секретаря придворного врача. Здесь он переходит в ислам, но, кажется, лишь для видимости. Через некоторое время он возвращается в лоно иудаизма и пишет стихи: «Никогда в жизни не ел падали! / Если сумасшедший называет себя пророком, / провозглашу это в начале каждой молитвы. / Уста произнесут, а сердце ответит: / Лжешь ты! Ничтожно свидетельство твое! / Я уже вернулся под крылья Б-га! / И у Тебя, Б-же, прошу прощения». Умер он еще при жизни отца, в 1163 году. Опубликовано всего с десятков его стихов – блестящие, легкие, но их так мало!

С Йеудой Галеви Ибн-Эзру связывала тесная дружба. Они родились в одном городе, вместе жили потом в Кордове. Легенды, как уже говорилось, упорно пытаются связать их родственными узами. Иногда их объявляют сыновьями родных сестер, то есть двоюродными братьями, или пытаются объединить их еще как-либо. Иногда легенды пытаются выдать дочь рабби Йеуды Галеви за сына рабби Авраама, раз уж не удастся женить на ней его самого. Связь между двумя поэтами была действительно глубока; великий спорщик Ибн-Эзра, не признающий никаких авторитетов, в своем комментарии к Танаху только с Йеудой Галеви никогда не спорит, а цитирует десятки раз и всегда с большим почтением. После смерти друга он в стихах описал, как рабби Йеуда Галеви пришел к нему во сне и пригласил: «Приходи, вместе будем петь, вместе будем покоиться в земле. Что тебе бродить в одиночестве?!» Собственно, и Испанию они оставили одновременно, но разошлись в разные стороны: Йеуда Галеви отплыл в Святую землю в сопровождении сына рабби Авраама, а сам рабби Авраам Ибн-Эзра отправился в Италию.

Итак, начался двадцатипятилетний период скитаний Ибн-Эзры и одновременно период активной литературной деятельности. В Испании он, похоже, писал только стихи, по крайней мере, нам не известны другие его произведения этого периода. Покинув любимую Испанию, он практически сразу же приступил к комментаторской деятельности. Первую из своих книг, комментарии к книге Коелет, он открывает стихами:

Ī nō àēñȳ èàé èèñò ãí èì úé,

Ī ò Èm̄ áí èè-ðí àéí ú ò èó-áí í úé,

È á Dèi ò ò ðá àéñȳ ñ áóó í þ ñ yò áí í é.

Далее он, предваряя книгу, просит «извинить за все погрешности» и надеется «искупить все ошибки». Заметно, что стиль автора еще не устоялся. Резкость и четкость придут позже. Пока есть множество длиннот и отступлений, но едкость и готовность поспорить уже просматриваются. В Риме он выполнил перевод с арабского на иврит трех книг крупного еврейского грамматика Ибн-Хаюджа, а также написал собственную книгу по грамматике иврита Маозней лашон а-кодеш («Весы священного языка»). Из Рима он отправился в странствия, скитаясь непонятно где. Точно известно, что он добрался до Алжира, – есть письменные свидетельства тех, кто его там встречал. Кажется, побывал в Багдаде. По легенде, добрался до самой Индии, но последнее не находит подтверждений.

Через несколько лет мы вновь обнаруживаем его в Риме, где он жил недолго и вскоре переехал в Салерно на юго-западе Италии. В Салерно, он, кажется, собрался прочно обосноваться, но это ему не удалось, потому что в городе в те годы жил рабби Ицхак бен Малкицедек, известный комментатор Мишны и большой знаток Талмуда,

прибывший туда из Греции. Хотя жители города, похоже, и признавали познания рабби Авраама в светских науках, они сочли, что он уступает их мудрецу в знании священных предметов. В результате Ибн-Эзра переселился на север Италии, в Мантую, оставив жителям Салерно на память стихи: «В Италии нет почтения. / Освистывают всех мудрецов / из страны чужой. / А если прискачет греческий кузнечик, / вознесется над всеми, / оседлает всех / и будет в гигантах ходить. / А талантливые люди, / знающие Писание, / у этих в рубищах ходят, / и все это молча сносят».

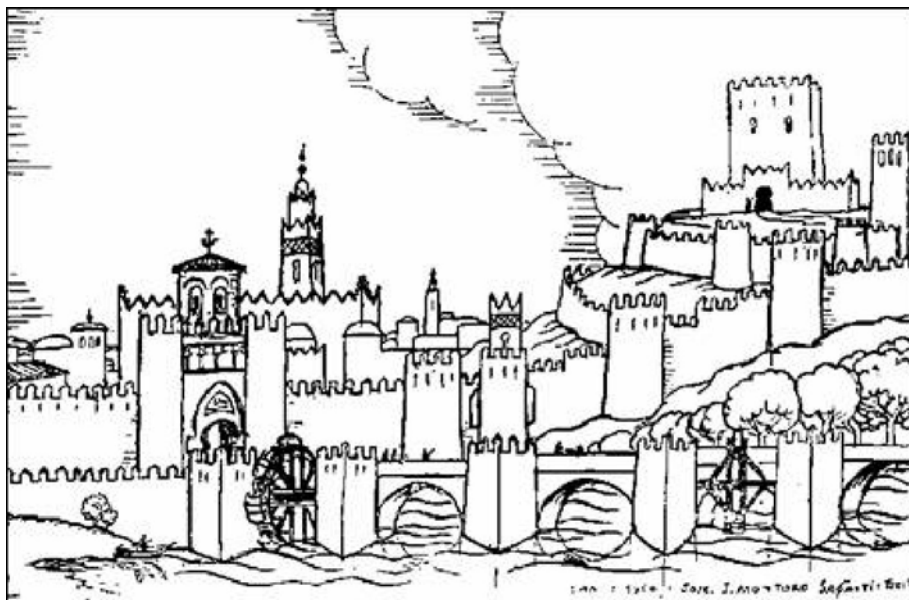


Рисунок Хосе Хоакина Монторо Сагасти: предполагаемый вид мусульманской Туделы с крепостью, мостом, стенами и главной мечетью. На рисунке также изображена церковь Святой Магдалины с башней, построенной в XII веке, которая сохранилась до наших дней, но в действительности мечеть и церковь существовали в разное время.

В Мантуе он задержался настолько, чтобы завершить Сефер а-цахут («Книга ясности»). Здесь его настигла болезнь, от которой он чуть не скончался. Именно тогда он дал обет составить комментарий, объясняющий простой, прямой смысл Пятикнижия. Этот обет он выполнил, но уже не в Мантуе, а в Вероне, где прожил несколько лет. Сразу после окончания работы над комментарием к Пятикнижию он отправился в Прованс, где, как известно, мудрецов почитали. Во Франции он задержался на десять лет. И снова мелькают названия городов: Безье, Нарбонн[6] (куда он несколько раз возвращается), Дре[7]. В конце концов его заносит в Нормандию, он некоторое время живет в Руане.

В Провансе его, безусловно, почитали и ставили очень высоко. Достаточно сказать, что спустя сто пятьдесят лет именно пребывание там Ибн-Эзры – р. Авраам-испанца – упоминали как доказательство того, что еврейский Прованс переживал свой золотой век. Более того, все признавали, что именно Ибн-Эзра оказался тем человеком, который построил мост между арабоязычной ученостью еврейских общин Испании и германскими общинами, не владевшими арабским языком. Под влиянием Ибн-Эзры род Ибн-Тибонов[8] приступил к переводам на иврит арабоязычных еврейских произведений, а благодаря Ибн-Тибонам все еврейство смогло прикоснуться к трудам Йеуды Галеви и Рамбама (Маймонида).

Сохранился обмен восторженными письмами и посвященными друг другу стихами между Ибн-Эзрой и внуком Раши рабейну Тамом, величайшим знатоком Талмуда всех времен. Одна из обсуждавшихся ими проблем отражена в Тосафот[9], сборном комментарии к Талмуду, составленном в Провансе. На этот период приходится работа над

Сефер а-Шем («Книгой Имени») – толкованием развернутого Имени Всевышнего; этот труд стал одним из основополагающих в мистической традиции европейского еврейства. В это же время Ибн-Эзра пишет Перуш арох аль а-Тора («Длинный комментарий к Торе»), от которого до нас дошли только отрывки, – мы даже не знаем, завершил ли его сам рабби Авраам. Там же он пишет комментарии к ряду книг Танаха. Именно на этот период приходится практически все его труды по астрологии.

Около 1159 года он пересекает Ла-Манш и несколько лет живет в Лондоне, где у него находится состоятельный покровитель. Там он составляет труд Йесод мора («Основа Б-гобоязненности»), в котором объясняет смысл заповедей Торы, и ряд посланий: «И было в году четыре тысячи и девятьсот и девятнадцать в ночь субботнюю месяца тевет, числа четырнадцатого[10], я, Авраам-испанец Ибн-Эзра, находился в одном из городов острова, называемого “Край Земли”, у седьмой границы земли населенной. Спал я, и сон мой был сладок, и во сне явился ко мне муж с запечатанным посланием в руках, и обратился он ко мне и сказал: “На, возьми послание от субботы”»[11]. «Остров, называемый “Край Земли” – это, конечно, Англия, буквально переведенная с английского Angle land – «Угол земли». Далее он рассказывает, что во сне родилось послание, «спешно посланное во все края земли», в котором он доказывает, что суббота и все прочие дни еврейского календаря начинаются с вечера. В Англии же он заново отредактировал свой комментарий к Торе. В 1161 году его следы обнаруживаются опять в Нарбонне, но, судя по стихотворению, завершающему комментарий к Торе, оттуда он опять отправляется в Рим. А сколько еще городов встретилось на его пути, сказать трудно.

Дата его смерти устанавливается по записи в одной из рукописей, хранящейся в Венской национальной библиотеке: «Во второй день нового месяца первого адара 4927 года умер Ибн-Эзра, и было ему 75[12], и о себе он в год своей смерти записал: “А Аврааму было семьдесят и пять лет в году ухода его от гнева Г-сподня”[13]». Увы, в записи не указано место смерти. Рабби Моше Тако уверенно пишет, что Ибн-Эзра умер в Англии[14], где и похоронен. По другим версиям, Ибн-Эзра из Нарбонна решил вернуться в Испанию, где скоростижно скончался в Калаорре, что на реке Эбро, и там похоронен. По третьей версии, из Нарбонна Ибн-Эзра через Рим отправился в Святую землю, где и умер в Галилее, как обещал в стихах: «Перед разверзнувшейся бездной вернуться в Землю». Сам Ибн-Эзра упоминает, что видел свиток Торы, проверенный мудрецами Тверии, и пятнадцать ее мудрецов клялись, что трижды проверили в нем каждое слово[15]. Соблазнительно сделать вывод, что те мудрецы клялись самому Ибн-Эзре, то есть он побывал в Тверии. Как бы то ни было, его могилу в Верхней Галилее часто посещают паломники. Впрочем, в Риме, там, где было написано его последнее стихотворение, тоже есть могила Ибн-Эзры.

Итоги личной, а не литературной и творческой биографии Ибн-Эзры таковы: он был примером неудачника, человека, не способного заработать никакими усилиями. Вокруг этого, не дай Б-же, таланта сплетено множество легенд и анекдотов, начало которым он положил сам, написав стихи, ставшие еврейской поговоркой:

Áñè áú ý ò í ðã äè ñá: àì è,

Ñíèí óá í á ñäèèíñí áú í í: àì è.

Áñè áú ý ò í ðã äè ãñáàì è,

Ἐρᾶε ἰεεῖται ἅ ἰάοι εὐαεε.

По легенде, последнее двустишие основывается на рассказе о том, как рабби Йеуда Галеви послал рабби Авраама в некий город, где всякий день умирало пятьдесят-шестьдесят человек и не было саванов, чтобы похоронить их. Взял рабби Авраам верблюда, груженного саванами, и отправился в тот город. И как только пришел, все прекратили умирать. Когда Ибн-Эзре надоело сидеть в ожидании покупателей, он раздал все саваны бесплатно и вернулся домой. На вопрос Галеви «где деньги?» рабби Авраам предложил рабби Йеуде считать, что он отдал их на благотворительность.

Ибн-Эзра свято верил в астрологию, строка, предваряющая приведенные стихи, гласит: «Звездные сферы, созвездия и планеты сошли с пути своего, когда я родился». А в другом стихе он назвал себя «несчастливым, рожденным без звезды».

Известно великое множество анекдотов о его неспособности заработать. Как-то друзья решили помочь Ибн-Эзре, но, не желая его смущать подарком, положили кошель с деньгами на дороге, где рабби Авраам обязательно должен был пройти, а сами спрятались неподалеку посмотреть, как он будет радоваться находке. Приблизившись к месту, где лежал кошелек, Ибн-Эзра внезапно закрыл глаза и пошел, как слепой, нащупывая дорогу руками. Кошелек он так и не поднял. Друзья спросили, что случилось, и тот ответил: «Я шел и думал о своей несчастной жизни. А потом подумал, что, слава Б-гу, я пока не слепой. И решил проверить, как ощущает себя слепой. Закрыл глаза и пошел на ощупь...»

А еще рассказывают, что Ибн-Эзра решил поправить свои дела женитьбой. Он рассмотрел несколько гороскопов невест и обнаружил, что одной из них суждено найти клад. На ней и женился, не посмотрев, что она бесприданница. Год и другой прошли, а клада все не было. Он опять составил гороскоп жены и никакого клада в нем не обнаружил. «Я женился на тебе, потому что тебе суждено было найти клад», – упрекнул он жену. «Что касается меня, – отвечала жена, – я в твоём лице нашла сущий клад». Рассказывают и такой анекдот: «Ибн-Эзра решил поправить свои дела, создав по всем правилам астрологии козла, который шел бы по следу клада. Козел уверенно встал на след, дошел до моря и столь же уверенно скрылся в пучинах[16]. Ибн-Эзра остался на берегу...»

В конце концов Ибн-Эзра признал, что у него нет ни одного шанса разбогатеть или хоть как-то поправить свое материальное положение. Уже в самой первой книге, в комментарии на стих: «Посмотри на деяния Б-га; разве кто может выпрямить то, что Он искривил?...» (Коелет, 7:13), он пишет, явно имея в виду себя: «Мудрец, у которого нет ни денег, ни имения, радуется своей мудрости и не печалится бедности, ибо это было предопределено ему с шести дней Творения. И тот, кто понимает в астрологии, подтвердит это... И если у кого-то гороскоп ущербен в отношении денег или в другом отношении, то нет тому исправления».



**Рабби Авраам Ибн-Эзра.
Портрет современного художника**

КОММЕНТАТОР

Для еврейской культуры Ибн-Эзра – один из светочей экзегетики, и его комментарий к Пятикнижию почти столь же почитаем, как комментарий Раши, правда, обращаются к нему значительно реже. Дело в том, что Раши во всех своих комментариях строит мостик между текстом Пятикнижия и талмудической литературой. Ибн-Эзра же, если строит мостик, то не всегда понятно куда. Его комментарий строится на грамматическом анализе и его личных представлениях о мире. Иными словами, Раши излагает взгляды Талмуда на Писание, а Ибн-Эзра выражает только свою точку зрения – его комментарий в гораздо большей степени авторский, личный. Спорить с Раши – это спорить с одним из мнений Талмуда, что категорически не принято (можно выбирать между мнениями Талмуда, но не оспаривать их), а спорить с Ибн-Эзрой – это спорить с Ибн-Эзрой. Правда, с таким авторитетом не принято пререкаться, но можно просто объявить о своем непонимании. Рабби Лейбу Лифшицу (прозванному Хариф – «едкого ума») приписывается высказывание: «Раши писал свой комментарий, чтобы я его понял, и я его действительно понимаю. Рашбам писал свой комментарий, чтобы я его понял, но я его не понимаю. А рабби Авраам Ибн-Эзра писал, чтобы я его не понял, и я его действительно не понимаю». В другой версии сказано еще резче: «Он писал, чтобы я его не понял, я его не понимаю и не хочу понимать. И всё же все признают величие души рабби Авраама Ибн-Эзры». Что касается «он хотел, чтобы не поняли», вероятно, имеется в виду привычка Ибн-Эзры зашифровывать те комментарии, которые, по его представлениям, простой читатель мог счесть еретическими. Например, в одном из комментариев он пишет: «И я приоткрою краешек тайны, намекнув, что, когда тебе будет тридцать три, узнаешь». Подразумевается: сравни с тем, что написано тридцатью тремя стихами ниже. Таких намеков у Ибн-Эзры достаточно.

На самом деле комментарий Ибн-Эзры не может оставить равнодушным никого, кто к нему прикоснулся. Не зря рабби Элияу Мизрахи, великий комментатор Раши, именно Ибн-Эзру называет «главой всех комментаторов». Дело в том, что именно Ибн-Эзра проникает в тайны Писания, не мистические, а доступные великому уму, обремененному многими знаниями. Лучше всех выразил отношение к этому комментарию Рамбан [\[17\]](#): «К Ибн-Эзре у нас будут откровенные упреки и тайная любовь!» [\[18\]](#)

АСТРОЛОГИЯ: ИБН-ЭЗРА И РАМБАМ

Рабби Авраам Ибн-Эзра – не только выдающийся комментатор и поэт, но и один из величайших знатоков астрологии. Рабби Йосеф-Шломо Дельмедиго писал: «Этот человек всю жизнь скитался по всему свету, от самого западного моря до Лукки, Египта, Эфиопии и Элама. Не было у него ни серебра, ни червонцев... Только одежда для согрева и мешок с астролябией. Верный рыцарь Г-спода, он очень верил в склонения и асценденты [звезд], а для Рамбама все это сродни спиритизму, которым соблазняются глупцы»[19].

Начиная с упомянутого Рамбама, отношение евреев к астрологии всегда было довольно неодобрительным, хотя среди великих ученых Израиля время от времени появлялись большие поклонники астрологической науки. Понятно, что рабби Моше бен Маймон[20] был не первым, кто считал, что астрология не еврейское дело; он это извлек из ряда высказываний Талмуда. Но ведь и еврейские астрологи обосновывали свое отношение к астрологии, обращаясь к Талмуду. На самом деле в вопросе об отношении иудаизма к астрологии возникают две проблемы. Первая достаточно очевидна и в некоторой степени актуальна до нашего времени, а именно: является ли астрология наукой, или хотя бы искусством, или это просто набор фантазий, не имеющих ни малейшего рационального основания. Вторая проблема религиозная и касается нескольких ключевых вопросов взаимоотношения человека и Создателя. Во-первых, возникает вопрос, насколько Всевышний вмешивается в дела людей, а во-вторых – насколько человек самостоятелен в принятии решений. Ведь если судьба целиком зависит от звезд, то как человек может отвечать за свои поступки – за него все уже решили звезды!

Рамбам, чей авторитет непререкаем, категорически не признает астрологию наукой. Он полностью отрицает любую научную основу астрологии, считая ее обманом, приближающимся к мошенничеству. Он уверенно заявляет, что только наивные люди могут доверять астрологическим прогнозам. С его точки зрения, верные предсказания астрологов находятся в области паранормальных способностей, никак не связанных со звездами, а гороскопы и натальные карты не более чем метод сосредоточения человека, наделенного такими способностями, ничуть не превосходящий по точности гадание на бобах и на кофейной гуще[21].

Ибн-Эзра считает астрологию искусством, с паранормальными способностями не связанным. Искусством в той же мере, в какой врачевание – это искусство. Разумеется, медицина имеет научную основу, но ее конкретное применение зависит от таланта врача, от умения применять знания в областях туманных, где информация далеко не полна: «...потому что, если воздух не прозрачен, трудно точно определить длины дуг[22] и в результате узнать последствия (для человека) в городах и воздушных...»[23]. И действительно, мы видим, что Ибн-Эзра приравнивает медицину к астрологии, утверждая, что естественные причины вызывают болезни; эти причины могут быть связаны с едой, воздухом, местом жительства, но Всевышний в милости Своей великой может спасти от болезней. Ибн-Эзра отмечает, что таким же образом предначертанное на небесах еще в час рождения должно случиться, но Всевышний в милости Своей великой может изменить предначертание[24]. Как в медицине он различает явные болезни (ушибы, ожоги и т. п.), которые дано вылечить врачам, и болезни внутренние, часто врачам не поддающиеся[25], так и в астрологии случаются вещи очевидные и не очевидные, и подход к ним различен. Хороший астролог может многое, например, рабби Авраам так

объясняет таланты Бильама, про которого было известно, что «тот, кого он проклял, – проклят»[\[26\]](#):

Он умел читать гороскопы, и когда видел, что кому-то суждена беда свыше, проклинал того, когда же беда наступала, все думали, что проклятие пришло от Бильама... Но не мог он изменить решение Всевышнего, как ему пришлось признаться позже[\[27\]](#).

Рабби Авраам Ибн-Эзра – человек исключительно религиозный и никогда и ни в чем не готов поступиться верой в волю Всевышнего. В ключевой отрывке об астрологии он так излагает собственную позицию в вопросе:

Знай, что все растения и животные на земле: птицы, скот, звери, букашки и человек, – все они связаны с высшими, ибо общие [законы управления миром] связаны с 48 созвездиями[\[28\]](#)... *И вот не могут слуги*[\[29\]](#) *изменить предначертанные им пути, и ни один из них не может нарушить закон, данный Создателем. А все звездное воинство и жители дольного мира распределяют полученное свыше благо, но сами не могут даровать ни блага, ни горя. И никакие поклоны воинству небесному не принесут пользы. Но то, что суждено с рождения по положению звезд, то и сбудется, разве что высшая, чем звезды, Сила обережет того, кто прилепился к Нему, и тот спасется от предначертанного. И приведу тебе один важнейший пример: звезды сложились так, что река, протекающая по некоторому городу, должна была смыть всех его жителей. И пришел пророк, и предупредил их, чтобы раскаялись и вернулись к Создателю до того, как придет день бедствия. И они раскаялись всем сердцем, и, поскольку произошло такое, Он послал в их сердца мысль, чтобы вышли из города помолиться Ему. Так они и сделали. В тот день, как обычно внезапно, река разлилась, что мы видели многократно, а они спаслись. И вот мы видим, что предначертание не изменилось, но Он спас их...*[\[30\]](#)



Здесь стоит на минутку прервать цитату и отметить последние слова: «...предначертание не изменилось, но Он спас их». То есть природа продолжала следовать своим путем, предначертанным ей звездами, но люди смогли спастись благодаря Всевышнему. Мы говорили о том, что на Ибн-Эзру часто нападают последователи Рамбама, который к астрологии относился плохо. А теперь цитата из Рамбама ровно на ту же самую тему, о предначертании и спасении:

То, что корабль тонет и крыша дома падает, погребая под собой всех, – это чистое дело случая [31], а вот то, что люди пришли на судно или оказались в том доме, – это не случайно, но по воле Всевышнего... И знай, что Б-жественное Провидение не касается всех людей в равной степени, но злодеи полностью исключены из Б-жественной благодати и равны животным [32], но люди спасаются от катастроф... благодаря близости своей к Создателю [33].

И тут мы замечаем, что большой разницы между Рамбамом и Ибн-Эзрой не обнаруживается:

И это важно, что слуги [34] следуют своими путями, не принося ни счастья, ни горести. Просто таков путь их... [35]

Тот, кто не верит в предначертания звезд, говорит о законах природы и «случайностях», то есть событиях, которые акцидентально происходят в мире и которых избежать невозможно. Но Всевышний в милости Своей помогает праведникам, например, опоздать на корабль, которому суждено утонуть. Кто верит в предначертания звезд, говорит о том, что река разольется, потому что так суждено, и это неизменно. Но праведники, близкие к Создателю, в тот день окажутся вне города. Получается, что между воззрениями этих ученых, рассматривающих мир с совершенно разных позиций, нет никакой разницы. Различие лишь в том, как предсказать будущее. Последователь Рамбама рассчитывает вероятность события и постарается уменьшить шансы попасть в катастрофу. Последователь Ибн-Эзры попытается прозреть гороскоп и разобраться с констелляцией планид. И в том и в другом случае результат описан Ибн-Эзрой:

Важно отметить, что планиды идут по своим путям, как кони по дороге. И слепому человеку не дано определить путь коней, и он вынужден в этом полагаться на зрячего. И этот зрячий спасает – бег коней не изменится, но зрячий отведет слепого в сторону... И наши благословенной памяти мудрецы сказали: «Нет звезды у Израиля», подразумевая, что, когда евреи соблюдают законы Торы, их не касается постановление звезд, а когда нарушают, то попадут под власть звезд, как и следует из опыта... [36]

Мы видим, что позиция Ибн-Эзры в религиозном смысле безупречна и полностью соответствует изложенному в Талмуде [37]. Там приводится история о дочери рабби Акивы, которой астролог предсказал, что она умрет в день свадьбы. Перед свадьбой она дала проходящему бедняку денег из предназначенного на свадебные расходы, а позже, разбирая прическу, воткнула булавку между камнями стены и убила ею змею. И далее приведено еще множество историй в том же стиле. Там же говорится, что характер человека определяется звездами: «Тот, кто родился под Марсом, будет склонен к пролитию крови», и немедленно добавляется, что есть много замечательных профессий и для таких людей, начиная от мясника и кончая хирургом. Да и судьбе тоже приходится

проливать кровь. Иными словами, в Талмуде утверждается: предназначение свыше не может заставить человека стать преступником или праведником. Для любого характера есть свой путь праведности. И опять Рамбам и Ибн-Эзра удивительным образом совпадают в выводах, исходя из разных посылок.

Если бы Г-сподь предопределял для человека быть праведником или злодеем или если бы существовало нечто, увлекающее человека на определенный путь в соответствии с обстоятельствами его рождения, дающее ему определенное мировоззрение, определенные качества характера, заставляющие совершать определенные поступки, как воображают глупцы-звездочеты, – как же могло бы быть нам приказано через пророков поступать так-то и не поступать так-то, исправить стези свои и не следовать дурным примерам?! Если суждено человеку поступать определенным образом или условия его рождения диктуют определенный образ поведения, от которого невозможно отклониться? И какой смысл был бы в Торе?! Как можно было бы наказать злодея и вознаградить праведника?[\[38\]](#)

Очевидно, что Рамбам здесь возражает против строго детерминированной астрологии, согласно которой все события в жизни человека, его мысли и образ жизни целиком зависят от звезд. Такое представление о мире не оставляет человеку никакого выбора и, собственно, не предполагает никакой ответственности за поступки и преступления, – ведь все предопределено звездами. При этом Рамбам прекрасно понимает, что в судьбе человека множество вещей определяется внешними обстоятельствами, например, его физическими данными, местом рождения, социальными обстоятельствами. Но ведь и Ибн-Эзра ни в коей мере не принимает детерминированной астрологии. Он даже срок жизни не считает предписанным звездами: «Ибо срок жизни определяется природой, а природа выстраивается в соответствии с правильными поступками. А потому Всевышний может восполнить дни жизни, чтобы человек прожил столько, сколько отведено здоровьем данного человека, или сократить, и тогда Создатель ослабляет силы или шлет гибель от бедствий и несчастных случаев тем, кто не благоговеет перед Ним»[\[39\]](#). Еще откровенней: «Тому, кто полагается на Г-спода всем сердцем, Он посылает обстоятельства, чтобы спасти от всех бед, предназначанных ему гороскопом от рождения. А потому нет никакого сомнения в том, что праведник защищен в большей степени, чем знаток астрологии»[\[40\]](#).

Народный анекдот свел Рамбама и Ибн-Эзру. Ибн-Эзра решил проверить, действительно ли Рамбам такой великий врач. Он пробрался к тому в больницу и лег в кровать. Рамбам, совершая обход, никогда толком больных не осматривал, а с одного взгляда определял диагноз и диктовал помощникам метод лечения. Дошел он до постели Ибн-Эзры, взглянул на пациента и прописал: «А этому сто динаров!» – и пошел дальше. Трудно поверить, что Ибн-Эзра вот так, ни за что ни про что, получил сто динаров. Да и встреча такая достаточно сомнительна, хотя бы потому, что в год смерти Ибн-Эзры Рамбам еще не был практикующим врачом. А вот представить себе встречу двух этих ученых интересно. Можно предположить, что Рамбам написал бы очередное язвительное послание об астрологии вроде того, что послал марсельским мудрецам, а Ибн-Эзра написал бы не менее язвительное стихотворение о враче. И при этом можно с уверенностью сказать, что они остались бы довольны друг другом. Действительно поражает, насколько два этих мудреца, Рамбам и Ибн-Эзра, совпадают в своем восприятии мира и жизни и насколько при этом различается их мировоззрение.

Рамбам, говоря о свободе принятия решения, с его точки зрения неограниченной, – вынужден согласиться с тем, что Создатель может закрыть человеку «дорогу раскаяния», и это наказание злодею свыше[41]. Он считает, что лишение человека свободы выбора – это чудо, прямое вмешательство свыше. Ибн-Эзра, рассуждая о желании человека служить Всевышнему, о выборе, связанном с внутренней духовной жизнью, рассуждает о власти Творца, которая проявляется посредством звезд: «...небольшие изменения свыше могут привести изменения в предначертанное». В качестве примера он приводит фараона, который не в силах пожелать отпустить народ Израиля, ибо «Всевышний укрепил его сердце». Подобно тому как вмешательство свыше в расположение звезд лишает фараона свободы выбора, Всевышний может повлиять на народ Израиля и склонить его к служению Себе[42]. Ибн-Эзра не считает, что при этом человек полностью лишается свободы выбора. Каждый сам выбирает свою дорогу, но Всевышний в милости Своей может вмешаться в расположение звезд так, что данный человек станет чувствительней к Его слову. И все равно решать предстоит человеку. Таким образом, и Рамбам, и рабби Авраам-испанец считают, что вмешательство свыше в человеческий выбор – это великое, хотя и скрытое чудо.

В еврейском мире не предполагается, что можно кого-либо избавить от ответственности; этому учит Тора: человек сам решает, быть ему праведником или злодеем. Человеческое сознание, не только интеллект, но и чувства, эмоции, воображение, могут низвести его до животного состояния или вознести на ступень ангелов. Рамбам считает, что человека поднимет до уровня ангелов интеллект: благодаря интеллектуальной близости к Всевышнему смертный может вырваться за пределы ограничивающих его законов природы. Об этом же говорит и Ибн-Эзра. Праведная жизнь и интеллектуальные способности приближают человека к Б-гу и позволяют вырваться за рамки, предначертанные звездами: «А ангелом-посланником между человеком и Б-гом служит интеллект человека» – пишет он в стихах, предваряющих его комментарий к Торе.

Можно предположить, что различия в мировоззрении этих величайших умов отчасти объясняются их профессиональными склонностями. Рамбам был врачом и логиком, он искал пути познания природы мира в медицинской науке того времени. Ибн-Эзра был астрономом, математиком и поэтом. Он познавал мир посредством астрономии, естественным образом преобразовавшейся для него в астрологию. Но они жили в одном мире, они служили одному Б-гу, и в результате путь, предначертанный человеку, понимали одинаково. А друг о друге отзывались пренебрежительно. Если Рамбам утверждал, что астрология – чушь, то Ибн-Эзра утверждал, что потуги врачей лечить болезни вовсе бессмысленны! Нет, конечно, костоправы нужны – кто-то должен залечивать раны. Но болезни?! Ведь они либо происходят от дурной еды, и тому, кто полагается на Всевышнего, бояться их не следует, ведь Он обещал «благословить хлеб твой», либо разносятся по воздуху, в зависимости от положения звезд, а «...соблюдающему Тору нет нужды во враче, когда есть Г-сподь»[43].

В какой-то момент Ибн-Эзра вообще отказывается от астрологии: «Известно, что у каждого народа есть своя звезда и созвездие, есть своя звезда у каждого города. У народа же Израиля звезды нет, потому что Всевышний Сам принимает решения о судьбе нашего народа, нет у него звезды, ибо надел Г-спода – народ Израиля»[44]. Да и вообще, он полагает, что жить согласно предначертанию звезд – наказание свыше: человек уподобляется животному – как звезды предначертали, так и будет. Но «...тело человека – из нашего низменного мира, а с ним связана высшая душа...», соединенная с человеком через интеллект. Между телом и душой есть два посредника: «дух» – сфера эмоций, и «душа низшая», которая нуждается в пище и обладает прочими естественными

потребностями. «Всевышний дал Тору, чтобы укрепить высшую душу и тело не властвовало бы над нею»[45].

Как написал, так и прожил: тело Ибн-Эзры прошло свой тернистый путь, дух его бушевал, но высшая душа властвовала над ними. Хасидский наставник рабби Симха-Буним из Пшисхи, желая объяснить, что «ярмо Небесного царства» – такая же ноша, как «ярмо для быка и ярмо для осла», сказал про Ибн-Эзру: «Я вообще не понимаю, как плечи Ибн-Эзры могли вынести столь великое почитание Б-га»[46].

[1] Мы даже не знаем, принадлежал ли р. Авраам к знаменитому гранадскому роду Ибн-Эзра или у него это не родовое имя, а прозвище.

[2] В современном испанском языке произносится «худерия».

[3] Цитата из постановления еврейской общины Вальядолида, составленного по общепринятому образцу. См., например: Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин, 17б.

[4] Трое пошли в лес. У одного было пять лепешек, у второго три, а третий еды не взял. Они съели поровну, после чего тот, у кого еды с собой не было, заплатил за лепешки 8 медяков на двоих. Как их честно поделить? (Если в ответе не 7 и 1 соответственно, то это ошибка.)

[5] Комментарий на Шмот, 2:2.

[6] Или Нарбонна (Narbonne), таково же и средневековое еврейское название.

[7] Из-за ошибочного прочтения названия этого города в еврейской рукописи (предполагалось, что порядок букв перепутан переписчиком и следует читать הָאָרָא) долгое время считали, что Ибн-Эзра жил какое-то время на Родосе.

[8] Ибн-Тибоны – философы и переводчики. Представители этого рода: Йеуда, его сын Шмуэль, сын Шмуэля – Моше, внук Моше – Яаков бен Макир – значительно обогатили еврейскую культуру. Р. Йеуда родился в Гранаде (около 1120) и уже в ранней молодости переехал в Прованс, где и умер (около 1190). Перевел на иврит множество классических трудов, написанных на еврейско-арабском языке (труды Саадьи Гаона, Йеуды Галеви, Бахьи Ибн-Пакуды, Ибн-Джанаха). Вклад р. Йеуды и его потомков в развитие иврита, еврейской мысли и литературы невозможно переоценить.

[9] Комментарий на Вавилонский Талмуд, трактат Рош а-Шана, 13а, на слова: «На следующий день после Песаха».

[10] В ночь на 6 декабря 1158 года.

[11] Игерет а-шабат («Послание о субботе»), предисловие.

[12] Если так, то датой смерти следует считать 23 января 1167 года, а годом рождения 1092 или 1093 год, в зависимости от еврейской даты рождения. Некоторые исследователи полагают, что в рукописи следует читать «4924», а не «4927».

[13] Аллюзия к стиху: «А Аврааму было семьдесят и пять лет по уходу его из Харана» (Берешит, 12:4). Название йоф, Харан, на иврите созвучно слову йафс, харон, – «гнев [Всевышнего]».

[14] Ктав тамим («Ясное письмо»). Из авторов, сообщающих о месте смерти Ибн-Эзры, Моше Тако (ум. в 1232 году) по времени ближе всего к Ибн-Эзре. Правда, стоит привести более пространную цитату: «А Ибн-Эзра утверждал, что никаких чертей не существует... Я слышал от уроженцев Англии, где он и умер, что однажды он ехал по лесу и оказался среди множества псов, которые стояли кругом и пристально его разглядывали. И все они были черными, и, разумеется, они были не кем иным, как чертями. Когда ему удалось уйти от них, он опасно заболел и от той болезни умер».

[15] Комментарий на Шмот, 25:31. Неясно, следует ли из этих слов, что Ибн-Эзра сам беседовал с ними в Тверии. Впрочем, есть свидетельство о том, что «рабби Авраам Ибн-Эзра прибыл в Святую землю только в конце жизни» (р. Йосеф Тов-Илем, Цафнат панеах; XIV век).

[16] Судя по тому, что он сначала шел по суше, а потом уверенно направился в море, это был козел с рыбьим хвостом, изображающий зодиакальный знак Козерога.

[17] Рамбан (рабби Моше бен Нахман, Нахманид; 1194–1270) – философ, каббалист, врач и законоучитель, глава испанского еврейства. Жил в Испании и в Земле Израиля. Его комментарии к Торе считаются классическими.

[18] Рамбан, Маво ле-перуш аль а-Тора («Предисловие к комментарию на Тору»).

[19] Рабби Йосеф-Шломо Дельмедиго, Михтав ахуз («Отдельное письмо»).

[20] Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, Маймонид; 1135–1204) – крупнейший кодификатор Алахи и один из величайших еврейских философов Средневековья, врач. Жил в Испании и Египте. Наиболее известные его труды – всеобъемлющий алахический кодекс Мишне Тора («Второзаконие»), Сефер а-мицвот («Книга заповедей»), Перуш аль а-Мишна («Комментарий к Мишне») и философский трактат Море невухим («Путеводитель растерянных»), заложивший основы всей последующей еврейской философии. Впрочем, Рамбам был не чужд и мистики, но она у него тоже была философской.

[21] Сефер а-мицвот («Книга заповедей»), Запреты, 31.

[22] То есть расчет астрологических карт затруднен, потому что наблюдения за планетами искажаются.

[23] Комментарий к стиху из Йешаяу, 47:13 («Спасут ли тебя наблюдатели небес, созерцатели звезд?»).

[24] Комментарий к Шмот, 23:25.

[25] Комментарий к Шмот, 21:19.

[26] Бемидбар, 22:6.

[27] Комментарий к Бемидбар, 22:28.

[28] И положениями семи планид, которые могут образовывать 120 сочетаний. Далее он вкратце приводит расчет этого числа (полный расчет он дает в «Книге Вселенной»): планид всего семь. Число всевозможных сочетаний пар семи планид составляет 21, троек семи планид 35 и т. д. (Ибн-Эзра правильно считает числа Бернулли сочетаний по одному, по два и т. д.).

[29] Планиды.

[30] Комментарий к Шмот, 33:21.

[31] Законов природы.

[32] Животных Б-жественная опека касается только в самом общем, видовом смысле.

[33] Море невухим, 3:17-18; итог рассуждения см. в 3:51.

[34] Планиды.

[35] Комментарий к Шмот, 33:21.

[36] Там же.

[37] Вавилонский Талмуд, Шабат, 156а-б.

[38] Мишне Тора, Тшува, 5:4.

[39] Комментарий к Мишлей, 10:27.

[40] Предисловие к Сефер а-моладот («Книге рождений»).

[41] Шмона праки́м («Восемь глав» – предисловие к трактату Мишны Авот, традиционно выделяемое в отдельное произведение), гл. 8.

[42] Комментарий к Дварим, 5:26.

[43] Комментарий к Шмот, 23:26.

[44] Комментарий к Дварим, 4:19.

[45] Комментарий к Шмот, 23:26.

[46] Приводится, например, в Коль мевасер («Глас провозвещающий»), раздел Тецаве, причем составитель удивляется, почему р. Симха-Буним выбрал в качестве примера именно Ибн-Эзру, поставив его впереди пророков. Сам того не замечая, составитель дает и ответ: «Души первых пророков и поколения, стоявшего у горы Синай, покидали тела при встрече с Создателем, и Он оживлял их росой воскрешающей», – р. Авраам Ибн-Эзра нес это ярмо сам, без всякой помощи свыше.

НАЧАЛО ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

Окончание. Начало в № 8, 2009

אָנאַרײַן אָרײַן

При нашем бюрократическом режиме часто, и весьма часто, недостаточно одной воли Государя. Необходимо, чтобы и исполнители не были против. Если они против, то воля Царя не поможет, всегда найдется крючок и все усилия кончатся ничем. Так бы и кончилось с синагогой, если бы хоть на минуту охладели к ней.



Дом в Петербурге, где находился банк Варшавских

Как выше было сказано, Комитет для постройки синагоги составил в ноябре 1869 года. Приступлено было немедленно к отысканию места под постройку. А.М. Варшавский нашел таковое у своего друга, бывшего еврея, действительного статского советника Вайсберга, угол Гороховой и Фонтанки. Подано было заявление Обер-Полицмейстеру Трепову о том, что желаем приобрести это место под постройку. Трепов послал своего землемера, который нашел, что это место находится на расстоянии 48 саженей от церкви, в то время как на основании закона оно должно быть не ближе 50 саженей. В самом деле закон гласит: если синагога строится на одной улице с церковью, так она должна быть на расстоянии 100 саженей, если же на другой – то 50 саженей. В данном случае церковь находилась на Б. Садовой, на Сенной площади, а место Вайсберга – угол Фонтанки и Гороховой, так что не 50 саженей, а чуть ли не 500 саженей расстояния между ними. Но землемер, из-за того, что никого из нас при этом не было, нас не предупредили, мерил не по улице, а по диагонали через крыши и не от церкви, а от конца забора церковной земли, и, таким образом, вышло, что это место Треповым было отказано, прибавив при этом, что, по его мнению, синагога должна быть построена в одной из заречных частей на Васильевском, на Петербургской стороне, на Выборгской стороне – все равно. Излишне сказать, что этот ответ нас страшно поразил. Я отправился к

А.М. Варшавскому, и он немедленно поехал к Трепову. Об этом месте нельзя было больше думать, но Трепов отказался также от своей мысли насчет постройки синагоги в одной из заречных частей. Надо заметить, что Губернатор Левашов имел больше прав, чем Трепов, но Губернатор, при всем его сочувствии нашему делу, а он действительно сочувствовал, был до того слаб характером, что никогда не боролся с оппозицией. Трепов нам после этого не одно место забраковал, находя разные причины. <...>

Мы на этом не успокоились и продолжали искать места. Нашли мы место: угол Фонтанки и Царскосельского проспекта. Оно принадлежало купцу Жукову. Я просил барона Г.О. Гинцбурга заехать к Трепову и с ним поговорить об этом месте. Трепов немедленно послал своего землемера, и на следующий день Трепов сообщил, что с его стороны препятствий нет. Мы были в восторге, так как со стороны Губернатора мы были уверены, что препятствий не будет, Губернатору мы подали официальную бумагу о разрешении приобрести место Жукова, а для того, чтобы укрепить место за нами, мы выдали 2000 руб. задатка и получили задаточную расписку. За резолюцией Губернатора я сам отправился. Он мне говорит: «Ну, что же, теперь будет конец, я Вам сейчас разрешу». Позвонил и пришел Правитель Канцелярии. «Напишите им, что они могут приобрести место Жукова», – сказал Губернатор Правителю. Последний замечает: «Конечно, разрешить можно, но было бы вернее представить это на усмотрение Министра Внутренних Дел». Губернатор мне говорит: «Пожалуй, это будет вернее, тогда вы будете совершенно спокойны». На это я ему ответил, что в Министерстве это затянется на годы и наша задаточная расписка имеет силу лишь в течение шести недель. Министерство может нам разрешить это место, когда это давным-давно окажется проданным другому. «Нет, не беспокойтесь, – сказал он, – я не думаю послать это в Министерство, я пошлю лично Министру и сам заеду за разрешением». И он эту бумагу отправил. Через 2–3 дня я отправляюсь в Канцелярию Министра, и оказывается, что бумаги там нет. На всякий случай я заехал в Министерство Департамента общих дел, и она там оказалась. Теперь, думаю, пойдет канитель. Надо заметить, что место Жукова, с одной стороны, имело Обуховскую больницу, с домашней церковью, а с другой стороны, через улицу, Технологический Институт также с домашней церковью. Министерство, думаю себе, вероятно, обратит на это внимание, и я начал рыться в законах, касающихся этого предмета. Главное, что меня интересовало, – это было уяснить себе, какая разница, с точки зрения законодательства, между приходскими и домашними церквями. Несмотря на все мои старания, этого вопроса прямым путем выяснить не удалось. Но, зная, что по отношению к открытию питейных заведений также требуется известное расстояние от церквей, я взялся за питейный устав, и, в самом деле, там я нашел то, что мне было нужно. В силу не помню какого параграфа питейные дома могут быть открываемы не иначе как на расстоянии NN от церквей. В примечании же к этой статье говорится, что все эти ограничения не относятся к домашним церквям. Очевидно, что законодатель делает различие и, следовательно, если домашние церкви не ограничивают прав кабаков, то тем менее они должны мешать домам молитвы. С питейным уставом в руках я отправился в Хозяйственный Департамент Министерства Внутренних Дел. Как я предвидел, мне указали на две домашние церкви. Я показал питейный устав – Департамент с моим толкованием согласился. Хозяйственный Департамент с своей стороны не находит препятствий к постройке синагоги в этом месте. Но он нашел нужным отправить это дело в Департамент Духовных Дел иностранных вероисповеданий. Там – те же указания на церкви, и тот же питейный устав выручил. Между тем, срок задаточной расписки кончается, наши 2000 руб. пропадут, и вдобавок места не будет. Я отправился к Губернатору графу Левашову. Я ему говорю, что в Министерстве конца не будет, наши деньги пропадут и, если даже потом разрешат, то место, вероятно, уже будет продано. Губернатор настаивал совершить купчую, ибо никто нам мешать не может. Дело может затянуться, но ведь, в конце концов, разрешат. Я ему ответил, что это общественное дело

и мы места не купим, пока нет разрешения. У нас на святой Руси сюрпризов бывает очень много. Ну, хорошо, сказал он, приходите завтра, а я, между тем, поговорю с Министром. На следующий день я пришел и Губернатор мне сказал, что Министр не встречает препятствий, но полагает необходимым представить это дело на решение Митрополита. Услышав этот совет, я невольно закричал: «Дело погибло!» Губернатор снова настаивает на совершении купчей, и я ему возражаю, что у нас все возможно и рисковать общественными деньгами не имеем права. Конечно, Губернатор не знал, но я с Жуковым сошелся, и мы переписали задаточную расписку. Губернатор и в данном случае вызвался заехать к Митрополиту, но, наученный опытом, я ему не верил. Ввиду нового положения дела созвано было экстренное заседание Правления общины, и было решено завтра же с делегацией отправиться к князю Суворову, бывшему Петербургскому Генерал-Губернатору, с просьбой оказать содействие перед Митрополитом. Князь Суворов исполнил свое обещание, был у Митрополита, и после этого визита – это было в пятницу перед Троицей – он написал раввину д-ру Нейману письмо приблизительно следующего содержания: «Был я сегодня у Его Высокопреосвященства Митрополита. Он меня принял чрезвычайно любезно и сказал, что он знает, чему он обязан столь приятным для него визитом. Вероятно, хотите просить насчет синагоги. Не просите, ибо я считаю позором заставить евреев так долго мучиться из-за места. Ведь они хотят строить Б-жий дом, ну пусть себе строят. На замечание мое, что там есть две домашние церкви, Митрополит ответил: “Знаю, знаю, но это отнюдь не мешает. Бумаги Министерства еще не имею, но как только получу, то 24 часа она не пролежит у меня”». Князь Суворов, сообщая об этом д-ру Нейману, присовокупил, что он считает себя счастливым, что он содействовал столь благому делу. На следующий день после этого письма, то есть в субботу, я отправился в канцелярию Митрополита узнать, не получена ли из Министерства наша бумага. Оказалось, что не получена. На всякий случай я зашел по дороге в Православную Консисторию. Там этой бумаги тоже не было. Тем не менее я счел нужным побеседовать с секретарем Консистории. Я ему рассказал, в чем дело, что все власти решили, что домашние церкви и законодателем, и Министерством отличаются от приходских и что сам Митрополит не находит препятствий к разрешению этого вопроса в удовлетворительном смысле. Я просил его устроить это дело так, чтобы было хорошо, и, конечно, обещал быть благодарным. <...> Во вторник утром отправляюсь в Консисторию. На вопрос мой, что слышно, секретарь отвечает: «скверно». Бумага, сказал он, поступила к Митрополиту в субботу вечером, и Митрополит, невзирая на праздник, созвал Консисторию для обсуждения этого вопроса. Члены Консистории даже не дали себе труда прочесть бумагу, выслушать доводы, все в один голос закричали: «Две церкви – нельзя». Я немедленно созвал Правление, которое решило завтра же отправиться делегацией сперва к князю Суворову, затем к Митрополиту. Но ничего не помогло. Митрополит утвердил постановление Консистории. Таким образом, наш задаток в 2000 руб. пропал, работали в течение нескольких месяцев даром, и опять начинай сызнова. Между тем Трепов был назначен Градоначальником, следовательно, одной инстанцией стало меньше, хотя Губернатор относился хорошо. Положение было скверное, если, в самом деле, при каждом месте придется мытарствовать по всем Министерствам, мы никогда места не будем иметь. Мы решились подать на Высочайшее имя прошение: указать нам одну инстанцию, от которой зависело бы всецело разрешение на покупку места. Особым Высочайшим повелением было указано, что это зависит всецело от Градоначальника. Этим мы многого достигли, ибо с одним человеком как-нибудь и когда-нибудь споемся. Все это происходило в начале 1872 года. Тут я должен сделать небольшое отступление.



Интерьер Петербургской Хоральной синагоги

В то время, когда надо было Жукову дать 2000 руб. задатка, в кассе денег не было, ибо подписка на постройку еще не состоялась до приобретения места. Но так как мы были уверены, что место Жукова будет разрешено, то представилась надобность открыть подписку. В Петербурге из главных членов правления был один лишь Абрам Моисеевич Варшавский. Я его просил созвать собрание по поводу подписки. Так как это было перед Пасхой, то он просил назначить в холь а-моэд. В первый день Пасхи вдруг явился в молельню возвратившийся из-за границы С.С. Поляков. А.М. Варшавский тут же в молельне с ним поговорил насчет заседания. Варшавский просил, чтобы заседание было у Полякова, так как он старший член Правления. Поляков ему ответил, что Вы зато старше годами, я к Вам приду. Варшавский, по окончании Б-гослужения, мне передал беседу с Поляковым – последний раньше ушел – и просил меня повидаться с Поляковым и окончательно выяснить. На следующий день утром я уже был у Полякова и встретил его спускающимся по лестнице. «Вы ко мне? В чем дело?» – «По поводу заседания». – «Да, Абрам Моисеевич мне говорил, но я ему ответил, чтобы оно было у него, я к нему приду». – «Это я знаю, но дело вот в чем. Это заседание, как Вам известно, кончится подпиской на постройку синагоги. На такие собрания неохотно идут. У Варшавского в течение года бывает много заседаний, у Вас же никогда еще ни одного заседания не было. Я уверен, что эта новизна произведет впечатление и все до единого придут». Поляков, улыбаясь, отвечает: «Если Вы считаете это полезным для дела, то согласен». Как я предвидел, все были налицо. Барона в Петербурге не было. Поляков председательствовал. Первым говорил Л.М. Розенталь. «Я, – сказал он, – против неосуществимых затей, миллионных затрат мы делать не можем, рассчитывают на Гинцбурга, что он будто бы когда-то обещал 70 000 руб. Я лучше его знаю, он ничего не даст. Я бы предложил не заниматься фантазиями, тем более что ждать до устройства синагоги, во всяком случае, далеко, а мы теперь ничего не имеем. Я бы предложил купить дом и приспособить его так, чтобы он мог годиться для порядочной, красивой и удобной молельни. Для этого понадобится капитал в 50–60 000 рублей. Эти деньги могут быть подписаны сейчас». Абрам Моисеевич Варшавский, как вообще мягкий и добрый человек, с ним согласился. Прочие, одни были с ним, другие против, Поляков же, как председатель, резюмировал и сказал следующее: «Я согласен с г. Розенталем в том, что миллионных затрат не следует делать, и, пожалуй, у нас таких не будет. По-моему, хорошую, приличную синагогу можно выстроить и на 300, 400 и, наконец, на 500 000 руб. Я также согласен с Розенталем в том,

что до устройства синагоги, во всяком случае, далеко, между тем как сейчас необходимо иметь порядочную молельню. Теперешняя молельня, по своему помещению, ниже всякой критики. Но я не согласен с г. Розенталем в том, что мы должны отказаться от мысли построить синагогу, иметь в столице открытый храм. Все считали большим и важным шагом на пути к уравнению наших прав и, во всяком случае, делом прогресса получение разрешения, и вдруг, когда это с большим усилием было достигнуто и вся печать об этом уже не один раз говорила, мы придем и скажем: нет, мы не будем строить. Нет, мы так далеко ушли в этом деле, что возврата нет и, скажу Вам откровенно, что всякий возврат покрыл бы нас позором. Оправдания бы не было. Я также не согласен с Вами, г. Розенталь, насчет участия Гинцбурга. Я его меньше знаю, чем Вы, но насколько я его все-таки знаю, заставляет меня думать, что его пожертвование скорее зависит от нас, чем от него. Сколько каждый из нас бы дал, он всегда даст больше, желая быть во главе. Поэтому предлагаю подписку на постройку открыть. <...> Вы же, г. Розенталь, как оппонент, должны подписать первый». Нет, говорит Розенталь, начинайте Вы, как председатель. Поляков подписал 25 000 руб., замечая, что это временно, впредь до выяснения вопроса о стоимости синагоги. Розенталь, Варшавский подписали по 10 000 руб. Словом, в этом заседании было подписано на сумму свыше 100 тыс. Впоследствии Вавельберг пожертвовал 20 000 руб. Решено было барону Евзелю Гинцбургу сообщить и просить обозначить свое участие. Также было решено созвать общее собрание членов общины для участия в подписке. Через несколько дней барон Гинцбург ответил, что он действительно когда-то обещал 70 000 руб., но с условием прекращения ежегодного взноса в пользу общины в размере 5000 руб. Строительный комитет ответил, что никто не указывает ему, сколько дать, но то, что даст, чтобы было без кондиции, подобно тому, как другие это делают. Гинцбург согласился и дал 70 000 руб. без всяких кондиций. Вообще, участие Полякова в деле первой подписки и впоследствии, много лет спустя, в деле постройки, можно сказать, спасло дело постройки синагоги в Петербурге, и этим мы обязаны тому, что заседание состоялось у него, а не у А.М. Варшавского. <...> На заседании у Полякова было решено приискать подходящее помещение для временной молельни. Этим делом, конечно, занимался я. После долгих поисков я нашел, что называется, находку. Дом по Фонтанке у Египетского моста, против Экспедиции заготовления государственных бумаг, угол Пряильного переулка. Этот дом, при небольшой переделке, вполне годился для молельни. Громадная зала в два света, чудный подъезд, масса комнат и салонов и на дворе немало квартир для доходов.

<...> Дом был куплен на имя барона Г.О. Гинцбурга, на деньги Комитета для постройки синагоги. Я сейчас взялся за внутреннее устройство и к Рош а-Шана 1871 года [молельня] была открыта. Все были в восторге от устройства и Б-гослужения. Кантором был тогда известный Шпицберг, а хор был образцовый, состоящий из артистов. <...>



Как выше было сказано, рядом с упорядочением дел общины и синагоги необходимо было упорядочить кладбищенское дело. В каком положении оно находилось, раньше было отчасти уже сказано. Но для того, чтобы это дело поставить, как подобает столичному еврейству, необходимо было приискать место и построить кладбище по всем правилам еврейским. <...> Из предлагаемых новых мест самым подходящим оказалось место в соседстве с Митрофаньевским. Оно было сухое, квадратное, и к нему вела мощеная дорога. Просили за это место 10 000 руб. Я готов был эти деньги дать, но предварительно необходимо, чтобы Губернское Правление не встречало препятствия. Губернский землемер рассмотрел наши планы, нашел, что это место вполне подходит, и сказал, что можно купить и строить кладбище. Я просил, чтобы он мне дал письменное согласие. Тогда он говорит: «Хорошо, подождите немного, пойду наверх к Вице-Губернатору и Старшему Советнику». По возвращении он мне говорит: «Видите, по отношению к евреям имеется такая масса ограничений, что Вице-Губернатор и Старший Советник опасаются, авось и в этом деле есть ограничения. Поэтому они решили отправить это дело на заключение Министерства Внутренних Дел». Все мои уверения в том, что нет ограничений по отношению к этому вопросу, не помогли и дело было отправлено в Министерство. Боясь, чтобы это от меня не ушло, я каждый день бегал по разным Департаментам, и каждый Департамент, подобно Губернскому Правлению, не будучи уверенным в отсутствии ограничений и вообще не желая принять на себя ответственность за еврейское дело, которое может, как-никак, причинить неприятность, старался направить это дело к другим, лишь бы от себя подальше. Короче сказать, это несчастное дело попало в Православную Консисторию и оттуда в Святейший Синод. К счастью, дальше послать некуда было, и наше дело начало плавать обратно. Интересен мой разговор с Обер-Секретарем Синода. Это было в 1871 году после погрома в Одессе. Этот господин мне говорит: «Как, Вы хотите устроить кладбище рядом с христианским, Вы разве забыли, что происходило недавно в Одессе?» – «Нет, не забыл, там дрались живые, но мертвецы, надо надеяться, будут лежать спокойно». – «Но дело ведь не в этом. Кладбища устраивают при кладбищах, а не там, где кладбищ нет». Но это был разговор несерьезный, и, в общем, он ответил, что, вероятно, Синод даст благоприятный отзыв. Спустя несколько дней я отправился к Директору Хозяйственного Департамента Вишнякову узнать о судьбе нашего дела. Будучи с ним уже хорошо знаком, я сел бесцеремонно возле его стола, закурил папироску и спокойно спрашиваю, в каком положении наше дело. Он мне ответил, также весьма спокойно, что отказано. Я вскочил,

как будто меня укололи, вышел из себя, думал, что потолок на меня обрушился, и стал благим матом кричать на всех и на все. Как только к Вам попадает еврейское дело, будь оно самое святое, Вы его не читаете, не вдумываетесь и пихаете от себя подальше. Чего ради наше дело попало в Православную Консисторию, в Святейший Синод? Что общего между нашим делом и этими учреждениями? Благо, что некуда было больше отправить наше ходатайство, а то оно гуляло бы еще несколько лет и мне приходилось бы бегать и обивать пороги по разным этим учреждениям. Как изволите видеть, я молодой человек, студент, и, собственно говоря, это вовсе не мое дело, такими делами занимаются люди пожилые и обеспеченные. К сожалению, в нашей общине нет людей, которые бы могли посвятить много времени подобным делам. Поэтому я взялся за это доброе дело и, как Вы сами изволили убедиться, я сделал все, что мог, не щадя никаких усилий. Теперь мои усилия оказались бесплодными и кладбища у нас не будет. Ввиду этого я, считая, что все сделал ради этого доброго дела, больше заниматься [им] не буду и, так как этим смерть не прекратится, то передам общине, чтобы еврейские покойники доставлялись в Хозяйственный Департамент к г. Вишнякову и пусть он распоряжается ими по своему усмотрению. Эти слова были сказаны с такой горячностью, что Вишняков испугался и сказал: «Как, Вы хотите учинить скандал?» – «Да, – ответил я, – нам некуда будет их девать, и волей-неволей придется их доставить тому, от кого это дело зависит». – «Успокойтесь и садитесь», – сказал он. Я сел и успокоился. «Чем могу я Вам помочь?» – «Возьмите и напишите на нашем прошлогоднем ходатайстве, что со стороны Министерства препятствий нет к устройству кладбища на указанном нами участке». – «Да, – говорит он, – но отказ уже отправлен к Губернатору, графу Левашову». – «Когда Вы его отправили?» – «Дня два тому назад», – ответил он. «В таком случае Вы получите Вашу бумагу обратно, если желаете». – «Хорошо, если можете, устройте это». С Губернатором я был хорошо знаком по делам устройства общины и синагоги, и, когда я его познакомил с делом кладбища, он, долго не думая, велел вернуть обратно в Министерство упомянутый отказ. Вишняков начал этим вопросом интересоваться и, интересуясь им, докопался до того, что нашел, что он состоит председателем Высочайше утвержденной Комиссии для устройства кладбищ в столице. Он тогда созвал Комиссию, и, благодаря нашему делу, вопрос об устройстве кладбищ за городом и о переводе их из Консистории в Городскую Управу был решен окончательно и приведен в исполнение. Городская Управа отвела для устройства новых кладбищ Преображенский участок, и Еврейской Общине была отведена часть земли, которая была рассчитана на 100 лет. Надо отдать справедливость Городской Управе, она отнеслась самым симпатичным и толерантным образом к требованиям общины, и, наконец, кладбище было устроено, и устроено самым подобающим столице образом. Новое кладбище было открыто 16 февраля 1875 года.



**Петербургское еврейское кладбище.
Главные ворота**

Резюмируя мою деятельность по учреждению еврейской общины в столице, я должен сказать, что мысль о ней явилась во мне в 1867 году, и при поступлении моем в конце 1871 года на частную службу временная синагога была устроена, Комитет по постройке синагоги был в ходу, Правление общины, Сиротский дом и училище были хорошо уже обставлены. Все это было сделано в течение 4-х лет.

Поступив на частную службу, я все-таки душою был предан общественным делам в Петербурге. К счастью, моя служба была такова, что только лето я находился вне Петербурга. Таким образом, я мог содействовать общественным деятелям в деле постройки синагоги и устройства кладбища, которых я был инициатором. Кстати, постройка синагоги, как выше было сказано, разрешена была в 1869 году, открыли же ее в 1894 году. Ее, собственно, строили всего лет пять, остальное же время было употреблено на разные мытарства по разрешению места для постройки, и, с другой стороны, наступила апатия, вследствие погромов и наступившей реакции после смерти Императора Александра II. О мучениях, которые мы претерпевали, пока добились места, можно много написать, но о них нечего говорить, так как «Ende gut, Alles gut»[\[1\]](#).

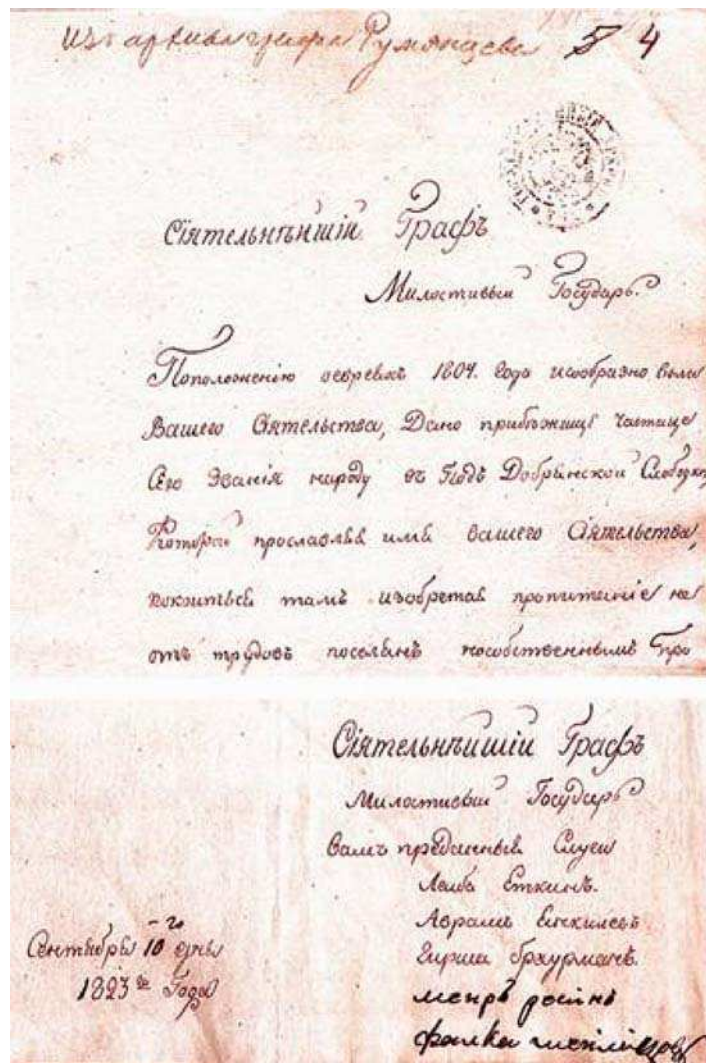
«БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР»

Эпизоды из истории евреев в России конца XVIII – начала XIX века

Ольга Минкина

История евреев в России на рубеже XVIII–XIX веков – это, прежде всего, совокупность множества человеческих историй, историй жизней отдельных людей, в которых, как в зеркале, отражается «большая история»: переход польских евреев под власть Российской империи, установление черты оседлости, война 1812 года, рекрутчина. Это истории личностей: евреев-«помещиков» и подрядчиков, доносчиков и авантюристов, энергичных самостоятельных женщин. Героев этих историй – самых разных, бедных и богатых, просвещенных и невежественных – объединяет одно: они пытались добиться своих целей вопреки существовавшему порядку, вопреки жестким перегородкам сословной системы, вопреки предубеждениям общества относительно евреев и нередко даже шли против вековых общинных устоев. Евреи часто сами рассказывали истории своей жизни в прошениях, поданных властям (вплоть до самого государя императора) – этими уникальными архивными документами мы и воспользуемся в нашем изложении.

Насколько «еврейскими» были прошения евреев к властям? Следует помнить, что нередко нанятый тем или иным евреем-просителем писарь (русский или поляк) мог выступать в качестве соавтора (а то и основного автора документа), человека, который «сие прошение со слов просителя сочинял и переписывал». Однако в нашем распоряжении имеются и документы, в которых такое указание отсутствует, и документы, собственноручно написанные евреями на русском языке. Поэтому можно сказать, что тексты еврейских прошений в какой-то мере отражали процесс усвоения евреями русского языка и культуры на раннем этапе русско-еврейской истории. Ниже мы попытаемся «по словам просителей»-евреев рассказать несколько историй из далекого прошлого.



Прошение евреев Подобрянской слободки Могилевской губернии Н.П. Румянцеву о невыселении их по именному указу от 11 апреля 1823 года из-за отсутствия средств. 1823 год

Старозаконные помещики^[1]

В последние десятилетия XVIII века в Могилевской губернии, недалеко от местечка Шклов, стояла помещичья усадьба: ландшафтный парк, сады и виноградники, прекрасный дворец со множеством комнат, наполненных роскошной мебелью, редкостями и изящными диковинками во вкусе того времени, библиотека, хранилище старинных рукописей по «тайным наукам» и каббале, большая молельня с древними свитками Торы, привезенными из Палестины^[2]. Поместье принадлежало Йошуа Цейтлину, «придворному еврею» Потемкина. Цейтлин, по его собственным словам, надеялся «остаток жизни провести там в довольствии и покое, после понесенных на пользу государственную многих трудов» (имелось в виду участие Цейтлина в русско-турецкой войне в качестве поставщика провианта). Цейтлин владел поместьем Устье под Могилевом, а также деревней Софийка в окрестностях Херсона и находившимися там крепостными крестьянами на основании законных документов о купле-продаже. На официальный запрет «владеть евреям христианскими душами» власти до поры до времени закрывали глаза. Как писал позднее Цейтлин Г.Р. Державину, «присутственные места, сии хранилища законов, тогда мне никакого прекословия не чинили»^[3].

Некоторые другие богатые евреи изыскивали более изощренные способы для того, чтобы заполучить в свое владение землю и крепостных. Одна из таких историй

связана с именем адмирала Иосифа Михайловича де Рибаса (одного из основателей Одессы, в честь него названа известная Дерибасовская улица). К слову сказать, о де Рибасе, испанском дворянине на русской службе, ходили слухи, что он – потомок марранов (насиленно крещенных испанских евреев). Когда де Рибас, нуждаясь в деньгах, хотел продать свои имения в Белоруссии, то не нашел покупателей, потому что все строения там находились «в расстройке и беспорядке», у голодных крестьян не было ни скота, ни хлеба. И тут появились два еврея, братья Шебсель и Лейба Нотковичи, сыновья известного откупщика и ходатая Ноты Ноткина, и предложили выгодную сделку: они заплатят долги де Рибаса, продадут имение от его имени, а деньги заберут себе. По словам Нотковичей, их побудила к этому не жажда наживы, а «врожденное человеколюбие». Де Рибас подписал доверенность на «полное владение» имением евреями до его продажи и получил семьдесят тысяч рублей. Прошло семь лет: де Рибас уже умер, а его вдова Анастасия Ивановна и дочери Екатерина и София, фрейлины императрицы Марии Федоровны, подписали повторную доверенность, с условием, что Нотковичи заплатят долги, оставшиеся от покойного адмирала. Нотковичи обосновались в усадьбе Остров как настоящие помещики. По их словам, они привели поместье «в самое лучшее состояние», «вспомоществовали крестьянам своими капиталами». Они не управляли имением сами, а наняли для надзора над крепостными отставного сержанта, который заставлял их работать. У Нотковичей в 1800 году останавливался ревизовавший белорусские губернии сенатор Державин и якобы даже «изволил заметить», что здесь, в отличие от владений безалаберных польских помещиков, царит идеальный порядок^[4].

Но это, к сожалению, не нашло отражения в финальном документе, представленном Державиным в Сенат, – знаменитом «Мнении о евреях», где он, как известно, поддержал расхожее обвинение евреев в том, что они спаивают крестьян. Другие представители администрации обвиняли евреев-помещиков даже в том, что они якобы жестоко «истязают» своих крепостных и соблазняют крестьянских девок – «подвиги», которыми славились в те времена как раз русские помещики. Эти обвинения основывались не на реальных фактах (в документах отсутствуют конкретные примеры), а на предрассудках: видимо, как в случае с подобными обвинениями в Средние века, подразумевалось, что евреи делают это «для поругания христианской веры». Нашелся храбрый еврей, некий Пейсахович, который подал императору Павлу I жалобу на Державина, утверждая, что евреев как опасных конкурентов «обнесли и оговорили» перед сенатором польские дворяне. Сенат, куда была передана жалоба, распорядился посадить Пейсаховича на год в тюрьму за «недельную просьбу» и «утруждение императора». Упоминание же в прошении о евреях-арендаторах послужило поводом к изданию специального указа «О наблюдении, чтобы евреи деревнями и крестьянами помещичьими не владели» (11 декабря 1800 года) и о возвращении имений «настоящим помещикам»^[5].

Когда представители местного суда попытались выгнать Цейтлина из его могилевской усадьбы, еврей предъявил им «привилегию на благородство», пожалованную ему еще польским королем и дерзко заявил, будто «имеет право пользоваться [поместьем] наравне с прочими дворянами». Запросили разъяснений в Сенате. Сенат издал подтверждающий указ: «наблюдать, чтоб евреи ни под каким названием и наименованием деревнями и крестьянами отнюдь не владели и не распоряжались». В это время Цейтлин попытался продать свою деревню некоему пану Козловскому, но тут на нее предъявил претензии полковник Голынский, который, очевидно, в свое время был подставным лицом при покупке Цейтлиным имения и «в самое короткое время успел сотворить там всякие опустошения, во удовольствие своей жадности». Оказалось, что у имения целых три владельца, и ни один из них не является законным, в результате судебного разбирательства имение было передано в казну. Такая же судьба постигла и имение Софийка. Цейтлин позднее жаловался в прошении Г.Р. Державину: «гонимый при

старости дней своих судьбою, лишился я невозвратно собственности своей, по насилию власти и превратному толкованию законов»[6].

Жертвами указа оказались и братья Шебсель и Лейба Нотковичи. Они вовсе не желали отдавать имение бывшим владелицам – вдове и дочерям адмирала де Рибаса. По их словам, эти дамы были неспособны сами управлять хозяйством, и передача им имения привела бы к разорению, «неудовольствиям и беспокойствам» самих владелиц. Нотковичи попытались срочно продать усадьбу, чтобы получить хотя бы деньги, но не были уверены, что покупатель, пан Зенкович, выплатит деньги в срок. Старший брат, Шебсель Ноткович, подал прошение императору Александру I. В этом документе он резко критиковал указ Сената: если сенаторы ориентируются на старинные польские законы, писал еврейский помещик, то среди них была и привилегия евреям забирать себе имения несостоятельных должников[7]. Чем закончились обе эти истории, неясно: вероятно, еврей-помещики лишились своих имений, а может быть, и продолжали владеть ими через подставных лиц, пока местная власть закрывала на это глаза.



Иосиф Михайлович де Рибас

Евреи и Отечество, или 1812 год

Еще в еврейских прошениях XVIII века можно отметить использование патриотической риторики (таково, например, упоминание Цейтлиным его «трудов на пользу государственную»). Мы видели, что ключевые для определения дворянства того времени понятия «земля» и «служба» выступают во взаимосвязи при защите отдельными богатыми евреями своего права на владение землей и крепостными. Суррогатами «службы» выступают в прошении Цейтлина, во-первых, его деятельность на благо Российской империи (в качестве поставщика провианта во время русско-турецкой войны), во-вторых, его прежнее положение «придворного еврея» («польского королевского двора надворного советника») в Варшаве. Еще одним вариантом «службы» для еврея зачастую оказывалась деятельность в качестве секретного агента при военном командовании. «Низкая» (для российского общества того времени) роль «шпиона» превращается в прошениях евреев в благородное «рвение» и «неусыпные труды» на пользу новой родины, «патриотические услуги государям»[8].

«Патриотическими услугами» российские евреи отличились во время войны 1812 года[9]. Нередко проявления «любви к Отечеству» оканчивались для евреев полным разорением, гибелью близких, ранениями и болезнями. В надежде хоть как-то поправить свое положение евреи обращались в созданную вскоре после войны благотворительную

организацию: «Сословие призрения разоренных от неприятеля». Просителям, обращавшимся в «Сословие», необходимо было сначала подать прошение губернатору, который затем «препровождал» со своим представлением прошение в «Сословие». Так действовала и вдова Штерна Лейбова (Лейбовна), по мужу Шнеурова, подавшая прошение на имя белорусского генерал-губернатора, брата императрицы Марии Федоровны герцога Александра Виртембергского, а также собственно в «Сословие». Содержание обоих прошений практически идентично: «Покойный муж мой, имея Могилевской губернии в местечке Лядах пять собственных деревянных домов со всею движимостию, по нашествии неприятеля в прошлом 1812 году, желая быть исторгнутым из неприятельских рук, забрав все свое семейство с нужным имуществом, на двадцати пароконных подводах выехал внутрь России». Покойный муж Штерны Лейбовой был не кто иной, как основатель хасидского движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд. История его содействия российской армии в 1812 году достаточно известна из научной и популярной литературы. Прощения его вдовы подтверждают и дополняют эти сведения, основанные на устных преданиях и еврейских документах: р. Шнеур-Залман «во время бытия его в местечке Лядах и по приближении неприятеля старался открывать места нахождения неприятельских войск российскому воинству из единственного усердия к подданнической власти». Семья р. Шнеура-Залмана присоединилась к обозу командующего 27-й пехотной дивизией генерал-майора Дмитрия Петровича Неверовского. Во время сражения под Красным 14 августа 1814 года р. Шнеур-Залман потерял «брику» (бричку, легкую повозку с верхом) «с московским шелковым товаром, стоящим десять тысяч рублей серебром и прочее с хозяйственными вещами» и в целом потерпел огромные убытки «от разорения неприятельского» и путевых невзгод, лишился лошадей, скота, товаров и денег. Сам рабби Шнеур-Залман умер зимой 1813 года на пути в Кременчуг. Вдове с «немалым семейством осталась только была надежда к пропитанию с пяти в Лядах домов, но и те, к вящему своему несчастью, нашла по приезде сожженными с оставленным имением (имуществом. – О. М.) чрез неприятеля». Штерна Лейбова «принужденным нашлась проживать в местечке Любавичах в чужих домах при всей бедности». Так было положено начало переносу «хасидского двора» хабадских лидеров из Ляд в Любавичи.



Гавриил Романович Державин

Вдова упоминала и о религиозной деятельности покойного: «полезное его в обществе наше наставление и благоустройство» представлены в прошении в качестве заслуг рабби Шнеура-Залмана, намного более важных, чем значимые в глазах властей «патриотические подвиги»[\[10\]](#).

Сохранилось и коллективное прошение в «Сословие» от еврейской общины местечка Ляды, где также упоминается о заслугах основанной рабби Шнеуром-Залманом

еврейской разведывательной сети и о бедствиях жителей местечка. Захватив Ляды, французы «забирали членов [кагала] в свои обозы мучительным образом» и вымогали деньги и фураж. Были сожжены две синагоги с богатым внутренним убранством[11].

К прошениям рабанит Штерны была также приложена копия «открытого листа», выданного р. Шнеуру-Залману на свободный проезд по «внутренним губерниям» (находившимся вне черты оседлости) с отметками представителей городских властей (городничих, ратманов, приставов) тех населенных пунктов, через которые ему приходилось проезжать: Вязьмы, Гжатска, Можайска, Сергиева Посада, Ельца, Курска. Согласно «открытому листу» (который являлся подтверждением особого свидетельства, выданного р. Шнеуру-Залману смоленским губернатором), российские военные и гражданские власти должны были помогать рабби из Ляд, «во всех местах чинить свободный и беспрепятственный пропуск, не делая ни малейших обид и притеснений, а в случае какой его потребности делать всякую защиту и законное вспомоществование». Из приложений к прошению мы узнаем также, что выданный семье р. Шнеура-Залмана генерал-майором Неверовским вид на проезд был украден вскоре после того, как они покинули Смоленск. В утраченном свидетельстве Неверовского были отмечены заслуги перед российской армией самого р. Шнеура-Залмана, его зятя и шурина, «приверженность их к Отечеству, доказанная открытием места нахождения неприятельских войск».

Поскольку Штерна Лейбова, как многие еврейские женщины того времени, была неграмотна, к одному из ее прошений «за неумением грамоты матушки моей Штерны руку приложил сын ее раввин любавицкий», т. е. Дов-Бер Шнеерсон (Мителер Ребе). На втором прошении рабанит Штерны «подписался ратман Нофил Иткин»[12] (то есть еврей, занимавший официальную должность в центральном органе городского самоуправления – ратуше. Впоследствии, при Николае I, занятие евреями городских должностей было запрещено).

В прошениях, поступивших от белорусских евреев в «Сословие призрения разоренных от неприятеля», представлены живые свидетельства об участии еврейского населения в военной кампании и о тех невзгодах, которые они испытали в ходе военных действий. Так, например, описывает свои злоключения мещанин Мовши Гликзон из Орши: «В прошлом 1812 году, во время наступления сюда, в город Оршу, в июле месяце неприятельского войска, по жительству моему в предместье за рекою Днепром, бывшие наездом с этой стороны российские казаки пригласили меня к разведыванию и усмотрению неприятельского войска и их снарядов, и когда я в таковом действии оказал усердие к своему Отечеству, то засмотревший неприятель меня по приметам по перебрании на сию сторону Днепра, с серцов (т. е. в сердцах. – О. М.), как всем соседствующим жителям известно, все бывшее в доме моем имущество разграбил, не довольствуясь сим, по неотыскании меня самого, и оный дом сожег, каковым разорением довел меня до такой бедности, что я, страдая и волочась по чужим хижинам, не имею даже с семейством дневного (т. е. на каждый день. – О. М.) пропитания»[13].

В прошении Моисея Карпаенка из местечка Яновичи Витебской губернии мы читаем: «Вторжение неприятеля в здешний край в прошлом 1812 году причинило разграбление и разорение всякому чувствительно, но не столько, сколько мне, по той причине, что я, во время прохода его войск через Яновичи к Смоленску, поймал французского курьера с важными депешами и наличными деньгами и представил к корпусному начальнику генералу Винценгероде, с какового повода принужден был я, оставя свое семейство и все имущество в местечке Яновичах на произвол судьбы, спастись бегством от поискиваемых (т. е. разыскивавших. – О. М.) меня французов»[14].

А вот отрывок из прошения члена витебского кагала Вульфа Меерсона: «С давнего времени и более двадцати лет, как вступил я в должность кагального члена и всегда исправлял оную с пользою как для города (возможно, слово “город” является здесь калькой слова “штот” – буквально “город”, но еще и “еврейская община”. – О. М.), так и для казны (т. е. для российской власти; все выражение можно перевести: “действовал как в интересах еврейской общины, так и на пользу российской власти”. – О. М.). Усердное сие служение усугубилось государю моему, когда, при вступлении российских войск в Витебск, требовались верные шпионы, коих своим коштом (т. е. экипировал на свои деньги. – О. М.) отправлял я в разные места с наложением на них клятвы (вероятно, имеется в виду так называемый “отложенный херем”, в русских источниках того времени часто “клятва” – угроза отлучения от общины. – О. М.) верности престолу природного своего монарха, собственным примером, хотя и с потерей имущества, содействовал всеми силами к удовлетворению воинских требований. Наступил враг Отечества, и я удалился. Меня сыскали! Требовали военной рукою контрибуции (налоги, установленные французским оккупационным правительством, взыскивались с евреев старым проверенным способом – через кагал. – О. М.), я продолжал оную сколько могло (т. е. медлил с уплатой. – О. М.), но, вынужденный необходимостью, взятый под арест, был угрожаем висельницею (виселицей. – О. М.), собрал несколько, на что имею квитанции».



Из альбома рисунков участника похода 1812 года Фабера дю Форта

К прошению Меерсона прилагался «регистр» отнятого у него французскими солдатами имущества. Перечисленные предметы гардероба и утварь не только являлись свидетельством благосостояния, но и подчеркивали статус владельца: парадный жупан из дорогой ткани «тирцинель», соболья шапка (штраймл, которую носили только представители высшего слоя еврейского общества), женские и детские «шнуровки» (корсажи), обшитые золотом, «фарфуровый» (фарфоровый) сервиз и серебряные приборы, «часы стенные и карманные», зеркала, «мельница кофейная» (кофемолка; в то время кофе только начал входить в еврейский обиход)^[15]. В свидетельстве, выданном городской полицией Бабиновичей старшему лекарскому ученику Михелю Гилю, в числе отобранных у него французами вещей, наряду с «домашней птицей, бельем, платками», упоминаются «разные Б-жественные книги» (т. е. Талмуд, алахические кодексы, раввинистическая

литература), «десять Б-жих приказаний» (т. е. арон кодеш с Десятью заповедями; в доме Гиля находилась молельня-штибл)[16]. В свидетельстве о разорении французами синагоги в Полоцке перечисляются «Б-жих заповедей десять штук», «коруны» (короны, атарот, которыми украшали свитки Торы), подсвечники и другая синагогальная утварь[17]. Прошения евреев в «Сословие призрения разоренных от неприятеля» и приложения к ним являются, таким образом, не только источником об участии евреев в войне 1812 года, но и позволяют представить некоторые подробности их повседневной жизни.

Указание на самоотверженность и героизм, проявленные российскими евреями в 1812 году, становятся в дальнейшем в еврейских прошениях и проектах частым и весомым аргументом в пользу смягчения законодательства о евреях и вызывают отрицательную реакцию у представителей российской администрации. Так, комментируя проект «неизвестного еврея», член Еврейского комитета (занятого подготовкой Положения о евреях 1835 года) Я.А. Дружинин утверждал, что «услуги евреев [в 1812 году] были более такого рода, на которые они способнее других и которые приносили пользу им самим». По поводу потока еврейских прошений, заполонившего к тому времени правительственные канцелярии, сей просвещенный сановник брезгливо отмечал: «Повторяемые не один раз и при всяком удобном случае евреями жалобы на несправедливости и дух угнетения, среди самых благодеяний правительства, составляют черту еврейского народного характера»[18]. Эти досадные (с точки зрения властей) черты характера проявили и еврейские поверенные (уполномоченные от общины), пытаясь добиться справедливости в запутанной истории, приключившейся на полоцком еврейском кладбище...

Окончание следует

[1] Старозаконный (starozakonny) – так именовались евреи в польских документах XVI – первой половины XIX века в тех случаях, когда нужно было выразить уважение к еврею. Иногда выражение употреблялось иронически.

[2] Фин Й. Кирия неемана. Вильна, 1860. С. 277–279 (на иврите). Мне приходилось уже касаться данной темы в публикации: Минкина О.Ю. Еврейское дворянство на рубеже эпох // Лехаим. 2008. № 2. С. 47–50. Обнаружение новых архивных материалов позволяет продолжить исследование феномена еврейского земле- и душевладения.

[3] Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1374. Оп. 6. Д. 1885. Л. 15 об.

[4] Там же. Л. 1–1 об.

[5] Там же. Л. 10–11.

[6] Там же. Л. 13 об.–15 об., 18 об.–19 об.

[7] Там же. Л. 4–5.

[8] См., например, выражение такой позиции на рубеже XVIII–XIX веков: «Медаль была бы знаком монаршего внимания и благоволения»: документы к биографии художника-еврея Самуэля Михельсона (1802 г.) / Публ. Д.З. Фельдмана // Параллели. № 2–3. М., 2003. С. 464–465, 467.

[9] См. классическую работу: Гинзбург С.М. Отечественная война 1812 г. и русские евреи. СПб., 1912; а также: Лукин В.М. Служба народа еврейского и его кагалов. Евреи и Отечественная война 1812 г. // Лехаим. 2007. № 11. С. 38–42.

[10] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 119. Л. 244–247.

[11] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 86. Л. 84–84 об.

- [\[12\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 119. Л. 247–249 об.
- [\[13\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 129. Л. 261.
- [\[14\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 115. Л. 354.
- [\[15\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 118. Л. 241–241 об., 243–244.
- [\[16\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 129. Л. 275.
- [\[17\]](#) РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 115. Л. 86.
- [\[18\]](#) РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 866. Л. 7.

НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

À dévâéé Ètââéüü àí

Годами когда-нибудь в зале концертной

Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.

Борис Пастернак

Когда-нибудь я прочту длинное эссе Деррида «О почтовой открытке: от Сократа до Фрейда и не только». Пока что я признаюсь в неспособности к этому подвигу. Моих познаний во французском языке не хватит оценить бесконечную игру слов и смысла. А на русском читать невероятно скучно. Хотя временами (при беглом просмотре) высказывают картинки, впивающиеся в разум. Например, Сократ, склонившийся испуганно над листом бумаги и пишущий под диктовку своего сурового ученика Платона. Или дедушка Фрейд, наблюдающий за странной игрой внука «по ту сторону удовольствия». Или (в письме Деррида любимой от 3 июня 1977 года) мидраш о Вавилонской башне и смешении языков.



Платонова академия. Мозаичный пол.
Помпеи. I век н. э.

Я люблю все те ласковые слова, которыми называю тебя, и все-таки у нас есть как бы только одна губа, чтобы все высказать. С древнееврейского он переводит «язык»,

если это можно назвать переводом, как губа. Они хотели возвыситься, чтобы их губа стала единственной во Вселенной. Вавель, отец, давший свое имя смешению, беспорядку, размножил губы, вот почему мы разделены, и в это мгновение я умираю от желания поцеловать тебя нашей губой, единственной, которую я не устану слушать.

Загадочный «он», который «переводит с древнееврейского», – это Натан Андре Шураки, алжирский еврей (как и сам Деррида), потомок раввинов и поэтов, изгнанных из Испании. Он переводит Библию как поэт (это даже нельзя назвать переводом), сохраняя этимологию, корни и значение слов. Язык на иврите – «губа» (сафа). Б-г смешал «губу» всей земли. На этом Деррида строит мидраш. Разделены не «языки», но «губы» строителей Башни. Губы тянутся друг к другу, сливаются в поцелуе в одну губу, одна губа твердит ласковые слова. Через два тысячелетия история повторяется. Деррида, знаток греческого языка и латинского, но неуч в иврите, нуждается в Шураки, чтобы добраться до корней слов Торы. Так некогда Филон Александрийский, вооруженный списками с этимологией еврейских слов, на греческом языке творил свои толкования.

3 июня 1977 года. Конец века (*fin du sie`cle*) близок, но об этом никто не догадывается. В моде все французское. Французский философ Жак Деррида, не умеющий забыть свое алжирское детство, французский философ Поль Рикёр из старой протестантской семьи. Еще в моду входят мидраш и феноменологическая герменевтика (и то, и другое – методы толкования). Американские еврейские юноши и девушки сходят с ума (и сводят с ума своих наставников) дикой смесью герменевтических и талмудических терминов. У Рикёра они находят толкование книги Иова: «Г-сподь отвечал Иову из бури и сказал...» «Что же Он сказал?» – спрашивает Рикёр. «Ничего такого, что можно было бы воспринять как ответ на проблему оправдания Б-га... Путь теодицеи закрыт...» (еще бы он не был закрыт после Освенцима!). Г-сподь говорит Иову, и этого достаточно, считает Рикёр. В самом разговоре фундаментальная возможность утешения, а вовсе не в рождении новых детей взамен утраченных, не в мелком рогатом скоте и не в верблюдах, возмещенных праведнику. Утешение – в словах, в «губе», как сказал бы Деррида вслед за Шураки. Не только утешение, но и бытие может быть сведено к слову. К игре слов и искусству толкования, к феноменологической герменевтике.

Книга Иова – пробный камень для мастеров утешения. Вслед за друзьями Иова поэты и философы приходят к нему в дом. Иоганн Вольфганг Гете призывает бедного страдальца к оптимизму, извлечению выгоды из своего спасения, чтобы начать вечно бодрый круг жизни. Анри Бергсон учит Иова видеть в бедствиях не козни некоего демона, но органическую закономерность жизни. И только Рикёр предлагает Иову довольствоваться словами Б-га и их толкованием. И это довольство словами (как и поиски «древнего слова») есть знак и знамение той эпохи, второй «прекрасной эпохи» (*Belle Époque*), которая начиналась в июне 1977 года. Первая иссякла в 1914 году, вторая, кажется, еще идет как мыльная опера или уже закончилась, но мы забыли выключить телевизор и мирно спим под выпуск новостей.

3 июня 1977 года. В этом году вышла книга Аверинцева о ранневизантийской поэтике. Было бы странно, если бы Аверинцев признался в интересе к феноменологической герменевтике (и ее основателю Мартину Хайдеггеру). Еще удивительнее было бы, если бы он открыто писал о мидраше и Талмуде. И мидраш и Хайдеггер были под запретом в той империи зла (в другой империи зла Хайдеггер был в чести, а Талмуд сжигали на площадях). А потому Аверинцев просто исследовал переживание бытия в истории (любимая тема Хайдеггера) и цитировал трактат Талмуда «Авода Зара» 17б-18а:

Через семь столетий после Иезекииля римские солдаты сжигали заживо одного ближневосточного книжника вместе со святыней его жизни – священным свитком. «Его ученики сказали ему: “Что ты видишь?” Он ответил: “Свиток сгорает, но буквы улетают прочь”».

(Поэтика ранневизантийской литературы.)



Иов и его друзья. И. Репин. 1869 год

«Один ближневосточный книжник» – это рабби Ханина бен Традион (слова «еврейский книжник» не могли быть тогда написаны). Мой покойный дядя, Израиль Аронович Ковельман, один из немногих заметил маленькую хитрость Аверинцева и сказал мне о ней. И с любви к книге Аверинцева, наверное, началась моя любовь к Талмуду.

В конце прекрасной эпохи убили моего дядю. Его пытали перед смертью, искали давно раздаренные николаевские рубли. Вырезали из рамы этюд головы старого еврея кисти Поленова, свернули в трубку. Краска посыпалась прочь с холста как буквы с горящего свитка Торы.

Есть много способов понять и исследовать странное пристрастие постмодерна к мидрашу, к игре в слова, к слиянию филологии с философией. «Что означает это объяснение и это взаимное превосхождение двух источников и двух исторических сказаний – еврейского и греческого?» – спрашивал Деррида о Левинасе. «Может быть, здесь предугадывается некий новый прорыв, некое странное сообщество, которое не будет спиральным возвращением александрийского сожительства? А если подумать о том, что Хайдеггер тоже желает открыть переход к древнему слову, которое, опираясь на философию, ведет ее за пределы или отступает от нее, то что же означает этот другой проход и это другое слово? И что в особенности означает затребованная поддержка философии, в которой они все еще ведут диалог?»

Спустя много лет можно ответить: прорыв состоялся на флангах, оставив центр в целостности и сохранности. Нет ни странного сообщества, ни даже возвращения александрийского еврейско-греческого сожительства. Просто культура в интермеццо описала очередной круг, на полях которого обосновался мидраш или то, что похоже на него. «Под чистый, как детство, немецкий мотив» вращаются в круге Деррида и Левинас, Хайдеггер и Фрейд, Ницше, Сократ и Платон. И сожженный римлянами рабби Ханина бен Традион, и рабби Меир, муж Брурьи, дочери рабби Ханины, ныне допущены на сцену. А в зале исходят тоской профессора и студенты. История продолжается

ЧЕРКИЗОВСКИЙ ТУПИК

Аידען עײַ

В Москве таки уничтожен крупнейший в стране рынок – Черкизовский. Едва процесс начался, СМИ наконец назвали его владельца. Им оказался горский еврей Тельман Исмаилов. Еврейская общественность, конечно, переполошилась: нет ли тут антисемитизма? Спешу успокоить: антисемитизма нет. Но от этого не легче. Ни горским евреям, ни всем остальным. Думаю, что и у других народов нашей страны повода для радости нет.



У Черкизовского рынка. Москва. 30 июня 2009 года

Версий причин закрытия рынка уже появилось немало. Тут и торговля контрабандой, и китайскими подделками, и тяжелая криминогенная обстановка, и личная нескромность владельца «Черкизона», посмеявшегося во время кризиса выстроить в Турции дорогущий отель, да еще и устроившего шикарную вечеринку по случаю открытия

заведения. Звучали еще предположения, будто кому-то понадобилась земля рынка. Наблюдатели не исключали также, что вся эта кампания – удар по непотопляемому мэру Москвы Лужкову, с которым дружит опальный Исмаилов.

Разбирать каждую из этих гипотез – занятие не только бессмысленное, но и опасное, поскольку ведет к шизофрении. Один немецкий психиатр, оказавшийся в гитлеровском концлагере, обратил внимание на то, что психические расстройства у заключенных начинались с обсуждения возможных перемещений в высшей иерархии СС и перспектив увеличения пайки. Поскольку никакой информацией для таких дискуссий узники не обладали, то, споря до хрипоты, они сходили с ума. У нас тоже никакой информации о причинах закрытия «Черкизона» нет, поэтому побережем рассудок и поговорим о том, что абсолютно бесспорно. А именно: ни богатство, ни политическая лояльность, ни дружба с высокопоставленными политиками и чиновниками, ни принадлежность к титульной нации – ничто в нашей стране не может защитить гражданина от расправы властей. Известный предприниматель Евгений Чичваркин был богат, умен, осторожен, денег оппозиции не давал, выказывал публично поддержку партии и правительству и вступал туда, куда требовалось политическим технологам Кремля. Ну и помогло ли ему это? Хорошо, в Лондон успел сбежать.

Или вот бывший сенатор Изметьев. Тоже был обеспеченный человек. Тоже, говорят, будто погорел на вечеринках. Мол, его фейерверки мешали спать соседям – неким высокопоставленным персонам. Теперь его обвиняют в многочисленных убийствах. А одно даже называют терактом. Помните «Место встречи изменить нельзя»: «А не было ли у тебя, сукин сын, умысла на теракт?!» Изметьев не единственный сенатор, оказавшийся на нарах. Был еще сенатор Чахмахчян. Его адвокату, между прочим, пришлось бежать в США, поскольку обращение в Конституционный суд может, оказывается, быть разглашением гостайны. Хотя в законе и говорится, что сведения о нарушении прав граждан тайной быть не могут. Ну да мало ли чего у нас в законах написано... Граждане вспоминают о них, лишь оказавшись в неудобном положении. Вот бывший главный следователь нашей прокуратуры Довгий пообещал в последнем слове стать правозащитником. Через девять лет, когда из лагеря вернется. Думаю, многие бывшие мэры областных и районных городов тоже к этой карьере готовятся...

Все это показывает, что посадить могут у нас любого. А история с Черкизовским рынком еще раз доказывает, что и отнять собственность в нашей стране просто, как пописать на два пальца. В ней нет ничего нового, ничего особенного. Разве что на этот раз пострадали евреи. Впрочем, евреи за последнее десятилетие с этим сталкивались. Некоторые такой вариант развития событий, вероятно, не исключали и потому охотно занимали места президентов различных еврейских конгрессов. С таким послужным списком, естественно, проще добиться на Западе статуса политического беженца. Ну, антисемитизм там, преследование еврейского лидера и все такое прочее... Хотя, подчеркиваю, антисемитизмом тут не пахнет вовсе. Дело совсем в другом.

Александр Пушкин в «Борисе Годунове», произведении классическом, сочинил такой монолог для своего предка:

×òî ïîéçñî áòîî, ÷òî ÿáí ùõ éàçí áé í áò,

×òî íà éîéó éðî áàáîî, áñîî àðîáîî î

Î ù íáîîáîî éàíîîîáîî Éèññîî

×òí íàñíá æãò íá íëíùääè, à öaðü

Ñâèì æáçëîì íáííäãääàò öëëé?

Óäääí ù ëüì ù áääííé æèçíè íàöáé?

Í àñéàæüé äáí üíí àèà íæèääàò...



У ворот Черкизовского рынка со стороны Щелковского шоссе

Кто мог предсказать закрытие казино? Взять и закрыть целую отрасль! Мол, «грязный бизнес»... Если он преступный, то какие тогда могут быть «игорные зоны», а если не преступный, так какого... А простого. Власть показывает, что может все. Отнять деньги, дело, лишить десятки тысяч людей средств к существованию и выдать тому любые, самые бредовые объяснения. Люди в казино проигрывали квартиры? Это чушь. В легальном казино квартиру в качестве ставки не примут. А вот в подпольных притонах, куда теперь вернуться игроки, примут и квартиру, и жену, и дочь. И с помощью утюгов и паяльников проигранное взыщут...

Черкизовский рынок, возможно, был не самым приятным местом в Москве. Но «гадюшник» со своей милицией, судами, борделями – это по другому адресу. Не на «Черкизоне» работают те, кто пропускал через границы контрабанду, подделки и гастарбайтеров-нелегалов.

ИСПЫТАНИЕ ОТКРЫТОСТЬЮ

Î àò ààé Ààí àí î èùùééé

Меня отрядили спецкором в Италию на шесть месяцев. Я обрадовался, ибо в планы входило написать книгу об этой стране. Жена обрадовалась еще больше – она шесть лет училась в Сиене и Флоренции, у нее там было полно друзей, с которыми она мечтала вновь встретиться. Меня эти встречи устраивали: я предвкушал вечеринки на природе, ресторанные застолья и разговоры о Берлускони, о котором итальянцы могут говорить часами, перемывая ему кости.



Со всеми своими друзьями жена созванивалась на протяжении последних двух лет. Особенно ее радовали старые закадычные подруги, которые обещали многочасовые разговоры под легкое вино. Был еще ее друг Марио, работавший на «RAI» и бесконечно помогавший жене в ее студенческую пору – он встречал ее в аэропорту на своем мотороллере и возил мимо фонтанов, как в фильме «Римские каникулы».

Мы приехали в Рим, как-то обосновались, и пришло время «взять от жизни все», как призывают в рекламе. Жена начала названивать друзьям. Результат был шокирующе-удручающим.

Как-то так получалось, что встретиться с нами никто не мог. Кто-то уехал в Америку, студенческие приятели-музыканты жены работали где-то в Европе, а те, кого она заставляла дома в Риме, не могли выделить пару часов на встречу, ибо уже держали чемоданы в руках в ожидании такси.

Все подруги, у которых были дети, были заняты детьми, причем получалось, что круглосуточно.

Оставалась надежда на безотказного Марио с его мотороллером.

И тут нас ожидал самый большой удар: он не откликнулся вообще.

То есть после первого звонка он был по голосу страшно рад и сказал, что «как только, так сразу». Но потом вообще не брал трубку и не отвечал на СМС-ки.

Не буду описывать наши эмоции.

Мы раздумывали, как такое могло случиться. Конечно, в голове крутились всякие «экономические» мысли. Я говорил жене, что, возможно, ее друзья боятся, что мы захотим в ресторан, ведь сейчас кризис, а нас четыре человека – я, жена и двое детей. Но мы вспомнили, что первые приглашали наших итальянских друзей и они знали, что мы не нуждаемся.

Я вновь и вновь спрашивал жену, не ссорилась ли она с друзьями, но сам знал ответ – нет.

Конечно, потом у нас появились новые знакомые, но эта история оставалась у меня в голове болезненной загадкой.

И так бы и осталась, если бы не один мой новый друг, российский журналист, человек умный и наблюдательный, работающий в Италии вот уже семнадцать лет.

Выслушав мой грустный рассказ, он понимающе улыбнулся и сказал, что все объяснимо.

И дальше у нас состоялось несколько продолжительных бесед, важных и для моей книги, и для понимания Италии в частности и Европы вообще.

Мой друг обратил мое внимание на два важных обстоятельства: маленькие европейские страны объединились в «Большую Европу». Но в эту Объединенную Европу влились и те страны, которые, по мнению стран-«мейджеров», являются только обузой.

И их «нищие» граждане теперь гуляют по «старой Европе» на законных основаниях, конкурируя на рынке труда и работая за копейки.

Второе обстоятельство – евро. Все стало дороже.

В той же Италии раньше то, что стоило, например 3 тыс. лир, а это приблизительно полтора доллара, стало стоить автоматически 3 евро, но это уже пять долларов. Однако при этом зарплаты пересчитали абсолютно точно: те, кто получал 3 млн лир, то есть 2 тыс. долларов, они так и получают 2 тыс. долларов, то есть приблизительно полторы тысячи евро. То есть фактически цены на пустом месте выросли в два раза.

Есть еще важный момент: криминогенная обстановка. Вся Италия боится албанцев – законных членов НАТО, без пяти минут членов Евросоюза. Криминал Италии – это албанский криминал. Но перекрыть границу для албанцев нельзя – это противоречит большой политике в деле решения сербской проблемы. И теперь албанцы «свои», хотя «своими» их никто не ощущает и не называет.

Есть и беженцы, неофициальные. Буквально каждый день на Сицилию приплывают небольшие шхуны, набитые беженцами из Африки. Тех, кто выжил, кормят, обогревают, а потом отправляют на родину, и все за деньги итальянских налогоплательщиков.

– Италия сжалась, как и друзья твоей супруги, – подытожил свою мысль мой коллега-журналист, – но сжалась не от жадности, а от труднопонимаемой опасности, неопределенности.

Но итальянцев нельзя за это винить. Их старая жизнь рухнула. Красивые времена «Римских каникул» ушли безвозвратно. Собственная страна стала дорогой и неудобной.

У итальянцев, всегда открытых, хлебосольных и дружелюбных, появилась окопная психология.

И это современный феномен не только Италии, но и всей Европы, особенно ощутимый в маленьких странах.

Действительно, Германия или Франция могут «растворить» какой-то поток приезжих, но что делать маленьким странам?..

И тут, естественно, начинается поиск виновных в том, что «рай потерян».

Политики, естественно, винят других политиков или Европарламент.

А народ идет проторенной дорогой – ищет виновных по крови.

И удивительным образом просвещенная Европа находит именно ту нацию, которую привычно винить во всем.

То, что антисемитизм в Европе растет, признано не только жертвами этого роста, но и авторитетными наблюдателями.

Число случаев проявления антисемитизма в Европе за первые три месяца текущего года превысило общее количество подобных происшествий за весь 2008 год. Такие данные приведены в докладе, опубликованном Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК). В докладе говорится, что в январе 2009 года в качестве одного из основных триггеров антисемитских нападений на еврейские общины в Европе стала реакция на операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа. Кроме того, нынешний финансовый кризис вызвал к жизни вековые антисемитские стереотипы о якобы существующем «еврейском контроле над мировой финансовой системой».

Как видим, тезисы привычные, но следует видеть не факт, а тенденцию. А она неутешительна.

Новый европейский антисемитизм – проявление суммы современных ощущений европейского обывателя.

Что у нас на улице? Кризис. Кто у нас банкиры? Евреи. Значит, в кризисе, в падении зарплат, в закрытии предприятий и безработице в любой стране виноваты евреи.

То, что бытовой антисемитизм растет, подтверждается неумолимой статистикой.

В опросе, проводившемся агентством «Taylor Nelson Sofres», участвовали жители Германии, Испании, Великобритании, Польши, Венгрии, Австрии и Франции общим числом 3500 человек. Об ответственности евреев за негатив, происходящий в мировой экономике и финансах, заявили 31% опрошенных европейцев, а еще 41% опрошенных согласились с утверждением о том, что евреи обладают слишком большой властью на мировых финансовых рынках (в Испании доля согласившихся с этим

утверждением составила 74%, в Венгрии – 67%). При этом рост «делового» антисемитизма по сравнению с уровнем 2007 года отмечен сразу в трех странах – Франции (на 5%), Польше (на 6%) и Венгрии (на 7%).

Но не стоит осуждать обывателей-европейцев за подобные умозаключения. Вернее, стоит, но осуждать бесполезно. Им трудно обвинить в кризисе свое правительство, ибо оно родное, хотя и отвратительное.

А быть антисемитом – это стыдно, но не очень. Это как бояться темноты, на уровне вегетатики.

С антисемитизмом невозможно бороться увещеваниями. В конце концов, не имеет значения, почему человек выбирает для себя подобный сомнительный путь. Но этот путь явно не в ладах с моралью и требует ответных мер.

Эти меры в применении закона, и прежде всего в контрпропаганде.

Но и тут наблюдается негативная тенденция. Еврейская эмиграция по планете почти прекратилась, а исламские страны ее только наращивают. И если турецкая община Германии спокойна и миролюбива, то иммигранты из других мусульманских регионов способны существенно повлиять на общественное мнение европейца.

И этот фактор – часть того, что оно постепенно становится антисемитским.

Нужно признать, что антисемитизмом, как частью какой-то новой спасительной идеи, охвачена вся Европа.

Пока ближневосточный конфликт бурлил только в своем регионе – это европейцам не мешало. Поддерживать «маленький, но мужественный Израиль» было модно. Теперь это стало мешать: исламские радикалы из новых иммигрантов перегораживают улицы европейских городов и жгут машины в поддержку «свободы народа Палестины».

И логика европейского обывателя меняется следующим образом: нужно убрать с политической арены раздражители – либо Израиль, либо Палестину. Если убрать Израиль, то будут демонстрации, но машины евреи жечь не будут, они знают, что это штука дорогая. Но если куда-то убрать Палестину, то жизнь превратится в ад: сожгут машины, потом дома, а потом, возможно, и убьют. Это рассуждение кажется примитивным, но именно так, на уровне разбитого стекла в своем доме, сожженной машины соседа и перегороденной демонстрантами улицы рождается «большая жизненная психология».

И нерушимая великая либеральная идея европейца начинает трещать по швам.

«Европейцы, особенно в период кризиса, легко отказываются от идеологических конструкций, созданных ими в период процветания. Настораживает еще и то, что еврейский вопрос поднимался в Европе не только во времена экономических кризисов, но и в преддверии масштабных военных столкновений». Так считает глава Центра политической информации Алексей Мухин.

И с этим тревожным выводом можно, пожалуй, согласиться.

Европа не выдерживает «испытания на мессианство», если за идеи мессианства принять важнейшие гуманистические и либеральные идеи, которые Европа сама родила и возвращала последние 13 веков.

Быть побежденными варварами – это одно. Такое в истории Европы было неоднократно. Варвары всегда уходят. Однако стать варваром – это совсем другое. Своя дремучесть, принятая добровольно, непобедима.

Трудно сказать, как будет двигаться Европа дальше. Но можно смело утверждать, что «испытания открытостью» она не выдерживает.

Конечно, такое поведение европейцев можно было бы и оправдывать. Можно происходящее, например, назвать «болезнью роста». В конце концов, не каждый день на карте мира появляется Объединенная Европа – 27 государств, а это 400 млн человек. Конечно, это болезненный рост. Это мучительное согласование не только внутренних экономических и политических законов, но и межэтнических гуманистических и этических правил – всего того, что превращает народные массы в единый союз.

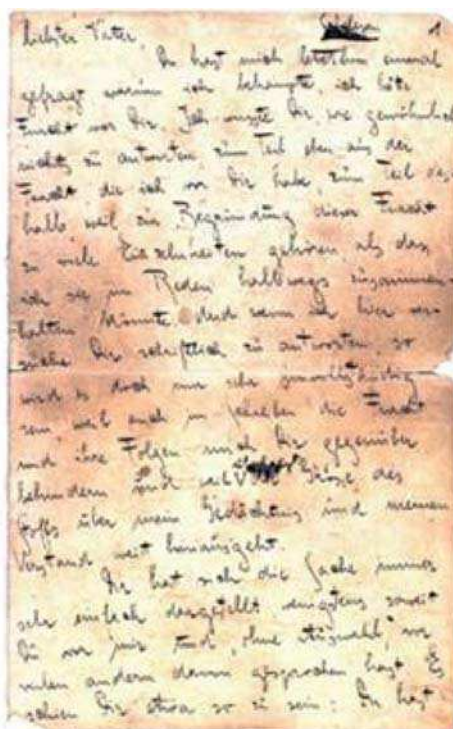
Но история знала и другой Союз – советский. И он рухнул именно потому, что не выдержал испытания открытостью, причем во всем – в экономике, в гуманитарной сфере. Советское понятие «дружба народов» сейчас воспринимается как фарс.

Неужели это не послужит Европе уроком?

ПИСЬМО, НЕ ПОЛУЧЕННОЕ АДРЕСАТОМ

Аִדְוָאָה עִירָא

Прага, старое еврейское кладбище на Ольшанах. На сером камне, напоминающем поставленный стоямя гроб, начертаны имена Франца Кафки, его отца Германа Кафки и матери Юлии, урожденной Лёви. Отец и мать пережили сына, своего первенца, и во мне отчетливо звучат слова, которые много лет назад я прочитал в «Конармии» Бабеля, в новелле «Кладбище в Козине»: «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?»



Франц Кафка. Письмо к отцу

У Германа и Юлии было, кроме Франца, первенца, еще двое сыновей, оба они умерли в младенчестве. В последующие годы в семье родились три девочки – Элли, Отгла и Валли, – но мальчиков больше не было: Франц остался единственным сыном.

Единственный сын – это единственный сын, тем более для такого отца, как Герман Кафка, который сам, своими силами, должен был выбиваться в люди, неся на себе с отроческих лет бремя местечкового наследия с его вековыми, точнее, средневековыми традициями и нравами.

И вот произошло нечто непостижимое, произошло фатальное, роковое: оба – и отец, и сын его, первенец, – хотели, чтобы было хорошо, а получилось наоборот – плохо. Прожив почти всю свою жизнь в доме отца, не покидая его, отчего своего дома, Франц Кафка стал тем, что в библейской традиции именуется «блудным сыном». Но блудным сыном из числа тех, кто хоть и не исключает возвращения в отчий дом, но на деле все

более удаляется от него, и так до последнего дня своего, до гробовой доски. У Франца и Германа так буквально и произошло: в отчий дом привезли уже тело блудного сына.

Когда это началось: противостояние сына и отца, нескончаемая война между двумя самыми близкими людьми, которые хотели любить друг друга, которые не раз и не два порывались открыть и сердца свои, и объятия, и сказать один другому: я люблю тебя, отец! я люблю тебя, сын! – но вместо этого уподоблялись врагам, ненавистникам, у которых языки, когда они обращались один к одному, превращались в жала?

Жан Пиаже, основатель экспериментальной психологии, был, кажется, первым среди психологов, кто поставил под сомнение ходячее представление, что ребенок – это тот же взрослый человек, только малый годами. Нет, сказал Пиаже, видение ребенка столь отличается от видения взрослого человека, что уместно говорить о двух принципиально различных видениях.

Мир ребенка – это не просто мир человека, малого годами. Это иной мир, абсолютно отличный, со своими психофизическими законами, измерениями и своими ценностями, которые не просто отличны от измерений и ценностей взрослого человека, но во многом исключают их или, если ребенок пытается определить их по своей психологической шкале, внушают ему непреодолимый ужас и страх, которые сохраняются на всю жизнь.

Писатель – это человек, который хорошо помнит свое детство. «Мы все вышли из страны своего детства», – сказал Сент-Экзюпери.

И вот, все еще не в силах преодолеть своего детского страха перед отцом, Франц, доктор права Франц Кафка, на тридцать седьмом году жизни пишет в «Письме к отцу»: «Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие из ранних лет. Может быть, Ты тоже помнишь его. Однажды ночью я все время скулил, прося воды, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься». Отец, намытарившись за день в своей лавке, где провел шестнадцать часов, естественно, нуждался в отдыхе, просил поначалу сына уgomониться, а потом, когда уговоры не помогли, перешел к угрозам, но и угрозы не помогли, и тогда «Ты вынул меня из постели, – напомнил Франц, – вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью».

Правильно или неправильно поступил отец, Герман Кафка? По словам Франца, он не хочет сказать, что это было неправильно, – «возможно, другим путем тогда среди ночи нельзя было добиться покоя», – но, независимо от намерений отца, сыну был нанесен «внутренний ущерб». «По своему складу я никогда не мог установить правильной связи между совершенно непонятной для меня бессмысленной просьбой о воде и неопишваемым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, что огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, может почти без всякой причины ночью подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон – вот, значит, каким ничтожеством я был для него».

Думаю, не всякий сделал бы в подобной ситуации такое же заключение: вот какое я ничтожество для отца, если отец мог, в наказание за бессмысленный скулеж среди ночи, вынести меня на балкон. Но Франц Кафка сделал именно такое заключение и на тридцать седьмом году жизни – уже, заметим снова, доктор права и автор нескольких опубликованных книг – это заключение повторил: «Тогда это было только незаметным

началом, но это часто овладевающее мною сознание собственного ничтожества... в значительной мере является результатом Твоего влияния».

Я невольно вспомнил историю другого сына, которому тоже пошел тридцать седьмой год, когда случилось ему – в экстремальной, как ныне говорят, ситуации – определить свое отношение к отцу. Речь идет об Аврааме и сыне его Исааке, которого Г-сподь потребовал в жертву Себе. Праотец, как помним, был уже человеком весьма преклонного возраста, без малого ста сорока лет, и хотя отличался недюжинным здоровьем и силой, вероятно, все же уступал своему сыну, тоже крепышу, притом молодому летами. И вот, когда пришел час Исааку лечь на дрова, сложенные для костра, для чего предварительно надлежало связать его, Исаака, веревками, он не только не воспротивился воле отца, но, напротив, как говорит устное предание, сам попросил отца, чтобы тот покрепче его связал, чтоб в случае отчаянной попытки – а отчаяние придает человеку порою нечеловеческие силы – не удалось ему порвать эти веревки и воспротивиться таким образом воле отца.

Как известно, все кончилось благополучно: Г-споду не понадобилась жертва, это был просто экзамен праотцу Аврааму.

Сегодня, как и три с половиной тысячи лет назад, эта история приводится как образец твердости Авраама и верности его Г-споду. Но при этом опускают – или, по крайней мере, отставляют на второй план – другую сторону этой поучительной истории: историю сына, который, восходя по велению отца на костер, не только не проникся к нему враждебным чувством, но ни на мгновение не потерял к отцу ни доверия, ни любви. И во все остальные годы своей жизни, сколько знаем, не приходило Исааку в голову ни роптать на отца за пережитое потрясение, ни упрекать его в непонимании своего сына или недостаточной к нему любви. А потрясение было столь велико, что, по преданию, еще один участник этой драмы, мать Исаака Сара, не выдержала и умерла.

Франц Кафка, хотя не обращался к истории своих пращуров, тоже несколько раз, и не походя, подчеркивал, что не намерен винить отца: «...Я тоже думаю, что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении». К тому же, писал Франц, он никогда не сомневался в любви и в добром к нему отношении отца.

Но как согласовать все эти уверения, несомненно искренние и тщательно взвешенные, со всей тональностью письма, со всем его материалом, которое, если бы речь шла о юридическом документе, вполне могло бы квалифицироваться как обвинительное заключение или, в лучшем случае, как иск, вчиненный ответчику истцом. Письмо сына отцу – документ, несомненно, частный, даже интимный. Таким оно, письмо Франца Кафки своему отцу Герману Кафке, и было: автор не предназначал его для публикации, более того, в своем завещании он просил сжечь его. Но поскольку, хотя и вопреки воле писателя, оно сохранилось, ныне отведено ему место как литературному произведению в общей истории литературы.

Трудно отделаться от впечатления, что и изначально письмо это сочинялось как литературное произведение эпистолярного жанра, какой, правда, ныне вышел уже из моды. Что написано оно рукой талантливого, искусного художника, сомнения нет. Но наряду с этим, неотступно, я бы даже сказал, назойливо теснит и другое впечатление: по своей обстоятельности, перечню, пункт за пунктом, претензий письмо приводит на ум тщательно составленный иск. Правда, истец, в данном случае Франц Кафка, не ищет выгод, не делает ставку на выигрыш дела; истец искренне стремится быть объективным в своих усилиях установить истину.

И тут, признавая безоговорочно эту искренность и это стремление к объективности, следует сказать «но»: но эмоциональная установка, какая, помимо воли автора, выработывалась у него всю жизнь, с ранних, младенческих лет, предопределила угол зрения, под каким он рассматривал все дело. Йозеф К., двойник Франца Кафки, герой романа «Процесс», полагал, что вина изначально лежит на нем. Но Франц Кафка, автор романа, полагал, что вина изначально лежит на другом человеке, в случае с ним – на отце его и, следовательно, нет надобности доказывать, что Герман Кафка виновен, это самоочевидно, а следует только представить «корпус деликти» – состав преступления.

Обвинительное заключение содержало все, что попало в поле зрения Франца, осело в его памяти за тридцать с лишним лет жизни, с тех далеких дней, когда он обрел способность видеть и запоминать: и голос Германа Кафки, и манера его ковырять зубочисткой в ушах, и глотать горячую пищу большими кусками, и хлебные крошки, какие были у Германа под столом, и манера его чавкать во время еды, как и манера одергивать и передразнивать всех тех, кто, как правило, заслуживал упрека в меньшей степени, чем он сам.

В «корпус деликти» записывалось все, даже евгеника: типические черты семьи Кафки и семьи Лёви, откуда происходила мать, с последующей сравнительной характеристикой. Франц любил мать, однако преданность, с какой она всю жизнь относилась к Герману, сама по себе достойная восхищения, все же заключала в себе для Франца К. и нечто вызывавшее в нем протест или, в более умеренных случаях, неодобрение.

Это ощущение единовременного присутствия корней, какие представляли отец и мать, не были исключительным свойством семьи Кафки–Лёви. Граф Лев Толстой, когда сын его Лева принес ему однажды свои рассказы, сказал, возвращая рассказы автору: «Вы все, Берсы, очень талантливы». Графиня Софья Андреевна, Левина мать, была из Берсов. Лев Львович, как рассказывают биографы Толстого, ненавидел своего отца, и чувство это было отмечено глубиной и постоянством.

Франц Кафка, исследуя свое генеалогическое древо, обнаружил в себе черты, унаследованные и от Кафки, и от Лёви. Но больше все-таки от Лёви.

«Сравни нас обоих, – писал Франц отцу. – Я, говоря очень кратко, – Лёви с определенной кафковской закваской, но движимый не кафковской волей к жизни, деятельности, завоеванию, а присущими всем Лёви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и часто вообще пропадающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту, громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносливости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры...»



Ф. Кафка. 1905 год

Все эти эпитеты, которыми столь щедро уснастил свой пассаж Франц Кафка, обычно весьма сдержанный, я бы даже сказал, осмотрительный и щепетильный, когда дело доходило до определений, в действительности, вопреки первому впечатлению не являются панегириком. Скорее наоборот: при объективном восхищении, какое эти качества, по расхожему идеалу силы, должны бы вызвать у всякого человека, субъективно у него, у Франца, вызвали прямо противоположное чувство. Слов нет, Франц хотел бы, чтобы и плечи были у него шире, и голос зычнее, и манеры под стать Герману Кафке, властные, как пристало подлинному хозяину, но возможно ли было бы согласовать все эти качества с тем главным, что было в нем, Франце: с его неодолимым зовом к писательству, с его писательским естеством?

В кафковедении – европейском и американском – настойчиво звучит сакраментальная нота: Франц Кафка – сын пражского гетто. Не только родословная, но и вся жизнь Кафки, с уймищей деталей этнического, культурного, бытового, топографического характера неопровержимо свидетельствуют в пользу этого суждения: Франц Кафка – сын гетто.

Но возникает вопрос: а Герман Кафка, отец Франца и его антипод – сын именно так и воспринимал своего отца, – не детище ли гетто, не плоть ли его от плоти? Так резонно ли, не исключая, конечно, того элемента, который вносило в жизнь всех своих обитателей гетто, сводить дело Франца Кафки, точнее, дело «Франц К. против Германа К.» к топографии и этническому окружению, в каком сложились все наиболее существенные детали дела, представленные в «Письме отцу».

Стремление разрешить все загадки человеческого духа, ссылаясь на материальные обстоятельства его проявлений, достигло своего апогея в эстетике соцреализма. Но склонность искать все объяснения в конкретных житейских условиях

человечество обнаружило задолго до появления Маркса и марксо-ленинской эстетики. Между тем простейший вопрос: «почему в одних и тех же обстоятельствах люди, порою ближайшие родичи по крови, воспитанные в одной семье, усвоившие общие привычки, получившие одинаковое образование, ведут себя по-разному, вплоть до полного отчуждения и взаимной ненависти?» должен был бы, казалось, поставить под сомнение перспективность такого подхода.

«Письмо к отцу», хотя и обильно уснащенное деталями быта и будней, отмечено глубинным, нутряным пониманием, что есть нечто, выходящее за пределы нашего понимания и, главное, наших возможностей, нашей способности изменить ход вещей.

Предъявив Герману К. ряд суровых обвинений – и воспитание дал он своему сыну не то, и требовал от него того, чего заведомо требовать нельзя было, и ожидал от него того, чего ожидать не следовало, и, хотя и любил сына, но любил не так, как должно было любить, Франц К. несколько раз сам одергивали себя: «Здесь, – писал он отцу, – возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невиновность... Эта обоюдная невиновность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет двадцать спустя...»

И вот парадокс – еще одно свидетельство, что, хотя и наделенные свободой воли, мы едва ли способны преодолеть себя, – Франца К.: взаимная обоюдная невиновность, которая столь отчетливо виделась ему в отдельные мгновения и почти всегда присутствовала как часть общего фона его мироощущения, фундаментальной основы творчества, вытеснялась неодолимым желанием, какое свойственно всякому человеку, усмотреть вину и, соответственно, взвалить за нее ответственность – если не в намерениях ближнего, то в делах его.

Понимал ли это сам автор письма, Франц К.? Несомненно, и вот слова, какими, как видится ему самому, мог бы ответить ему отец:

«Ты утверждаешь, что я облегчаю себе жизнь, объясняя свое отношение к тебе просто твоей виной, я же считаю, что ты, несмотря на все свои усилия, не только снимаешь с себя тяжесть, но и хочешь представить все в более выгодном для тебя свете. Сперва ты тоже отрицаешь всякую свою вину и ответственность – в этом смысле наше поведение одинаково. Но если я откровенно приписываю всю вину одному тебе, ты хочешь быть одновременно сверхрассудительным и сверхчутким и тоже снимаешь с меня всякую вину. Разумеется, последнее удастся тебе лишь по видимости (а большего ты и не хочешь), и между строк, несмотря на красивые слова о сущности и характере и антагонизме и беспомощности, проступает обвинение, будто нападающей стороной был я, в то время как все, что ты делал, было лишь самозащитой. Так – ты самой своей неискренностью мог бы уже достаточно достичь – ты доказал три вещи: во-первых, что ты не виноват, во-вторых, что виноват я, и, в-третьих, что ты из чистого великодушия не только готов простить меня, но и – ни мало ни много – доказать и самому захотеть поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват».

«Письмо к отцу» уже более трех четвертей века читает весь мир. Не читал его только тот, кому оно было адресовано.

Трудно допустить, что за четыре с половиной года – письмо было написано в ноябре 1919 года, Франц Кафка умер в июне 1924-го – не было возможности вручить письмо адресату. Известно, что близкие, в первую очередь мать, противились этому. Но,

хотя бы и с учетом этого обстоятельства, невозможно преодолеть впечатление, что Франц К., для которого конфликт с отцом был одной из главных батарей, откуда он черпал свою энергию и волю к самовыявлению, и сам не желал этого, ибо для него, для художника, главным было самовыявление в слове.

«КОНТРАКТ» РИСОВАЛЬЩИКА

Аידען פֿון יארע

Не могу сказать, будто я только и делаю, что жду телефонных звонков, вовсе нет. Но я боюсь представить себе жизнь без треньканья домашнего телефона или заводной музычки мобильного. Откликаюсь всегда тотчас и с неподдельной радостью, даже когда дел невпроворот или наваливается хандра, потому что телефонный звонок, любой телефонный звонок, говорит мне прежде всего о текучести жизни и моем нахождении в этом потоке.

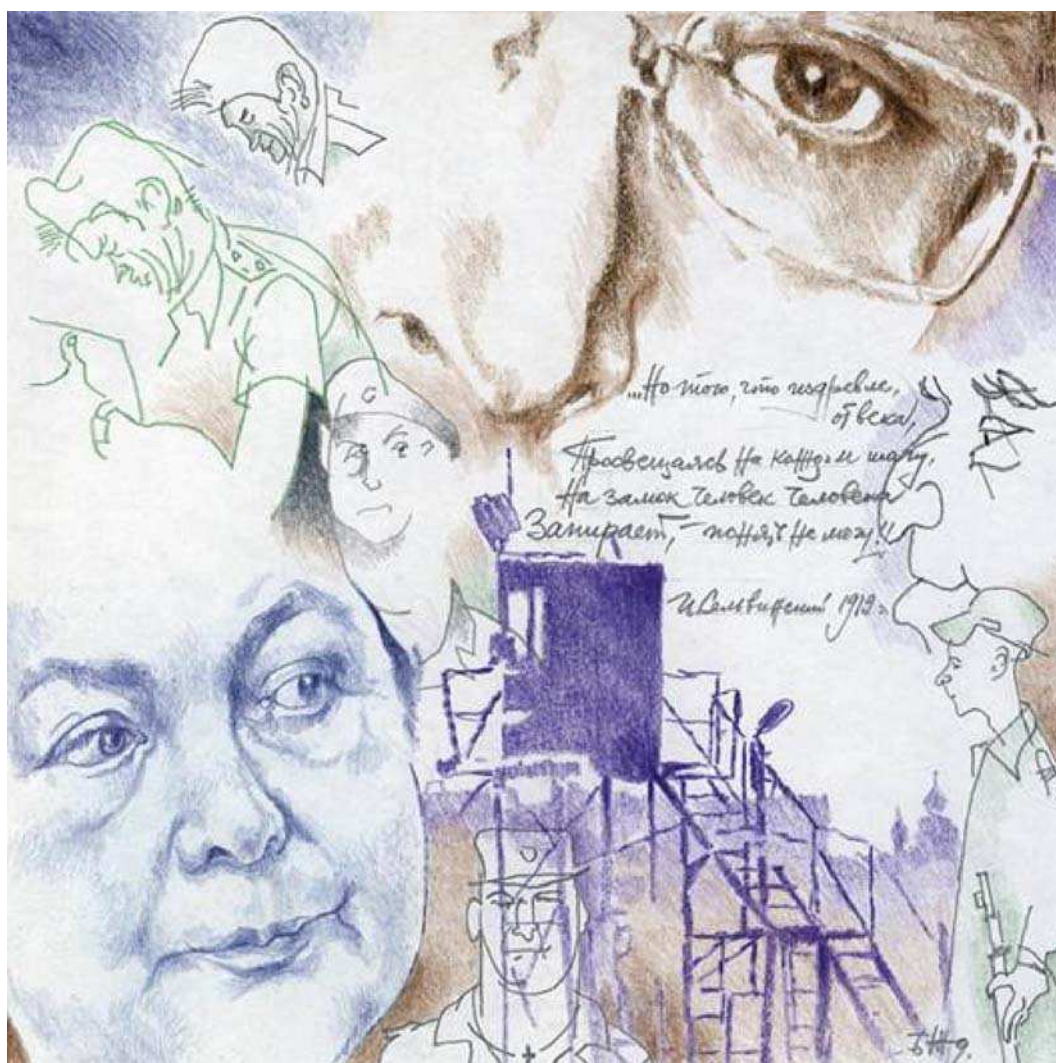


Рисунок Б. Жутовского. Наверху справа – М. Ходорковский, слева – прокурор, читающий обвинительное заключение, внизу слева – Марина Филипповна, мать М. Ходорковского, в центре – охранники, справа – Г. Каспаров.

Потому нет ничего удивительного, что стоило зазвонить телефону, как я кинулся к нему через всю мастерскую.

Звонил Юра Рост. Был краток:

– Боба, у главного редактора «Новой газеты» Мити Муратова есть к тебе предложение. Сходим в газету, он тебе все расскажет.

Рост есть Рост – всегда тайна.

Медлить не стал, потому как возможностей сделать что-либо интересное для себя и других с каждым годом все меньше и меньше. К тому же почему бы не использовать случай исследовать содержание нашей повседневной суеты – просто так, для расширения кругозора? Так сказать, в личных целях.

Пришли в газету. Митя говорит:

– Боба, ситуация сложилась таким образом, что мне срочно нужны рисунки с процесса.

Вот уж не представлял себя в роли Титорелли...

– Я имею в виду процесс над Ходорковским и Лебедевым. Что скажешь?

Как сказал бы Сережа Довлатов: еще не легче.

– Раньше Шевелев рисовал, – продолжил главный, – но он отказался. Я подумал и решил предложить тебе.

– Попробуем, – говорю. А сам подумал: на сколько это? Ведь мы же знаем, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время!

Машину перед зданием Хамовнического суда негде было поставить. Увидев кинувшегося ко мне с требованием переставить машину милиционера, сообразил, что уже нахожусь внутри игрового поля, в котором господствует только ему присущий порядок.

Вхожу в здание. Все как в нормальном суде: предъявляете «гербастый», и вас записывают в какой-то гроссбух, после чего вы смело проходите, без какого-либо пристального внимания к своей персоне.

Проводят заключенных в камеру-«аквариум», находящуюся в зале заседания. После чего впускают адвокатов, публику, прокуроров.

Входит судья. Народу в зале немного, двадцать-тридцать человек. Никакого ажиотажа, никакого телевидения... Ни одного знакомого лица. Кто-то встает и уходит, потом возвращается, а кто-то уходит и уже не возвращается. Люди самые разные, дамы с украшениями, много молодых – все прилично одеты, все с ноутбуками, кто-то слушает музыку в наушниках. Кто-то уже погрузился в поверхностный сон. Ясное дело, на задании ребятаки – пришли от газет, журналов...

Ходорковский и Лебедев – подсудимые – в окружении огромного числа охраны. В «аквариуме» есть две или три дырочки, через которые защитники передают документы, шепчутся, переговариваются с подзащитными.

Сидит скучающий судья в кресле под флагом и гербом России, что-то шмурыгает карандашиком секретарша-левша... Все адвокаты незнакомые, нет ни Г.

Падвы, ни Ю. Шмидта. Кстати, не вижу я и намека на попытку этнизации дела Ходорковского, превращения его в дело Дрейфуса или Бейлиса.

Прокурор начинает читать обвинительное заключение.

Цифры, цифры, цифры...

Лебедев стучит по микрофону. Судья дает ему слово. Подходит к микрофону, там, внутри «аквариума», и говорит:

– Тут не учтены канцелярские расходы и зарплата уборщице помещения.

Судья кивает, и прокурор продолжает тем же тоном читать с половины одиннадцатого до двух. Все, что он читает, сводится, как у Кафки, к одному: «Вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки».

За спиной слышу:

– Мандела, будучи президентом, просидел тридцать лет.

– Не знаю, готовы ли они на такое.

Кроме меня, рисуют еще несколько художников. Сидящий передо мной рисовал акварелью, заглядывать не стал – неэтично. Потом на сайте видел разные рисунки – даже Светланы Сорокиной.

Во время перерыва подошла ко мне Наташа Геворкян, журналист, обозреватель газеты «Коммерсантъ», рассказала о проекте «Рисуем суд»: такой открытый конкурс работ художников, иллюстраторов и коммиксистов из зала суда над Ходорковским. В жюри представители СМИ и бизнеса. Награда – неделя в Нью-Йорке.

– Наташа, ты что? Какой конкурс?! Я в этом участвовать не собираюсь. Может, еще предложишь мне участвовать в конкурсе рисунков с похорон?..

Тоже мне развлечение общественной жизни.

Я нарисовал первую серию рисунков. Должен сказать, занятие это крайне изнурительное – рисовать нечего. К тому же мне никогда не были понятны люди, делающие свой маленький гешефт на «столкновении характеров» и «неизбежности возмездия», хотя, конечно, кто-то должен вести репортаж с «лобного места».

Сколько я буду работать на этом процессе – не знаю. Наверное, столько, сколько смогу выдать из себя рисунков. Изначально было любопытно, но, просидев два-три дня, понял, что делать здесь художнику нечего.

Крик и шумиха вокруг всякого дела – паблисити. Главное, чтобы слышно было далеко: плохая, хорошая информация, не суть важно. Пока общественное мнение придерживается того положения, что арестованные за финансовые преступления могут быть кем угодно по национальности, капитал Ходорковского не будет восприниматься как «еврейский капитал». Но это пока...

Я не верю в то, что опасность, нависшая над Ходорковским и Лебедевым, может быть чудесным образом отведена. Хотя не исключаю, что из двадцати пунктов обвинения, может, пять снимут по недоказанности, два-три года скостят.

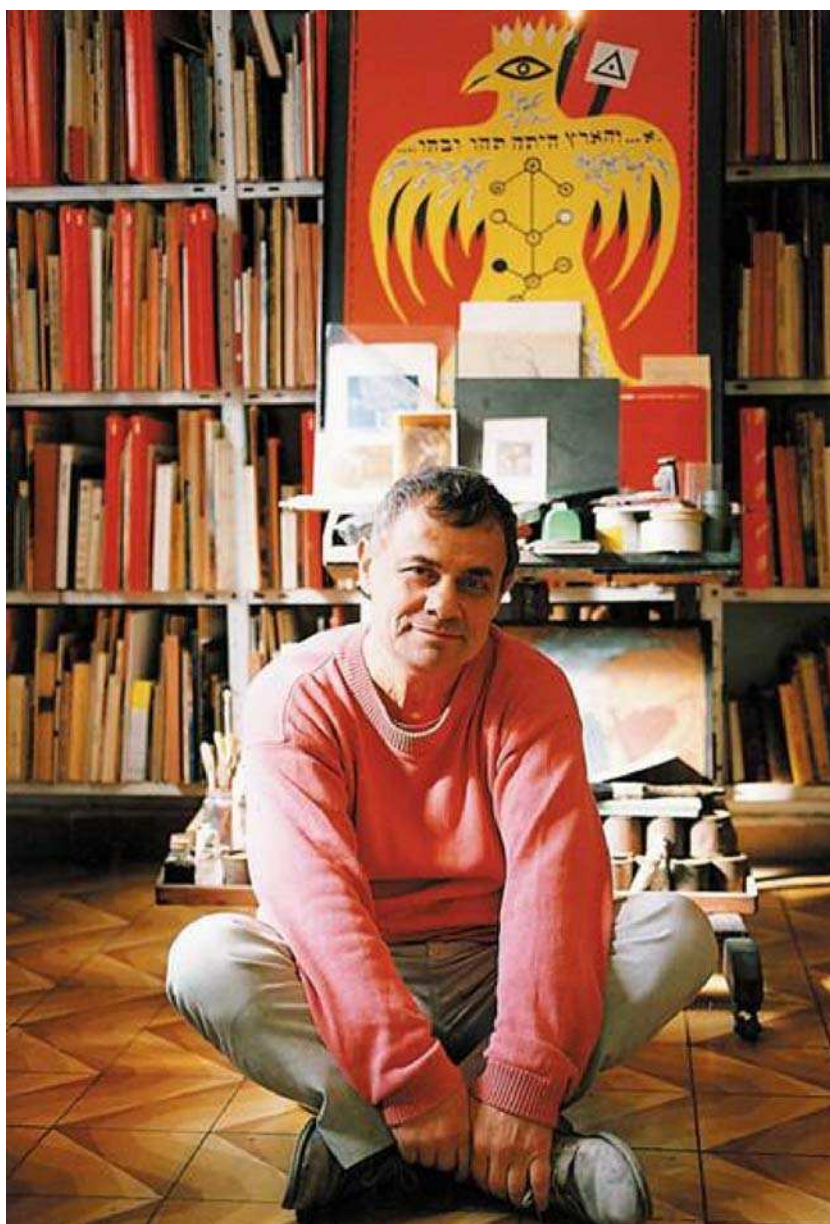
Что дальше?

Судья будет вынужден играть в эту игру с административными структурами. А подсудимые – играть на удачу. Потом кончится этот спор об заклад, и тайные имена вещей останутся тайными для всех, кроме нескольких посвященных.

ИРИНА ВРУБЕЛЬ-ГОЛУБКИНА И МИХАИЛ ГРОБМАН: «У НАС НЕ ПАХНЕТ БЫТОМ»

Аааааааааааа Аааааааааааа

Мое знакомство с Гробманами началось более десяти лет назад, когда писатель Наум Вайман обратился ко мне и моему мужу Алексу Найману с предложением сделать фильм о круге журнала «Зеркало» для российского канала «Культура». Мы с радостью согласились, и Наум повез нас знакомиться с Гробманами, предварительно напугав. Мало того, что Гробман – известнейший художник, представитель второго русского авангарда, он еще и тип художественного гуру, наподобие Бретона и Бенуа, создатель художественных групп и объединений, вечно окруженный блестящими талантливыми людьми. Кто только не был их друзьями, весь цвет русской (и не только) художественной элиты. От перечисления имен у меня тряслись поджилки. Входя в их квартиру в центре Тель-Авива, в тихом тупичке недалеко от моря, я ожидала увидеть Зевса-громовержца и его суровую супругу Геру. Эти олимпийцы, представлялось мне, мгновенно раскусят наши неловкие попытки казаться умными, взрослыми профессионалами, с достоинством представляющими свои идеи о будущем фильме. Но произошло неожиданное. Не было никаких громовержцев, а были потрясающе интересные, простые люди, свои люди, заинтересованные в том, чтобы наше общее дело – фильм «Омоним» – получилось как можно лучше. С тех пор я являюсь постоянным и преданным читателем журнала «Зеркало». Можно сказать, что времена толстых литературных журналов прошли. Для всех, знакомых с историей русской литературной жизни, понятие литературного журнала ассоциируется в первую очередь с именами Пушкина и Некрасова, когда «Современник» стал основой литературно-критического процесса и печатал новейшие произведения писателей своего времени – Толстого, Гончарова, Тургенева. В советские времена журналы попали под такой же гнет партийной большевистской цензуры, как и остальная литература, и потеряли всякое влияние. Ренессанс толстых журналов произошел в период перестройки, когда они стали публиковать острейшие материалы на актуальные темы и, кроме того, вернули к жизни огромное количество книг, запрещенных коммунистами. Однако через некоторое время, когда запас «полочных» книг иссяк, интерес широкой публики к журналам сошел на нет. То же самое, по понятным причинам, произошло с там- и самиздатом. Но литературные журналы продолжают существовать. У них есть, пусть и не такой широкий, как раньше, круг читателей. Статус толстых журналов изменился, но они остаются неотъемлемой частью литературного процесса. Именно с этого мы начинаем беседу с Ириной Врубель-Голубкиной и Михаилом Гробманом.



М. Гробман

– В чем смысл современного литературного журнала?

Ирина Врубель-Голубкина. Журнал – это пространство, где формируется литература. Это на самом деле и есть живая жизнь литературы. Человек, печатаясь в определенном журнале, тем самым определяет свою среду, он отвечает на определенные вопросы, которые интересны этой среде, поставлены ею. Журнал создает поле для сопоставлений. Это как выставка у художников: когда твоя картина висит рядом с другими картинами такого же уровня и направления, она попадает в правильный контекст, и ты сам в состоянии ее оценить. Это включение в нужное ему творческое пространство – необходимый этап в жизни художника или литератора. Журнал – стадия перед одиночеством, период перед собственной книгой. И что интересно, все, кто впервые начал писать у нас в журнале, потом издали свои книги. Вообще, журнал интересен своим разнообразием. И тем не менее, это определенная конструкция, все материалы проходят отбор, тексты связаны между собой неким образом – и это создает особое напряжение. Прочитав журнал, человек может сказать, где он находится, где он живет – в литературном смысле.

– А если не только в литературном смысле, а в геополитическом? Читая «Зеркало», израильский журнал на русском языке, мы узнаем что-то об Израиле? Нам важно знать, что это израильский журнал?

И. В-Г. Да, конечно. Журнал не об Израиле, но это наш взгляд отсюда, совершенно иной, чем в других местах.

Михаил Гробман. И об Израиле тоже.

И. В-Г. Да, и об Израиле, но это для нас не главное, у нас нет никаких тематических установок и ограничений – мы можем говорить о чем хотим. Кроме того, это еще и русский журнал, но наше удаление от метрополии русского языка дает нам отстраненность, которая, по-моему, совершенно необходима для творчества. Я считаю, что Израиль – очень важный литературный и культурный русский центр и всегда таким был. В этом наша особенность: с одной стороны, присутствие, а с другой – отдаленность, отстранение, это очень важно.

М. Г. Нужно сказать так: «“Зеркало” – журнал еврейский?» – «Да». – «На русском языке?» – «Да». – «Израильский?» – «Да». – «Международный?» – «Да». Все «да» сказали или еще что-то забыли?..

– Как начиналось «Зеркало»?

И. В-Г. История «Зеркала» – это на самом деле история группы, история единомышленников. Вначале, в 1989/1990 году, мы издавали «Знак времени», выходящий как приложение к газете «Наша страна». Когда-то это была единственная газета на русском языке в Израиле, которая выпускалась в количестве 800 экземпляров. Она уже стала увядать, но тут приехала огромная алия, и газета стала выходить в десятках тысяч экземпляров. К тому же появились другие газеты на русском языке, возникла конкуренция. Тогда хозяин «Нашей страны» обратился к нам, чтобы издавать приложение. Задача облегчалась тем, что в это время из России приехало невероятное количество интересных, талантливых людей, пишущих по-русски, которые никогда еще не появлялись в таком количестве в Израиле. В России все сдвинулось, и из этого русского хаоса вдруг – не совсем неожиданно для нас, мы всегда ждали, что нечто подобное произойдет, – появились новые люди. Люди, которые здесь оказались свободными от тех карьер и забот, к которым они были привязаны в своей прежней жизни, и которые здесь, с нами, начали свой творческий путь как писатели и литераторы. В то время в Израиль приехали Александр Гольдштейн, Евгений Штейнер, Дмитрий Сливняк, Александр Бренер, Аркадий Недель, – кто знает эти имена, понимает, что такие люди на самом деле не должны писать в газете. Это были писатели, философы, художники, филологи. «Знак времени» стал для них пристанищем, но вскоре он был уже мал для нас. В результате «Знак времени» закрылся, и очень скоро начал издаваться журнал «Зеркало». Израиль – фантастическая страна, потому что здесь всегда есть какое-то движение, обновление. Одни наши авторы уезжали, другие приезжали. Приехали художник и писатель Павел Пепперштейн, филолог и журналист Глеб Морев, поэтесса Александра Петрова. Большинство из тех, кого мы упомянули, уже разъехались по разным географическим пространствам и в настоящее время живут в Европе, Америке или России. Но для многих из них годы, проведенные в Израиле, стали основополагающими в жизни – потому что именно здесь они стали писателями.

– Получается, что «Зеркало» – это не просто литературный журнал, это еще и среда, побуждающая людей к творчеству, – кстати, не только литераторов. Вы

сознательно создаете эту среду, соединяете между собой людей, как-то выбираете, собираете их? И если да, то в чем ваш рецепт?

М. Г. Рецепт в том, что творческий человек сам ищет себе подобных, тот культурный и интеллектуальный воздух, который ему подходит, без которого он не может жить. И так получалось, что, если человек тем или иным путем попадал в наш журнал и видел, что люди, которые его делают, подходят ему по культуре, по интеллектуальному устройству, по взглядам, – он оставался в компании.

– В одном из последних номеров «Зеркала» было опубликовано интервью с Ильей Кабаковым. Он артикулирует одну интересную мысль, что искусство делается для узкого круга профессионалов. Вы согласны?

М. Г. Что значит «узкий круг»? Скажем, сколько человек во всем мире читают Гегеля? Устинову читают миллионы, а Гегеля тысячи.

– Как вы отбираете тексты? Вы думаете о читателях в это время?

И. В-Г. Когда я отбираю тексты, я думаю о себе. Нет, точнее сказать, о самом тексте и о том, как я его воспринимаю. Потому что я и есть читатель, первый читатель. Отбирая, я реагирую на уровень текста, то есть на его оригинальность, на то, как он меня задевает интеллектуально и эмоционально. В этом нет никакой алхимии – все серьезно погруженные в литературу люди отбирают для себя чтение более или менее именно таким образом. Литература высокого уровня, проза или поэзия, оригинальные мысли – вот основные критерии отбора. Чем текст лучше – тем больше у него будущего... Так всегда было, неважно, в каком времени это произойдет, раньше или позже.



И. Врубель-Голубкина, А. Хвостенко, М. Гробман, Ю. Лейдерман, А. Гольдштейн. 2001 год

– Литературный процесс сейчас очевидным образом разделился на слои. В одном слое господствует массовое чтение, которое и литературой-то язык не поворачивается назвать, на другом полюсе размещается элитарная литература, которую трудно понять без специальной подготовки. «Зеркало» – журнал элитарный?

И. В-Г. Да, конечно. Наш читатель должен быть подготовленным. Для того чтобы читать наши тексты, читатель должен быть литературным человеком, литература должна быть частью его жизни. Желательно, чтобы у него был определенный запас

литературных ассоциаций, без которого он просто не поймет, из чего состоит текст, не будет знать, что он ест. Хотя у полноценного текста должен быть потенциал, позволяющий воспринять его на разных уровнях. Его может по-разному прочесть интеллигент и неискушенный читатель, которому этот текст тоже что-то скажет.

М. Г. Кто-то из выдающихся людей сказал (не помню, кто точно): что-то, что сегодня является элитарным художественным языком, завтра будет всеобщим достоянием. Конечно, наш журнал элитарен. Но это сегодня он для элиты. Завтра это станет всем понятной прозой или рассуждениями.

– Договорились, через 200 лет авторы «Зеркала» будут читаться массами – если к тому времени книги и литература окончательно не будут вытеснены Интернетом и другими медиа. То, что вы делаете в «Зеркале», как-то соотносится с тем, что происходит в российских толстых журналах? Вы как-то связаны с ними, следите за тем, что там происходит?

И. В-Г. Конечно, мы следим. И не только за журналами, за всем литературным процессом. Нам присылают бесконечное количество материалов. Нужно сказать, что очень много российских авторов начинали именно у нас. Из того невероятного количества рукописей, которое мы получаем, мы печатаем, наверное, около двух процентов. Мы одни из первых напечатали Елену Фанайлову, Павла Пепперштейна, Кирилла Медведева – то есть авторов, которые сейчас очень важны для русской литературы. Именно в нашем журнале после длительного перерыва начал публиковаться Саша Соколов. Все мы – на самом деле одно пространство.

– Вы живете в Израиле с 1971 года. Как вам удается быть в курсе дел российской литературы и находить молодых авторов?

И. В-Г. Это они нас находят. Знаешь, как бабочки, которые летят на запах своего цветка.

М. Г. У нас есть, конечно, свои особенности в сравнении с другими русскими толстыми журналами: мы больше занимаемся еврейством, еврейской историей, еврейской философией. Мы принадлежим к тому, что называется «русское еврейство». Есть евреи, и есть русские евреи – особая субкультура. Наш родной язык – русский, что не делает нас меньшими евреями, и с русским языком мы живем в Израиле.

И. В-Г. Мы – омонимы. Когда-то Александр Гольдштейн дал прекрасное определение в фильме, который вы с Сашей сделали о «Зеркале». Он сказал: «Мы – омонимы, звучим одинаково, а значим совершенно иное».

– Поговорим об Александре Гольдштейне. Можно сказать, что как писатель он родился в «Зеркале».

И. В-Г. Он был с нами еще со «Знака времени», но родился как писатель в нашей среде, в круге «Зеркала». Он сам был одним из создателей этой среды. Все его друзья, единомышленники, соратники – все они были объединены вокруг «Зеркала». Для него, я уверена, эта среда была совершенно необходима. Он, конечно, человек блистательно талантливый и состоялся бы в любом случае, но такого писателя, как Александр Гольдштейн, которого мы знаем сейчас, без «Зеркала» не было бы. После его смерти первый номер журнала был посвящен Саше. О нем писали наши авторы, его друзья – Вайман, Шаус, Штейнер, Гершович, Лобков. Они писали о Саше и о себе – о том,

как они приехали, как начали писать, как встретили Сашу у нас в «Зеркале». И из всех этих рассказов складывается картина, дающая представление о том, как важно было для них это время, как оно определило их литературную судьбу. Интересно то, что сейчас происходит с Сашей. Его нет уже два года. И только теперь началось осмысление его творчества. Афанасий Мамедов в журнале «Лехаим» сделал подборку интервью о Саше, он разговаривал со мной, с Глебом Моревым. Борис Дубин, социолог, философ, очень важный в сегодняшней литературе человек, написал интересную статью о творчестве Гольдштейна. «Open space», ведущий российский вебсайт, занимающийся вопросами культуры, выбрал «Спокойные поля» – последнюю книгу Гольдштейна – одной из книг десятилетия. Гольдштейна читать трудно, он не писатель для легкого и веселого чтения. Но он – настоящий писатель, и люди, существенные для русской литературы, понимают, что он создал собственное литературное пространство, которое невозможно обойти. Я чувствую, что начинается канонизация Александра Гольдштейна, он занимает свое место в русской литературе, и это происходит не чьими-то силовыми усилиями, а само по себе. То, что должно произойти, – происходит.

– Это как раз то, о чем мы говорили: когда элитарное искусство становится общепринятым. Вообще, когда вы говорите «элитарный» – у этого слова положительная коннотация?

М. Г. Только положительная.

И. В-Г. Культуры разговаривают и объединяются между собой именно на уровне элит. Это простонародье на улице может подраться, а «войны культур» не существует. Чем больше культуры, тем лучше и совершенней жизнь. Вот и всё.

– Раз уж у нас зашла речь об объединении культур, то как относятся представители ивритской литературы к вашему журналу? Известно, что раньше в Израиле не приветствовалось любое неивритское творчество.

И. В-Г. Это очень интересно. Мы издали две антологии «Зеркала» на иврите. Первая вышла в 2001 году. Было по-своему увлекательно составлять антологию для совершенно другого читателя. Неожиданно для нас она привлекла к нам молодых ивритских авторов, потому что они почувствовали нашу энергию, которой им, очевидно, недоставало в своем литературном пространстве. В этой антологии есть тексты, которые уже прочно вошли в ивритское литературное сознание, – как, например, «Гимн усталости» Вадима Россмана. Только в газете «А-арец» было семь рецензий на антологию. Вторая антология вышла в 2006 году в одном из лучших израильских издательств «Ам овед». Эти две первые книги современной литературы на русском языке сразу вошли в израильский литературный обиход. И для нас эта работа, перевод «Зеркала» на иврит, тоже была очень важна.

– А подобную антологию на русском языке вы издавали?

И. В-Г. Да. Мы ее назвали: «Символ – Мы. Еврейская хрестоматия новой русской литературы». Русская антология была более заострена, в нее мы включили то, что считали литературно важным на тот момент. Мы не собирались показывать русскому читателю Израиль – в том смысле, в каком, например, нам было важно показать, кто мы такие, израильскому обществу.

– В 31-м номере журнала напечатан 4-й манифест Михаила Гробмана. Можно ли сказать, что это кредо журнала «Зеркало»?

М. Г. «Зеркало» не является идеологическим журналом, где все идут в ногу. У всех разные идеи, направления, предпочтения. Требование к текстам только одно: чтобы это было интересно, чтобы это было талантливо, чтобы это возбуждало мысль, желание проанализировать то же самое по-своему, поспорить или согласиться. Манифест говорит об очень и очень непростом положении дел в современном искусстве. Искусство деградирует в силу многих причин. Речь идет о том, как спастись в этой ситуации.

И. В-Г. Это тотальная критика существующего положения дел в искусстве и указание пути выхода из кризиса.

М. Г. «Критика нечистого разума».

И. В-Г. Так что это не кредо журнала. Это мысли Гробмана, его анализ ситуации. Но эта сфера размышлений нам очень важна, и не случайно сразу за Манифестом напечатано эссе Лёли Кантор-Казовской на ту же тему. В отличие от Манифеста это более теоретическая, философская работа. Если человек хочет узнать, каково положение дел в современном искусстве, как оно пришло к своему теперешнему состоянию, ему просто необходимо прочесть это эссе. Совершенно блистательный анализ! Для меня лично было очень важно прочесть эту статью, просто важно. Она дает возможность намного более свободно ориентироваться в ситуации. Можно идти на выставку и знать, что от нее ожидать. Лёля Кантор-Казовская, историк и теоретик искусства, – преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме, специалист по искусству Ренессанса. Ее книга о Пиранези, вышедшая на английском языке, основополагающий труд на эту тему, привлекла к себе огромное внимание. Кроме того, она видный исследователь русского искусства и второго русского авангарда.



М. Гробман и И. Кабаков в Тель-Авиве на выставке Гробмана и Кабакова в Галерее Тель-Авивского университета. 1989 год

– Далее в том же номере напечатаны фрагменты из «Книги дыхания» Ирины Гольдштейн. Что вы можете сказать об этой вещи?

И. В-Г. Мы присутствуем при рождении настоящего писателя. Многие, прочитав Ирин текст, говорят: «Да, это Саша!» На это можно ответить, что, во-первых, она имеет на это право. В сущности, относиться к предшественнику и так или иначе реагировать на его стиль имеет право каждый следующий писатель, и тем более, когда речь идет о такой ситуации... Саша и Ира – это было соединение на небесах.

– Можно сказать, что она сейчас становится одним из важных авторов «Зеркала».

И. В-Г. Я повторяю, мы присутствуем при рождении большого писателя. Она совершенно радикальна, для нее не существует никаких преград. К тому же она – женщина. Женщины гораздо храбрее мужчин. На фоне существующего литературного пространства видно, что Ире есть как писать, Ире есть о чем писать. Мне кажется, что это даже прообраз нового вида литературного текста.

– На что еще вы бы хотели обратить внимание читателей?

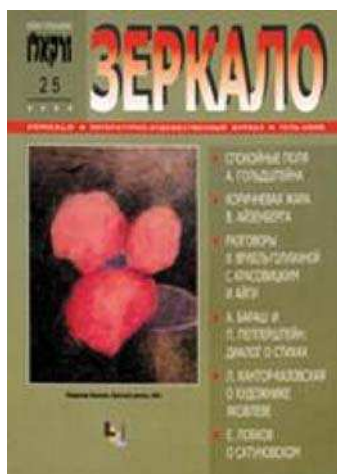
И. В-Г. На все! Вот статья Гилеля Казовского о еврейской книжной иллюстрации – первое исследование этой важной темы. В феврале в парижском Еврейском музее откроется выставка еврейской книжной иллюстрации, и статья Казовского – это текст каталога выставки. В каталоге статья появится по-французски, а по-русски, на языке оригинала, – у нас в «Зеркале». Что еще? Проза Дмитрия Бавильского, описание жизни Максима Якубсона, пасынка ленинградского поэта Леонида Аронсона, стихи Михаила Генделева и Евгения Раковича. Гоголь как предшественник Толкиена – тема статьи Дины Хупаевой. И как всегда, «нарушитель конвенции» Алексей Смирнов, на этот раз выдавший формулу: «Тютчев не сумел понять Россию умом, ее понял Де Кюстин». Каждый должен прочесть текст Вадима Россмана и Врежа Никогосяна – «Баллада о невиданных зверях». Невероятно забавно... Очень интересная идея.

М. Г. Вадим Россман – наш постоянный автор, и вот он приводит за собой нового автора, Врежа.

И. В-Г. Вадим жил какое-то время в Израиле. Он автор «Гимна усталости», который сразу же после того, как мы его напечатали в нашей ивритской антологии, стал известен в израильской литературе. Вадим – интеллектуал, философ. Жил здесь, потом сделал пост-докторат в Америке, работал там, а затем поселился в Рязани. Выразился про современную жизнь в России замечательно: «Шанс найти там человека подобного тебе значительно выше, но жить там неприлично».

– Вернусь к вашему интервью с Ильей Кабаковым, очень важному и актуальному.

И. В-Г. В сентябре в Москве был «фестиваль» Кабакова – одновременно пять его выставок проходило. Такое триумфальное возвращение Кабакова на белом коне в русскую культуру. И он стоит того. Кабаков является одним из важных современных русских художников. И одним из умнейших людей, которых я знаю. Эти интервью не новые. Они были напечатаны еще в «Знаке времени». Но, перечитав их сейчас, я поняла, что они абсолютно актуальны. Они важны как для понимания современной художественной ситуации, так и для истории самого Кабакова. Интересно понять, что произошло, что изменилось за эти десять лет, что остается, что уходит. Ну и, кроме того, они были напечатаны еще в доинтернетовскую эпоху, так что не все их видели. А сейчас они читаются как совершенно новый, современный текст. Кабаков – наш постоянный автор. Мы не раз его печатали. И интересно, что тема его последней выставки в Москве – «художник–персонаж», впервые размышления на эту тему были напечатаны в «Зеркале» несколько лет назад.



– Одна из особенностей «Зеркала» состоит в том, что вы занимаетесь историей русского авангарда – с начала XX века и до нашего времени. Вы постоянно печатаете исследования на эти темы, интервью с участниками этих движений.

М. Г. Это происходит по одной простой причине: до сегодняшнего дня люди не знают той культуры, к которой они принадлежат, или думают, что принадлежат. Например, такой потрясающий поэт, как Станислав Красовицкий, который был яркой звездой в 60-е годы (потом он ушел из литературы, стал священником), или его друг, Валентин Хромов, замечательный поэт, очень важный и для своего времени, и для нашего. Новое поколение их не знает, я имею в виду в России, и потом разносит свое незнание в Израиль, в Америку, в другие места. Люди просто не знают своих лучших поэтов, художников, не понимают, какова иерархия, не отличают плохое от хорошего. Именно поэтому сейчас в Москве огромное количество поэтов хвалят друг друга, печатаются, совершенно ничтожные стихи получают премию Андрея Белого, совершенная графомания, подделка. Издаются какие-то поэтические антологии все с такой же графоманией – и это мир современной русской поэзии. А такие поэты, как Холин или Красовицкий, например, остаются неизвестными и не печатаются. В связи с этим мне всегда вспоминается Иннокентий Анненский, гениальный русский поэт, который долгое время оставался совершенно забытым, безвестным. Никто не знал этого имени, кроме ничтожно малой кучки людей. И когда в 1959 году вышел том его стихов, его книгу никто не покупал, ее уценили, и все равно она лежала на прилавках. Великого Анненского! И только спустя долгое время вспомнили о нем. Вообще, это характерно для России – жить без своих значительных и великих писателей, поэтов, художников. Журнал «Зеркало» печатает материалы о людях, которые являются очень значительными, важными для русской культуры, но при этом или мало, или совсем неизвестны. Мы жили тогда, мы это делали. Мы перешли в другую эпоху. Не все, к сожалению, некоторые умерли, у каждого своя судьба. Мы продолжаем заниматься тем, что мы делали тогда, – писать, рисовать – и продолжаем оставаться актуальными в искусстве. И то, что мы знаем о прошлом, мы не просто несем в себе, мы считаем своим долгом внести это обратно в культурный обиход. Для того, в конце концов, чтобы у каждого была возможность очнуться и сказать себе: «Г-споди! Как же это так, я не знал о существовании моей собственной культуры?» Но опять-таки, для русских это привычно – сколько лет они жили без Мандельштама?..

И. В-Г. Что касается интервью с деятелями русского авангардного искусства и литературы, то они начались еще в тонком «Зеркале». Первым было интервью с Николаем Ивановичем Харджиевым. Харджиев – искусствовед, коллекционер, писатель, очень важный человек в истории русского авангарда. Друг обэриутов. Интервью совершенно уникальное, поскольку оно как бы заново открыло тему русского искусства начала века.

Он говорил со страстью, как человек, живущий в том времени. В результате это интервью переведено на многие языки, перепечатывается в каталогах главных музеев мира. И было еще «боевое» интервью с Эммой Герштейн, и этими двумя публикациями мы закрыли тему того времени, того пространства. Это часть века, которая окончательно ушла в историю. Но существует наше время, пространство шестидесятых, которое представляет собой новую эру. И здесь важно интервью с Хромовым, который рассказал такие вещи... это просто сокровищница, невероятно интересно. Мне, как интервьюеру, интересно проследить, как зарождается творческая личность: вот жил советский мальчик, ходил в советскую школу и вдруг создает совершенно новый вид говорения, новый вид литературы. Как он развивался, что читал, какие картины любил, какова была его среда – как человек начинает говорить собственным голосом. И из интервью с Красовицким, Некрасовым, Айги, Кабаковым становится ясно, как строится культура и как возникает личное творческое пространство. Меня интересуют первооткрыватели, их личные жесты.

– А с Лимоновым, который также входил в вашу группу, вы разговаривали?

И. В-Г. Я совсем недавно видела Эдика, мы старые друзья. Но он сейчас больше занят другими вещами.

– История культуры его больше не интересует?

И. В-Г. Нет, почему? Культура в принципе его интересует. Он много пишет – стихи, прозу. На «Арт-Манеже» был выставлен его «объект». Он сказал, что всю жизнь мечтал стать визуальным художником, – вот, пожалуйста, стал. На самом деле я бы хотела поговорить с Лимоновым, он один из немногих, с кем стоило бы поговорить. Хотя он уже столько сам о себе написал... Гробман был первым, кто ввел его в московское литературное общество. Лимонов приехал к нам из Харькова.

М. Г. Бахчанян привел его ко мне стихи читать. Лимонов описал это в «Молодом негодяе» или еще где-то. Как он со страхом уезжает в Москву – что он там будет делать, как и с кем познакомится, как его встретят. И с этим страхом он появился у нас. Эдик читал стихи, стихи мне очень понравились, и с тех пор началась наша дружба. Я его всюду водил, со всеми знакомил, везде хвалил. У меня есть две его книги, им подписанные, одна того времени, другая недавняя. Не помню, что он написал в 1967 году (движением фокусника Гробман достает нужную книгу из тысячи возможных), но вот последняя надпись: «Майклу, который меня первым заметил».

– Старик Державин нас заметил...

И. В-Г. В связи с той же темой хочется отметить и работу Евгения Лобкова. Он единственный на сегодняшний день занимается исследованием творчества поэтов второго русского авангарда. В последнем номере «Зеркала» опубликована его статья о Хромове. Он также писал о Сатуновском, Холине, Кропивницком. В недалеком будущем в Москве пройдет выставка «Круг Гробмана–Яковлева», и издательство «НЛО» издаст каталог этой выставки, где будет литературная часть. Там будет написано обо всей среде того времени, и статьи Лобкова, опубликованные в «Зеркале», станут частью этой книги. Еще один важный для нас человек – Николай Боков, совершенно невероятный персонаж. Когда-то, в доисторические времена, студенты написали письмо Солженицыну – так это и был Коля Боков с товарищами. Потом он переехал в Париж. И там в какой-то период жил семь лет на улице, был настоящим парижским клошаром – у него были на это причины духовного свойства. Он об этом написал книгу, которая вышла по-французски и была опубликована

у нас в «Зеркале». Сейчас он известный французский писатель, издал несколько книг. В России совсем недавно вышел его двухтомник, перевод с французского. Боков издавал журнал «Ковчег», первый авангардистский русский журнал в эмиграции. Это был единственный журнал, который решился напечатать «Это я, Эдичка» Лимонова. Никто больше не решался, не хотел печатать Лимонова. В последнем номере «Зеркала» напечатаны размышления Бокова под названием «Фрагментарии».



И. Врубель-Голубкина, М. Гробман и Е. Евтушенко. 1988 год

– **Ира Гольдштейн его описывает в «Кафе Бобур», в том же, кстати, номере?**

И. В-Г. Да, Бокова, а также математика и поэта Михаила Дезу. Такие пересечения! Ты спрашивала, что такое журнал? Журнал – это конструкция. Когда ты заканчиваешь выпуск номера, то думаешь: «Ну, все, больше никогда!» Потом проходит время, ты получаешь материалы, и они без твоих специальных усилий начинают складываться в номер. Журнал строит себя сам, а ты должна прочувствовать эти тексты, увидеть, что одно имеет какую-то связь с другим, одно подтверждает или отрицает другое. Но это общее напряженное пространство. Как путешествие – люди, которые участвуют в одном произведении как герои, выступают авторами в другом. Все это не просто, но главное – добиться того, чтобы все жило. Чтобы журнал вызывал ощущение живой ткани, в которой что-то рождается. Наше отличие в том, что «Зеркало» – журнал, проблематика и интересы которого довольно абстрактны. У нас нет быта. У меня была приятельница, которая говорила: «Здесь пахнет бытом». Так вот, у нас бытом не пахнет. Журнал – это то, чем мы живем. «Зеркало» – это не только те, кто пишет, это и те, кто его читает, и те, кто делает о нем фильмы. И те авторы, которые, может быть, еще не напечатаны, но они тоже внутри этого круга. Так что это гораздо более широкая вещь, чем просто литературный журнал.

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК «ИЗ НАШЕЙ РЕЧИ»

На четыре вопроса отвечают: Михаил Вайскопф, Анна Исакова, Аркан Карив, Демьян Кудрявцев

Аִתְּכֶם אֵלֶיךָ אֱלֹהֵי אִתְּכֶם יְיָ אֵלֵינוּ

В Тель-Авиве в ночь на 30 марта после продолжительной болезни ушел из жизни поэт Михаил Генделев. Его уход – невосполнимая потеря для русской литературы. Для одного из основоположников концепции «русскоязычной литературы Израиля» близкое и далекое сошлись в одной точке и началось новое «великое литературное путешествие» Михаила Генделева.

Тогда я работал PR-директором в издательстве «Время», в Доме радио на Пятницкой. Мой рабочий стол стоял рядом с дверью. Кто входил, мог пройти только у меня за спиной. Удобство подобного расположения я оценил очень скоро: находился словно в капсуле, которую покидал лишь в том случае, если доносился знакомый, дружественный мне голос. Однако это случалось нечасто. Лишь однажды система дала сбой: пропустил все стадии материализации необыкновенного человека. Случилось так, что булгаковский Воланд, к существованию которого я долгие годы относился скептически, предстал воочию именно в тот момент, когда коллеги мои были на обеде. Он стоял подле меня, дымя длинной дамской сигареткой и сверкая полуторавековым мутным моноклем. Внутри захолонуло, стоило Воланду с патрицианской заминкой поприветствовать начинающего пиарщика, сняв с еврейской головы сырой британский котелок. Воланд тяжело дышал, у него была астма. Сколько мы находились вдвоем в комнате – вернее, втроем: я, он и его глумливая трость с серебряным набалдашником, – о чем говорили и говорили ли вообще, не помню. Запомнил только настоящее имя пришельца – Михаил Генделев. И уж, конечно, не забуду, с каким достоинством он принял от редактора новую книгу – «Неполное собрание сочинений». Позже я встречал мэтра на тех литературных действиях, которые пресса не без пафоса подавала как исключительное культурное событие. Но по-настоящему повезло мне тогда, когда Генделев стал одним из четырех моих собеседников, вспоминая в нашем журнале Надежду Яковлевну Мандельштам. Тут-то я оценил и его дар рассказчика, и щедрую стремительность мысли. Очень хотел встретиться с ним в Израиле (могли бы свести общие знакомые), – но, увы, с ними пришлось только поминать Генделева, поминать как человека-легенду, как последнего крупного русско-еврейского поэта XX века.

ГЕНДЕЛЕВ ПРИМЫКАЛ К ОГРОМНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Ī ēōāēē Āāēīēīī ō, ōēēīēīā ēēō āāōōōīāīī



– Михаил Генделев утверждал, что он «израильский поэт», но разве язык не является территорией поэта? Или в случае с Генделевым это не так?

– Это не так и во многих других случаях. Можно ли всерьез считать, например, «немецким поэтом» Пауля Целана – жертву Холокоста – только потому, что он писал по-немецки? Единственной его немецкой «территорией» был нацистский концлагерь. И можно ли считать немецким писателем Кафку? Давно пора расстаться с засахаренным языковым фетишизмом. Со времен де Соссюра принято разделять язык и речь. Речь поэта черпает свой материал из данного языка, но организует себя по собственным моделям, которые коренятся в глубинах национально-религиозного менталитета. Читатель мгновенно распознает чужака, как бы виртуозно ни владел он местным наречием. Показательно, с какой инстинктивной враждебностью долгие годы в России третировали евреев Фета, Мандельштама и Бродского. Генделев примыкал к огромной еврейской традиции, в рамках которой национальное творчество созидалось из подсобных языковых материалов – арабского, немецкого и прочего.

– На недавнем заседании иерусалимской конференции, о которой шла речь в предыдущем номере журнала, наверное, первом в истории научном собрании, посвященном Генделеву, Евгений Сошкин говорил, что русско-израильская литература – это в итоге один Генделев. Однако существует концепция русско-израильской литературы, связанная с именами тель-авивцев Александра Гольдштейна, Александра Бараша. И об этом тоже шла речь на наших страницах. Но ведь Генделев печатался и в иерусалимском «Солнечном сплетении», и в тель-авивском «Зеркале». Чем вы объясняете такой парадокс, такое присутствие одного поэта разом в двух матрицах?

– Думаю, Сошкин руководствовался чувством весьма естественной и понятной литературной иерархии. К сожалению, я мало что могу сказать об упоминаемых вами Гольдштейне и Бараше. Я знал об их существовании, но никогда не стремился детализировать это знание (помнится, впрочем, что у Бараша попадались довольно приличные стихи). Если у них и были какие-то «концепции», то, увы, в самом скором времени они станут достоянием разве что ближайших родственников и немногочисленных доброхотов. Что касается «Солнечного сплетения», то для Генделева это был свой, почти домашний журнал. Он был одним из его главных инициаторов (и,

кстати сказать, главредом я стал там именно по его рекомендации). В компании «Зеркала» его, в сущности, терпеть не могли и, только когда убедились, что избыть Генделева не удастся, начали зазывать к себе. Сам он, однако, оставался совершенно равнодушен к этой вражде. Вдобавок, как я уже писал в некрологе, Генделев отличался полным отсутствием злопамятности. К «подзеркальникам» он всегда относился с иронической снисходительностью, которая и позволила ему у них опубликоваться.

– **Томас Стернз Элиот писал: «Английские литераторы редко поминают о традиции, они лишь время от времени сожалеют об ее отсутствии». На мой взгляд, то же можно сказать и о русских литераторах. Развивая эту мысль: что вы думаете о таком ярком индивидуалисте, как Генделев, каковы его взаимоотношения с русской литературной традицией?**

– От русской традиции Генделев унаследовал многие технические навыки, связанные с метрикой и с композиционным членением стиха, в том числе на фонетическом и графическом уровнях. Здесь он многим обязан Хлебникову и Маяковскому. Его ранняя поэзия близка, тем не менее, к барокко, крайне слабо представленному в России. Как и многие ленинградцы, Генделев также отдал должное поэтике символистов, но еще больше – обэриутов. Очень любил русскую классику, особенно Лермонтова и Блока. В то же время русская культура оставалась для него скорее важной темой (одной из тем), чем прямым источником вдохновения. Можно напомнить хотя бы о его цикле с подчеркнуто отстраненным названием «Из русской поэзии».

– **Леонид Кацис в своей статье «Туда смотреть отсюда» пишет: «Генделев учит своих героев не Мандельштаму и не русскому языку. Он приучает “чуждое семейство” к своему присутствию в “арабской речи”. Это первая – пространственная – ось координат, на которую проектируется какая-то часть смыслового поля поэзии Генделева, связанная непосредственно с Землей Израиля и с Россией, увиденной с Востока». На поэтику и идеологию Генделева влияли конкретные события на Ближнем Востоке, в итоге что дал ему новый русско-израильско-мусульманский перекресток?**

– С мусульманской стороны на этом перекрестке в Генделева охотно стреляли – по счастью, неудачно. Наиболее ярко соответствующая тема развернута у него в стихах о первой ливанской войне и в стихотворении «К арабской речи». Надеюсь все же, под перекрестком в заданном вами вопросе не подразумевается некая плодотворная встреча трех культур. Для Генделева такая утопия отдавала бы невыносимым китчем.

БРОДСКИЙ ВЫЗЫВАЛ В НЕМ ЖЕЛАНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ОБРАТНОГО

Àííà Èñàéíàà, ìéñàò àéü æòðí àééñò



– В дном из своих интервью Генделев сказал, что в Ленинграде времен его молодости конкурс на место поэта был чрезвычайно высок, как и уровень письма. Если бы он родился не в Ленинграде, а, положим, в Москве, это был бы принципиально другой поэт?

– Жизнь поэта в сослагательном наклонении – это уже художественное произведение. Могу рассказать только о том, чему была свидетелем. Враждебность Генделева по отношению к Бродскому была чересчур эмоциональной, чтобы не вызывать подозрение в поэтической ревности. С другой стороны, нобелевский лауреат тоже не стеснялся в выражениях по отношению к Генделеву. Накал этой страсти и вовсе поражал: признанный всем миром поэт и мало известный тогда за пределами узкого поэтического круга израильский стихотворец казались несоизмеримыми величинами. Тем не менее Бродский знал Генделева, читал его стихи и нехорошо по их поводу выражался. Помнится, я как-то заметила, что столь эмоциональное неприятие равноценно признанию, вызвав тем самым у Миши раздраженную гримасу и сообщение о том, что признание Бродского было бы для него, Генделева, равнозначно профессиональному краху. В принципе же, Генделев, как поэт высокой пробы, сложился уже после приезда в Израиль, поэтому так ли важно, родился он в Ленинграде или в Москве? Впрочем,

Í í é à

í í ü ì á à ì ñ ì à ò á ð é ì

ò á é á è ã í è ò ü ì ð à à ü ì ñ à ì è

æ è ç í ü é à æ à ò ñ ü ÷ á ð í í à é é ì

í í ç à í á é ò è ò æ è ç í à ì ì è ñ à í é é.

И из того же стихотворения – «In vitro, или Полная всеобщая элегия памяти Ленинграда» (май, 2005 год):

òàé

âî÷è àèáíî

÷òî

èç

âíá

è

òàé

ñòîé ñòîðíú ñááí

èàé äááðí îò èðíáóú á îðíòóíá

à òàì ïíááíòèà îò ñééóáà

Суккуб, инкуб или наваждение иного плана – та бородавка на теле поэтической души, коей нельзя не придавать значения, как и поэтическим телегам юности. В итоге любое значимое событие в жизни поэта, произойди оно иначе, в иное время и ином месте, несомненно изменило бы что-то в его творчестве, сказавшись на итогах. Опять же, вполне возможно, что не предложи родной город юному ревнивцу столь почетного конкурса на звание поэта, стало бы в этом городе одним врачом больше и поэтом меньше. Отмечу, что Генделев, в отличие от иных известных мне ленинградцев, званием этим не щеголял и ездил в Ленинград единственно к маме, всемерно это подчеркивая. Хотел ли он сказать таким образом, что не принадлежит к ленинградской школе поэтов, не знаю. Одно несомненно: Бродский вызывал в нем острое желание действовать от обратного, что можно записать в графу «поэтическое влияние».

– Своим учителем Генделев считал поэта, прозаика, переводчика и философа Анри Волохонского, ныне проживающего в Германии. У Валери есть сентенция, суть которой в том, что если бы учителя жили дольше учеников, то, наблюдая за творчеством учеников, они могли бы делать ряд глубоких, чрезвычайно важных открытий о себе и своем творчестве. Поэзия Генделева может открыть Волохонскому что-то такое, чего он о себе не знал?

– Я не могу служить alter ego Анри Волохонского, с которым лично вообще не знакома. Знаю только, что Миша глубоко его почитал как человека и поэта. Еще знаю, что одобрение и порицание Волохонского считались весомым критерием поэтической удачи и неудачи не только у Генделева, но и у других израильских поэтов, писавших по-русски. Не знаю, был ли Волохонский учителем Генделева, но если была такая вещь, как израильская школа поэтов, пишущих по-русски, Волохонский играл в ней роль мэтра. О том, что это вообще такое: «израильский писатель или поэт, пишущий по-русски», в отличие от «русского поэта или писателя, живущего в Израиле», придется сказать несколько слов, поскольку Генделев до последнего дня и последнего стиха настаивал на том, что он – «израильский поэт, пишущий по-русски». Добавлю, что двойственное существование поэта в русской и нерусской речи по всем параметрам израильской

действительности давало тот накал, который заставлял светиться генделевскую строку. Вне этого напряжения в генделевской цепи стихи получались пресными, то есть, с точки зрения самого поэта, вообще не получались. Возможно, именно поэтому, уезжая в Москву на своего рода ПМЖ, Миша сказал мне извиняющимся тоном: «Стихов я все равно больше не пишу». Однако вернемся к разнице между «израильским поэтом (писателем), пишущим по-русски» и «русским поэтом (писателем), живущим в Израиле». Заключается она не столько в подспудном самоощущении (жил же в Израиле русский со всех сторон человек, получивший премию за стихи на идише, и вопросом, был ли он русским поэтом, писавшим на идише, или идишским поэтом русского извода, никто не задавался), сколько в осознанном и принципиальном предпочтении и освоении первым, в отличие от второго, еврейской и израильской темы, культуры, мироощущения. Вот эти осознание и предпочтение и составили основу генделевской образной системы в ее израильском варианте, весьма отличном от прежнего, ленинградского. К Волохонскому эта сторона генделевской поэзии имела весьма опосредованное отношение. Влияние Волохонского сказалоь на формальной стороне творчества, на одержимости Генделева поэтической теорией, на почти маниакальном внимании к поэтической точности всех составляющих стиха, на суровом и беспощадном критическом отношении к собственному и чужому стихотворчеству.

– **В наше время по-разному складываются взаимоотношения художника с «сильными мира сего». Эрнест Хемингуэй, к примеру, корил Скотта Фицджеральда за дружбу с магнатами, хотя сам от такой дружбы не бежал, правда, никогда не смотрел на них снизу вверх и не мифологизировал. Это заметно и в «Снегах Килиманджаро», и в «Недолгом счастье Френсиса Маккомбера». Пошло ли впрок Михаилу Генделеву знакомство с некоторыми олигархами? Отразилось ли как-то на его творчестве?**

– Миша не был по натуре своей ни подхалимом, ни господским слугой, что не раз доказывал, яростно кусая руку дающего. Чувство собственного достоинства было у него воспаленным, поэтому скандалы с властью имущими, сопровождаемые новым периодом безденежья, следовали в его жизни один за другим. С другой стороны, Генделев испытывал сладострастный интерес к власти и силе, основанных на интеллекте. Компания людей повелевающих была в его глазах не менее интересна, чем компания людей созидающих. Генделев, богоборец и демиург, не видел ничего неправильного в возлежании у праздничных столов наряду с олигархами, как Аполлон и Гермес не видели ничего зазорного в общении с Аресом и Гефестом. Более того, Миша был уверен, что поэт, являясь самодержцем по присвоенным ему свыше качествам, должен быть почетным гостем на пиру жизни. Поэтому олигархи и имущие люди не столь одиозного звания, обеспечившие поэту лечение и возможность существовать достойно, исполняли роль меценатов, что не возбраняется. Ничем этически сомнительным эти контакты, насколько мне известно, отмечены не были. То, что благодаря таким людям поэт смог продлить себе жизнь на несколько лет, несомненно пошло ему на пользу, а повлиять на творчество эти знакомства не могли: поэт к тому времени был уже полностью сложившимся.

– **Как вам представляется, насколько большой должна быть дистанция между уходом поэта из жизни и началом серьезного научного изучения его творчества? Нет ли здесь опасности, что «наука о Генделева» будет напоминать продолжение «Бродской индустрии», начавшейся еще при жизни классика, но – в случае Генделева – ранее отсутствовавшей?**

– На мой взгляд, дистанцию определяет потребность времени в данном поэте, а мы живем в эпоху необычайного убыстрения времени: то, что считалось делом

поколений, происходит сегодня на отдельном этапе человеческой жизни. Поэтому вовсе не удивлюсь, если «генделеведение» возникнет очень скоро. Современная наука изучает не столько правила, сколько отклонения от них, поэтому генделевский стих, в силу его русской нерусскости, а также тщательно сконструированной суггестивности в сочетании с бешеной пассионарностью, несомненно интересен для изучения уже сейчас. Вместе с тем, не могу взять в толк, кто может поставить «генделеведение» на поток и превратить его в конвейер? Кому может быть от этого польза? Кроме того, хочу выразить сомнение в правильности определения «Бродская индустрия». Поэзия Бродского несла в себе достаточно новизны для того, чтобы быть востребованной в постсоветском литературоведческом пространстве и без якобы инспирированного поэтом и его окружением исследовательского конвейера. Вместе с тем, Бродского и Венцлову уже в дни их молодости обзывали «англосексами», а оказавшись в США, Бродский пошел на сознательное сближение с американской поэзией. Вполне возможно, что сочетание русского языка, последнего для обоих поэтов, с нетрадиционно-российским мироощущением и приверженностью иной литературной традиции покажется исследователям столь же интересным у Генделева, сколь и у Бродского. К процессу индустриализации «генделеведения» это не может иметь сущностного отношения.

ОН, КАК ПЕТРОНИЙ, БЫЛ АРБИТРОМ ИЗЯЩНОГО

Ἀδελῖ Ἐαδελῖ ἰεῖνὸ ἀεῖ



– Несомненно, внелитературные пристрастия подчас играют колоссальную роль в жизни поэтов и писателей. Могли бы вы назвать какое-нибудь далекое от литературы увлечение Михаила Генделева, которое подспудно или явно влияло на его творчество?

– Если бы Миша не стал поэтом, он стал бы дизайнером интерьеров. Или дизайнером одежды. Или знаменитым шеф-поваром. Это все, помимо поэзии, были его страсти. Он, как Петроний, был арбитром изящного. Он уже с трудом дышал и с трудом ходил, но все равно таскался по блошиным рынкам за новыми бранзулетками. И еще одна страсть была его неотъемлемой частью и даже образом жизни: принимать и кормить гостей. И в Москве, и в Иерусалиме у Генделева был настоящий салон – в самом прямом и сильно забытом смысле этого слова. Насколько серьезно все это влияло на его творчество? Сам Миша старательно отделял себя светского (этот образ он выстраивал на протяжении многих лет, и он сам по себе является произведением отдельного искусства) от себя поэта. Но я все же осмелюсь предположить, что рафинированность его поэзии – часть поиска изящного в окружающем мире.

– **Как израильский литературный истеблишмент – я имею в виду и чиновников от литературы, и ивритоязычных литераторов первого или условно первого ряда – относился к Генделеву и как Генделев относился к нему? Не страдало ли его самолюбие от отсутствия должного внимания, не с этим ли были связаны частые наезды поэта в Россию?**

– С истеблишментом у Миши были не самые лучшие отношения. В частности, из-за трудностей перевода. Его поэзия ведь очень насыщенная, многопластовая. Ее нелегко понять, еще труднее перевести. Кроме того, Миша был очень эксцентрическим человеком. Он этот истеблишмент всячески эпатировал. Впрочем, со временем его научились ценить. Так, например, его пригласили на Международный фестиваль поэзии в Иерусалиме в качестве израильского поэта. С ним дружил Хаим Гури, классик израильской поэзии. Но совершенно очевидно, что почувствовать настоящее признание и отведать славы Генделев мог только в России. А поэту слава нужна как воздух, он же не физик какой-нибудь. И московские котировщики поставили Генделеву высший бал. В этом смысле последние десять лет Мише жилось комфортно. Вот если бы еще не болел...

– **Поминая Генделева на сайте «Букника», вы писали: «Когда мы хороним своих близких, то утешение – хоть какое-то – можем найти только в памяти о них. Миша создал такой огромный прекрасный мир, которого нам хватит до конца нашей жизни. Любить и помнить – вот все, что нам осталось». Что больше всего запомнилось из вашего общения с Генделевым?**

– Вот Миша открывает мне дверь: «Здравствуй, Арканчик!» Мы целуемся, я прохожу в комнату. «Рюмку выпьешь?» И не дожидаясь ответа: «Значит, так. У меня сегодня суп из бататы, салат с креветками и цыпленок-монсере». Приходить к нему в гости, находиться в поле его бесконечной доброжелательности – это был всегда праздник. Генделев вообще очень любил праздник и умел его создавать. Один из сборников его стихов так и называется: «Праздник».

– **Рассуждая об искусстве, Поль Валери писал: «Всякий поэт будет в конце концов оцениваться по тому, чего стоил он как критик (свой собственный)». Умел ли Генделев критически относиться к своему творчеству?**

– Я совершенно не согласен с этим утверждением Валери. Мне представляется, что всякий поэт будет в конце концов оценен по тому, какие стихи он написал. Миша написал очень много хороших стихов. Настолько хороших, что многие начинающие поэты видели в нем мэтра. Что же касается самооценки, то, разумеется, Миша знал себе цену. Для него в поэзии был лишь один соперник – Иосиф Бродский. И только Бродского Генделев ставил выше себя. И еще два слова, если редакция мне позволит. «Себя губя, себе противореча» – это не про Генделева, это – про Мандельштама. А Мише, хотя он тоже еврей, жизнь совершенно не мешала. Он любил ее, и она ему очень шла.

КОТЕЛКИ И ПЕНСНЕ СТАРЕЮЩЕГО ГЕНДЕЛЕВА – МИШУРА И СЕРПАНТИН

*Άαι υγι Έσαδυααά i tyo, i oīcaēē, āi ādāēiū ūē āēdāēōīd Έçāō āēiūēīā
āi à «Êi i ādīi ōū»*



– Рассматривая фотографии Генделева, удивляешься – при определенном сходстве, на тебя смотрят чуть ли не разные люди: шикарный дягелевский тип, чистый Воланд, вылитый Мик Джаггер... Неизменным остается одно – еврейское происхождение этих «разных людей». Чем можно объяснить подобную мимикрию и почему она оставляла не тронутым еврейское нутро Генделева?

– Ваш вопрос имеет отношение к внешней, человеческой, ролевой, бытовой шкуре, шкурке, Михаила Самуэльевича Генделева – великого русского еврейского поэта, к его социальным связям и позам, не имеющим отношения к тому, что было для него по-настоящему важным, к тому, что осталось по-настоящему важным после него. Совершенно не важно, что Билл Гейтс ест гамбургеры, неважно, что письма Гоголя в целом неинтересны, смешна, нелепа личная жизнь великих композиторов; котелки и пенсне стареющего Генделева – это мишура и серпантин, которыми он заполнял свою жизнь в свободные от стихов минуты, часы, годы. Генделев считал себя – и был на самом деле – шофаром, иерихонской трубой своих обоих теряющих и обретающих язык народов и, когда в него не дул Г-сподь, оставался пустоватым, звонким, вычурным, драгоценным, бессмысленным бараньим рогом, от которого смех, радость, раздражение – только друзьям.

– Возвращение в Россию, в здешнюю среду Михаила Генделева у меня ассоциируется с еще одним возвращением – Василия Аксенова. Что связывало таких разных людей и художников в последние годы жизни? Не носило ли их товарищество, помимо всего прочего, признаков некой «литературной стратегемы»?

– Михаил Генделев, как и положено прекрасному поэту, наполнялся смыслом, только превращаясь в стих, на остальных полях его всегда настигало полное фиаско, может быть, за исключением дружбы и любви. Его литературные и карьерные стратегии, его финансовые и политические предприятия и проекты бывали более удачными или совсем провальными, но никогда не волновали его по-настоящему, рассыпались и забывались в ту же секунду, как только он начинал писать. Даже его литературные суждения и пристрастия не имели к поэту Генделеву прямого отношения: его увлечение фэнтези, цитирование Северянина, разговоры с Василием Павловичем

Аксеновым в режиме «старик, ты гений» располагались на той же поверхности, где статуэтки, пенсне, котелки и кот Васенька, который, пожалуй, был поважнее.

– Мы живем в эпоху, когда не существует более традиции «культу гения» – начавшись в конце века XVIII-го, традиция эта почилла в самом конце XX-го. «Культ» включал в себя устойчивые варианты отношений между художником и аудиторией. Нынче высокомерные позы заказаны художнику: аудиторию он воспринимает не иначе как сотрудника. А как внимала современная публика несовременному Михаилу Генделеву, поэту, которому были присущи и «высокомерные» позы, и викторианского образца снобизм?

– Стихи Генделева, начиная с 80-х, были полной противоположностью этому видимому ему – настолько цельным, последовательным, точным был создаваемый ими мир, настолько лаконичным, весомым, законодательным был его слог, что даже нередкие в разные периоды «барочные» упражнения в сарказме не ломали строя. И именно этот Генделев, невидимый Михаил, не литератор, а до ветхозаветной степени сращенный с собственной книгой автор – «Книга Иеремии», «Книга Иова», «Стихотворения Михаила Генделева» (именно так называлась его первая из лучших книг, черная) – танковый корпус его стихов – нуждается в исследовании, в перепрочтении, в изучении наизусть.

– В одном из интервью, отвечая на вопрос, на чем вы выросли как литератор, вы сказали, что «вся адресация в моем романе “Близнецы” видна невооруженным взглядом», после чего перечислили тех, кто сформировал у вас и вашего героя именно такой способ мыслить. «Они принадлежат к литературе второй половины XX века, у них есть родители в литературе первой половины XX века. Каждое место, в которое попадает мой герой, связано с определенной литературой». Это говоря о прозе. Зайди разговор о поэзии, о ваших поэтических сборниках, о поэтических предпочтениях, какое место в этом разговоре занял бы поэт Михаил Генделев?

– Миша был моим другом и учителем, Горацием, Макаренко, Штольцем. Всем своим навыкам литератора я обязан ему, гораздо больше, чем мне бы хотелось. Моя зависимость от него зачастую очевидна, но даже там, где я свободен от его влияния, – это даренная им свобода. Он был трудным другом, но педагогом – замечательным.

При всей любви к жизни Генделев никогда не забывал о смерти (и дело тут не только в болезни). Это отношение к тому, что лежит за бытием, сделало его тем, кем он в итоге ушел от нас, – свободным человеком. Кто-то из теоретиков искусства подметил однажды: люди, как правило, не способны развивать свои мысли за той гранью, где она ослепляет и манит, и именно это обстоятельство является для поэта значительным преимуществом. Этим подспорьем успешно пользовался Генделев. И видимо, не только в поэзии. Генделевские маски, «моноспектакли», может, и не имели «прямого отношения» к его поэзии, но, как мне кажется, были частью его Игры – с «материей», «временем», «нескончаемостью»... Он был поэтом решительного, яркого и в то же время выверенного поступка. Его поэтический дар и поэтическая же отвага открывали нам (по Бодлеру) вот это существо, вот эту вещь, в итоге – вот эту дверь, за которой все становилось Прозрением, Промыслом. Поэзия Михаила Генделева еще долго будет звучать в пространстве той современной русско-еврейской культуры, которая сегодня противостоит бестолковым блужданиям нашей брэнной жизни, стараясь приблизиться к тому, что бесконечно близко и в то же время бесконечно далеко.

Вы читали? *Михаил Горелик.* [Пять французских слов // 2009, № 5](#)

Реакция. Женщина, которой под восемьдесят, коротко побывшая ребенком в Палестине, прожившая затем такую насыщенную событиями жизнь, посмела не вспомнить что-то более существенное о Ближнем Востоке, чем арабы и т. д. Какой кошмар для Вас! Интересно, Вы после этих двух серий фильм продолжили смотреть или сразу все ясно стало? Убожество – эта Ваша рецензия! И национальная озабоченность...

Михаил

Интернет

Редакция. Очень жаль, что критическая статья Михаила Горелика появилась преждевременно, до того, как были увидены все серии «устного романа» Лунгиной. Женщина с прекрасным образованием и замечательным русским языком очень доверительно говорит со своей аудиторией. Покровительственный, а временами явно осуждающий тон комментатора здесь неуместен. Кстати, само слово «европейка» считается устаревшим.

Елена Левина

Интернет

Наш ответ. Вообще-то я не склонен вступать в дискуссию по поводу оценок своих текстов. Тем паче (устар.) что авторы полемических реплик определенно не нуждаются в моем ответе. Отвечаю без уверенности, что поступаю правильно.

Жизнь Лилианы Лунгиной (1920–1998) совпадает с советской эпохой: первое советское поколение – не только по времени рождения: ее родители приняли решение покончить с прошлым, построить прекрасный новый мир, воспитать дочь в его духе; она должна была стать новым человеком нового мира, где нет ни иудея, ни эллина. Разрыв с прошлым – пафос времени, во всяком случае для среды ее родителей. Национальность никакой роли тут не играет: русские и нацмены объединены общим энтузиазмом. Другой вопрос, что для евреев разрыв особенно кардинален: у русских все-таки оставался язык и литература – культурное наследие, справиться с которым новым властителям страны удалось только отчасти. Надо было переходить на эсперанто.

На фото прадед в ермолке, дед-сионист, отец, сделавший судьбоносный выбор для себя, для своей дочери, для своих внуков. Символическая смена имени: был Зяма, стал Зиновий – общий алгоритм времени. Поколение Лунгиной – первое ассимилированное поколение: из еврейского мира не уходила – родилась за тыщу верст от него, начала с чистого листа. Русская женщина еврейского происхождения. Еврейское сознание – естественная реакция на национальные обиды, притеснения, ограничения. Советская власть, а порой и простые русские люди не давали забыть о происхождении. Но то были внешние импульсы – внутренне с еврейством ничего не связывало. Евреи, во множестве окружавшие ее – в школе, в ИФЛИ, в профессиональном и дружеском кругах, были точно такими же – другим в ее среде взяться было неоткуда.

Вот Лунгина рассказывает о советских танках в Будапеште в 1956-м. Это волновало ее тогда, важность тех давних событий очевидна ей и в момент рассказа. Подавление венгерского восстания шло рука об руку с Синайской кампанией. Дело не

только в совпадении времени: оба события были политически увязаны. Советская пресса уделяла им равное место, подавала их в одном пакете, проклинала «англо-франко-израильскую агрессию». О Венгрии Лунгина помнит – о Синае нет: боровшиеся за свободу венгры близки – евреи нет. Никому не интересные провинциальные заморочки на краю исторической сцены. Вытеснено из сознания, забыто.

Пребывание в Палестине в гостях у бабушки, куда десятилетняя Лилиана ненадолго приезжает с мамой, – на чем я в своем отклике останавливаюсь – очень и с этой точки зрения интересно. Палестина – земля трех больших пересекающихся мифов: еврейского религиозного, сионистского и европейского (христианского и постхристианского). Любой человек, образованный и необразованный, в том числе, разумеется, и ребенок, осознанно или неосознанно ставит пейзаж в контекст истории и культуры. Девочка видит пальмы, море, фелюги аборигенов, пляж – и только: как если бы это был Тайланд или Мозамбик. Никаких культурных коннотаций. Да откуда и быть им? Каждый из нас дышит в детстве воздухом семьи.

Это не критика, уж тем более не упрек – это анализ сознания.

Ничего этого интернетные оппоненты в моем тексте не прочли – прочли совершенно иное: автор (то есть я) приходит в ужас от отсутствия национального самосознания у маленькой девочки, грозит грязным еврейским пальцем, топает ногами, произносит бессмысленные обличения самым непозволительным тоном, а ведь она так хорошо говорит по-русски! Какая все-таки гадость эта ваша заливная рыба!

Что касается «европейки», это аллюзия на расхожую цитату Мандельштама.

«Обаятельный рассказ красивой пожилой дамы, обращенный не столько к залу, сколько персонально к каждому зрителю, иллюзия пребывания в гостях, живого общения. Олег Дорман – смиреннейший из кинобеседников: невиден и неслышен. Лунгина говорит не с ним – со мной, улыбается не ему – мне; сейчас чаем угостит: вам с каким вареньем? <...> Вокруг нее вращаются миры, страны, эпохи, люди».

Это из моего отклика: высокая оценка фильма, приятное, уважительное отношение к его героине.

Пользуясь случаем, хочу поздравить режиссера «Подстрочника» Олега Дормана и всех участников проекта с выходом фильма на телеэкран и с заслуженным успехом.

Михаил Горелик

ВЗАИМОСВЯЗИ

Ôðèãðèõ Áððáí î àò ò

В 1970–1980-х годах Фридрих Дюрренматт написал серию эссе об Израиле. В «Чейсовской коллекции» издательства «Текст/Книжники» готовится издание этих текстов. Мы предлагаем вниманию читателей фрагмент эссе «Концепция» (1975).

Университету Бен-Гуриона в Беэр-Шеве с благодарностью посвящаю

1.

Почти каждого, кто посещает Израиль, эта страна совершенно спонтанно побуждает к размышлениям, и в то же время духовный подъем, от которого голова идет кругом, имеет свои негативные стороны. Если кто-то вроде меня впервые приезжает в Иерусалим с готовой речью, радуясь тому, что ее нужно только прочитать – сначала в Иерусалиме, потом в Хайфе и, наконец, в Беэр-Шеве, – он глубоко ошибается: вряд ли найдется еще кто-нибудь, кто ступал на Священную землю столь же наивным, как я. Я с ужасом констатировал, что моя речь не только не завершена, но и не может быть завершенной, так как политическая ситуация, в которой находится ваше государство и которая, кажется, все более усугубляется, заставила меня дополнить мою речь, как только я ее произнес, новым предисловием, – хотя бы потому, что страна и населяющие ее народы показали мне задним числом то, что я, собственно, хотел и должен был сказать, когда писал в Швейцарии речь с намерением выступить с ней в Израиле. Я сознаю, что, в сущности, понял свою речь лишь сейчас, лишь сейчас мне открылся ее смысл, а когда я писал ее впервые, мне было ясно только одно: учитывая события, в которые вы втянуты, невозможно, например, делать литературный доклад о том, есть ли у театра будущее или нет и в чем его назначение сегодня. Подобные вопросы сейчас совершенно незначительны. Об этом не стоит размышлять. Но именно потому, что я пытался сказать по поводу Государства Израиль нечто основополагающее и это основополагающее становилось для меня все яснее с каждым днем моего пребывания в этой стране, моя речь становилась все подробнее – до бесконечности. В Цфате, недалеко от ливанской границы, в небольшом, продуваемом ветрами горном городке – каменистом гнездышке, откуда, согласно традиции, стала распространяться каббала, без десяти три ночи я пришел к мысли, что это будет последнее предисловие, которое мне понадобится сочинить. Но уже через два дня в Хайфе я снова начал его переписывать: страна, по которой я путешествовал, и люди, с которыми я встречался, заставляли меня взглянуть на Израиль по-новому; я писал с обеда до самого вечера, было уже восемь часов, и люди ждали меня, а я все никак не мог завершить свое предисловие. Когда же я наконец, спустя три четверти часа, прочитал его терпеливой публике, то почувствовал облегчение: наконец передо мной лежала последняя редакция моей речи. Но уже через день в Беэр-Шеве мне стало ясно, что я должен переписать всю речь – не только предисловие, но и то, что я сочинил в Швейцарии. Я работал всю ночь, чтобы затем прочитать новый окончательный вариант, после чего уже в Иерусалиме, в своем кабинете в гостинице «Мишкенот-Шаананим», снова принялся обдумывать все сначала; а сейчас, по прошествии более трех месяцев, давно возвратившись в свой кабинет в Нойенбурге, я все еще пишу свою уже давно произнесенную речь, которая меня не отпускает, которая взяла меня в плен, опутав сетями мыслей. Одержимый желанием закончить ее, я не могу от нее оторваться, и мне любопытно узнать, куда еще умчит меня штормовой ветер Страны Израиль; даже и здесь,

на своей родине, у меня нет сил сопротивляться ему: такое ощущение, будто дух далекой страны гонит меня – не вдаль, а на встречу с самим собой.



2.

Поистине странная ситуация. Я не могу оторваться от своей речи, а моя публика рассеялась: вы, к кому я обращаюсь со своим докладом – воображаемая публика; те, кто слушал меня в Иерусалиме, в Хайфе, в Беэр-Шеве, остались вместе лишь в моей памяти; но именно поэтому мне представляется важным, чтобы у вас была ясность в отношении меня, чтобы вы, с одной стороны, знали, как я думаю, и, с другой стороны, обратили внимание на некоторые основополагающие вещи, без которых вы, возможно, неправильно поймете мою позицию по отношению к Израилю. Казалось бы, нет ничего проще, чем изложить свои мысли. Однако на самом деле даже слово «мир» произносят так часто, что оно звучит почти как объявление войны. С учетом этого мое предприятие становится еще рискованнее, поскольку у меня драматургическое мышление. Моя цель – словами изобразить конфликт, который разыгрывается в иной плоскости, не в языковой, даже если многие составляющие этого конфликта представляются еще менее реальными, чем слова. Да и конфликт не всегда поддается непосредственному изображению. Часто лишь непосредственное столкновение с ним помогает выработать соответствующие ему

понятия. Так, различие между экзистенциальным и идеологическим я уяснил себе лишь тогда, когда стоял на плато Голан. Глубоко внизу – Генисаретское озеро с далекой Тивериадой, ближе – несколько деревенских общин, внизу под обрывом – долина Иордана, самая плодородная область страны, когда-то болотистая. Если бы между Израилем и Сирией на самом деле был мир, было бы безразлично, кому принадлежит Голан, разумнее всего: тому – по мысли Брехта, – кто сумеет сделать его плодородным; если же этого мира нет, то для того, кто должен защищать Генисаретское озеро и долину Иордана, Голан становится экзистенциально важным; а для того, кто хочет напасть на Израиль, хотя он и не должен нападать, овладение этими вершинами становится идеологической необходимостью, поскольку война, которую кто-то хочет вести, хотя и не должен этого делать, является идеологической войной. Я был в Иерусалиме, я видел две великолепные мечети, несколько достойных, много обыкновенных, обыкновенных и необыкновенных церквей и одну простую старую стену. В мечетях молились мусульмане, в церквях – христиане, у старой стены – евреи. Единство Иерусалима, возможность молиться там верующим трех религий – требование экзистенциальное. Несмотря на это, перед Шестидневной войной^[1] евреям нельзя было молиться у Стены Плача, их синагоги были разрушены, их могилы осквернены. Я ехал от Голана вдоль горы, на которую поднимался Иисус Назаретянин, где он садился и говорил со своими учениками. Вообще, я не верю ни в его чудеса, ни в то, что Б-г создал его неестественным способом, – для чего бы Ему такое могло понадобиться, – я не верю ни в воскресение, ни в вознесение; ведь если Б-г есть, потому что Он есть, то Он избежит любой театральности по совершенно простой причине: тот, кто есть, не нуждается в видимости, чтобы доказать свое бытие. Еврей Иисус из Назарета ясно видится мне сыном человека, а не Сыном Б-га, в этом пункте я уступаю моему сомнению, но я верю Иисусу так же твердо, как тверд я в своей вере, ведь нет ничего сомнительнее, чем вера, которая подавляет сомнение. Если есть Б-г, существование Которого неподвластно человеку, то сомнение в Его существовании есть не что иное, как избранная Б-гом вуаль, которой Он укрывает Свой лик, скрывая Свое существование; если же Б-га нет, то все слова, с помощью которых мы рассуждаем о Нем, мы бросаем на ветер, который уносит их прочь, как все человеческие слова. И все же меня удовлетворяют слова этого еврея, который называл себя Иисусом Назаретянином, вне зависимости от того, говорил он их или нет. Убеждает не происхождение слова, но само слово. Если бы на горе, которая, возможно, вовсе не является именно той горой, на которой он говорил, не было церкви, я крикнул бы моему другу Тобиасу, который на своей машине возил меня по Стране Израиль: «Остановись!» И я могу вообразить себя бегущим наверх горы для того только, чтобы представить себе: это было здесь. Здесь он говорил. Но на горе стояла церковь, то есть идеология, а я не поднимаюсь ни на одну гору для того, чтобы найти там церковь, я поднимаюсь для того, чтобы удостовериться, – и при этом неважно, заблуждаюсь я или нет, – здесь, на этой каменистой почве, он произнес самую потрясающую речь, какую я только знаю, всем речам речь, речь, рожденную из иудейской религии, но произносил он ее наверняка не в церкви. Тем не менее если это здание на горе является для меня идеологией, то для других оно может быть чем-то экзистенциальным: к примеру, священным напоминанием о Нагорной проповеди; в то время как мне именно это здание, построенное в память о Нагорной проповеди, мешает вспомнить ее саму. Различие это столь же пустяковое, как и все различия в вере. Ужасными они становятся, когда объективируются, когда то, во что верит один, принимается как нечто объективное: но вера есть нечто субъективное и поэтому экзистенциальное. Как и во что люди верят – это уже нечто иное, различия есть и в том, верит ли человек твердо или нетвердо, верит ли он в то, что он знает, или знает, во что верит, считает ли кто-то возможным систематизировать веру или нет, склоняется ли верующий к догматике или стремится к диалектике. Насколько ясным казалось сначала различие между экзистенциальным и идеологическим, настолько же противоречивым оно стало сейчас. Это кажется парадоксальным. Однако понятия, которые мы используем для

изображения конфликта, относятся к мышлению, а не к конфликту. Парадоксальное, противоречивое создается нашим мышлением; возможно, потому что само по себе непротиворечивое мышление в конечном счете невозможно, по всей видимости, потому, что в противоречивом и парадоксальном, возникающем по необходимости, достигается граница познаваемого, у которой, вероятно, человек способен прозревать правду. Если связать это с экзистенциальным, а именно с тем, что касается больше вас, чем меня, поскольку я, нееврей, с вашей вполне обоснованной точки зрения, веду роскошное существование, с позиций которого легко говорить, то есть с позиций вообще нельзя обоснованно говорить, – с этой экзистенциальной позиции любая политика вынужденно запутывается в противоречиях, не только потому, что любая политика включает в себе противоречивые факторы, относящиеся к ее сути, но потому, что каждый, думающий о политике, должен думать о ней и в общем, и от случая к случаю, тем самым сталкиваясь с логической проблемой, так как в сфере экзистенциального особенное нельзя вывести из общего, как в логике, напротив, особенное находится в некоем противоречии к общему. И лишь представляя вас перед своими глазами, здесь в Нойенбурге, в Швейцарии, после моей поездки в вашу страну, после всех незабываемых впечатлений, теснимый смехотворными задачами своей профессии, лишь потому, что я постоянно обдумываю ваш случай, словно бы это был мой случай, я обретаю право говорить о вашем случае, поскольку ваш случай становится и моим случаем. Я знаю, вы в замешательстве от моих слов, они не помогают вам, я признаю, что, хотя я и делаю ваш случай своим, в опасности все же вы, не я, и вам может быть безразлично, какой противник вам угрожает, экзистенциальный или идеологический, поскольку суть войны в том, что она, даже если это война идеологическая, превращается в нечто экзистенциальное: в катастрофу. Есть лишь один способ избежать ее: мир. И это лишь потому, что мир есть нечто большее, чем разумный выход, мир – это единственный путь, по которому люди еще могут идти; все остальные пути – тупики, и то, что постигнет нас, если мы в них заблудимся, постигнет нас независимо от того, хотели мы этого или нет; мы это выбрали. Только с этой точки зрения, принять которую мне представляется особенно разумно именно по отношению к Израилю, где ее понимают как ни в одной другой стране, я могу еще добавить: мира можно достичь только постепенно. Не тогда, когда народы в смятении, но когда они успокаиваются и постепенно настраиваются на мир. Война начинается быстро, а построение мира – процесс длительный. Парадокс мира состоит в том, что он возникает не из войны, а только из мира. Мир – это не сентиментальность, не мечта во время войны о том, чтобы войны больше не было, не противоположная сторона войны, но противоположность тому состоянию, в котором находится мир сегодня: только мир, который не является больше переодетой войной, способен привести к изменениям и – в процессе этих изменений, со временем, которое находится только в его распоряжении, – к устранению бесчеловечных отношений, в которых запутался человек.

3.

Если предположить, что я беседую с русским, французом, швейцарцем и т. д. о необходимости их государств, то они, услышав мои речи, посмотрят на меня как на идиота. Их государствам не нужно подтверждать свою необходимость. Попытка подтвердить необходимость какого-либо государства представляется не только избыточной или даже смешной, но, к сожалению, еще и оскорбительной, поскольку вызывает беспокойство причина, которая привела к постановке подобного вопроса: если необходимость того или иного государства должна быть доказана, а собеседник является гражданином этого государства, следовательно, должно быть доказано, что собеседник вообще имеет право на существование, а значит, надо привести очень серьезные аргументы, позволяющие усомниться в этой необходимости. Этим и определяется положение Государства Израиль: оно хотя и существует, но, как представляется многим, в этом не только нет необходимости, но из-за этого возникают даже дополнительные помехи: многие были бы рады, если б этого государства не было. Даже те, кто не возражает против его существования, были бы счастливы, если б его не было. Это только предположение, конечно, но все же оправданное предположение. Таким образом, я произношу свою речь на угрожающем, темном фоне, к некоему сомнительному мировому судье уже дошли с трудом расшифровываемые, замаранные бесчисленными руками и постоянно переписываемые обвинительные заключения, он еще не решился их прочитать, но он мог бы их прочитать; неизвестно, вынесет ли он после этого свой приговор, но он может его вынести, и о том, каков будет этот приговор, известно еще меньше, и где-то, за всеми мировыми кулисами, всемирный палач механически протирает свою секиру, он еще не получил приказа, но он может его получить: таким образом, моя речь, осознанно или неосознанно, является защитной речью, но в то же самое время она и обвинительная речь, и обвинение состоит в том, что через тридцать лет после Освенцима снова необходимо произносить подобную речь. Но и сама по себе моя речь о необходимости вашего государства имеет свою скрытую интригу; точнее говоря, ее ожидают трудности, которые я в данный момент хотя и не обзираю, но знаю, что они меня подстерегают: есть вопросы, ответы на которые лишь поверхностному взгляду кажутся легкими; к подобным вопросам, кажется, относится и вопрос о причине моей политической поддержки Израиля. Наверняка было бы легко перечислить идеалистические причины: как житель маленького государства, я сторонник маленьких государств; я мог бы также высказать мнение, что именно в маленьких государствах легче жить вместе людям, представляющим различные культуры или религии, хотя это был бы очень поспешный вывод; в Швейцарии у нас также есть проблемы с национальными меньшинствами, и швейцарцы, говорящие на немецком, французском и итальянском языках, живут скорее рядом, нежели вместе. Мне не нужно рассказывать, что еще происходит в других маленьких государствах, к примеру, в Северной Ирландии или на Кипре, моя особая привязанность к маленькому государству как самой разумной форме государства за последнее время резко пошатнулась. Возможно, именно по причине своей малости люди здесь столь же подвержены иррациональным воздействиям, как и жители больших государств, – будь это из-за боязни пространства или из-за комплекса неполноценности или даже из темного позыва уменьшаться еще больше, во всяком случае многие из международных карликов превратились в ненадежную и сомнительную местность. Нет, моя политическая позиция за Государство Израиль основана на гораздо более сложных размышлениях, и не потому, что писатель сам по себе склоняется к сложным размышлениям, если от него требуют речь; скорее уж потому, что обоснование трудно само по себе. Ответ на самом деле прост: я, не выступающий обычно ни за какое государство, обычно размышляющий о государствах безо всякой щепетильности, а о национализме с нескрываемой злостью, выступаю за Израиль, так как считаю это государство необходимым. И уже совсем другой вопрос: будет ли мой ответ правильным, поскольку он представляет собой утверждение, которое я

парадоксальным образом сумел обосновать не политически, а только философски. Я не сделал политического обоснования потому, что политическое происходит не по необходимости, а по произволу, точнее: из-за неудач и случайностей, из-за непредусмотренных ситуаций. Именно поэтому мир является столь непоправимо испорченным, также и с экономической точки зрения; если бы другие приматы, орангутанги, гориллы и шимпанзе, устроенные и ухоженные в зоологических садах намного лучше, чем большинство людей, если бы они могли думать, то, исходя из общего состояния, в котором находятся люди, с большим трудом могли бы прийти к заключению, что гомо сапиенс представляет собой нечто особенное. Иначе говоря: политику можно одолеть философски, не политически.

4.

И все это на мое несчастье. Должен ли я сделать политический доклад на философский манер или, что столь же сомнительно, заполнить философский доклад лозунгами, так как политика признает только лозунги. В таком случае я не смог бы обратиться к отдельному, точному, но остался бы в общем, приблизительном. Но также и там, где я должен задержаться, высказаться яснее, меня подхватывает поток речи; да, я должен стараться изо всех сил не утонуть в риторическом водовороте моего предприятия. И слабо утешает то, что говорение само по себе есть нечто легкомысленное, так как слово, если понимать его дословно, воспринимается слишком буквально, если же воспринять вольнее, становится неопределенным. Здесь не помогает даже просьба относиться к моим словам без предвзятости к языку; язык для нас – все же единственное, хотя бы отчасти приемлемое средство взаимопонимания, которое мы используем, если не хотим опуститься до жестикуляции. Но легкомысленное – тоже рискованно, и недалеко продвинется тот, кто попытается следовать за мыслью, обосновывая логически каждый ее шаг. Для продвижения вперед ему потребуется мужество. Логически обоснованное слишком часто лишь кажется логичным – если бы дело обстояло иначе, я споткнулся бы на первом же барьере. Привести доказательство того, почему нечто необходимо, в действительности намного трудней, чем доказать то, почему нечто не является необходимым, так как того, что необходимым не является, все же намного больше, чем необходимого, и это касается даже определенных государств, даже если, логически рассуждая, то, что не является необходимым, необходимо уже по той причине, что оно есть, так что, собственно говоря, нет ничего такого, что не являлось бы необходимым: поэтому Израиль необходим и для тех, кто не считает его необходимым. Но это доказательство никому не пойдет на пользу, оно хромает, как все логическое, оно справедливо лишь в сфере понятий, но вовсе не обязательно – в действительности. Однако есть еще одна причина, по которой трудно ответить на вопрос о необходимости существования Израиля, ведь речь все же идет об особом случае, а на вопрос о необходимости особого случая нельзя ответить в общем, но, если на него вообще можно ответить, то лишь исходя из особенного, – даже невзирая на опасность снова впасть в логическую путаницу. Ибо, строго говоря, я должен сейчас показать, почему Государство Израиль представляет собой особый случай, прежде чем я вообще начну доказывать необходимость этого особого случая. Однако я против особых случаев в политике. Возможно потому, что политики часто утверждают, будто их страна и есть тот самый особый случай, а я не хочу рассматривать, к примеру, Швейцарию как нечто обособленное. Напротив, я вижу в ней нормальный случай маленького государства с его нормальными добродетелями и нормальными пороками, исключая швейцарскую тайну банковских вкладов. И все же нельзя не заметить противоречие, в которое меня заманила моя же риторика: если я в самом деле утверждаю, что еврейское государство является особым случаем, то я должен помимо моей воли признать то же самое и в отношении других государств, и действительно каждое государство отличается своеобразием,

особенность же Государства Израиль в том, что история его народа не идентична истории его государства. Но и с другими народами случалось нечто подобное: у греков в течение длительного времени не было своего государства, а также у ирландцев, поляков или арабов и так далее, они населяли только провинции до тех пор, пока те снова не сформировались в государства; что же касается еврейского народа, то его история по своей сути проходила вне государства и, что еще удивительнее, также и вне своей земли, с которой его постоянно изгоняли и на которую он снова и снова возвращался. Еврейский народ выжил только благодаря непрерывности своей культуры в течение почти трех тысячелетий. Его государственные образования были эпизодами, его константой было не государство, а народ, не государственная, а социально-религиозная община, не поддающаяся точному определению, нереальная, но все же существующая. Если со стороны, история этого народа представляет собой фантастический, граничащий с невероятным, постоянно повторяющийся уход, который слишком часто ведет на грань небытия и угасания, которого этот народ избежал лишь потому, что евреи были рассеяны повсюду, так что погибнуть могли только отдельные части народа, но ни в коем случае не весь народ, значит, эта внешняя, труднообозримая и труднообъяснимая история не является сутью, хотя внутри нее и осуществлялась суть: каким образом преследуемые большинством, презираемые и в лучшем случае снисходительно терпимые меньшинства, обреченные родиться евреями, жить как евреи в любой эпохе, в любом столетии, снова и снова обретали нечто экзистенциальное. Еврейство не погибло, как погибла Античность, оно не превратилось в факт литературы, а пустило живые ростки в Средние века, в Новое и Новейшее время, стало подпочвой современности. Возможно, именно потому, что евреям было отказано во владении государством, что еврейский дух всегда загонялся в подпочву и тем самым в бессознательное мира, он сумел воздействовать из этого центра. Лишь мощью экзистенциального и этими разными уровнями можно объяснить, чем мир обязан евреям. Именно потому, что этот народ преследовался как ни один другой, его сущностная история есть история его духа, а не история его преследований. Европейский дух испытал решительное воздействие еврейского духа. Так же как еврейский народ является не расой, а социально-религиозной данностью, так и еврейский дух определяется не националистическим и тем самым государственным признаком, но теологическим и тем самым диалектическим. Я вполне сознаю, что определил еврейский дух очень односторонне, так как я воспринимаю диалектическое в кантовском смысле: как метод мышления, который пытается прийти к познанию независимо от опыта; авантюра мышления, которой человечество обязано больше, чем оно о том догадывается; подтверждается ли последующим опытом такое познание – это уже совсем другое дело. Ведь открытие Б-га есть самое судьбоносное открытие человека, независимо от того, есть Б-г или нет, важнейшие открытия после открытия Б-га – это открытия точки, нуля, прямой линии, рационального и иррационального числа и так далее. Измышления, существование или несуществование которых в равной степени бессмысленно обсуждать, – уже потому, что они оказывают свое воздействие независимо от этой проблемы. В то время как евреи придумали Б-га, Который из племенного бога, из бога среди богов, стал Б-гом-создателем, они вступили в область сложнейшей диалектики, какую только знает человеческий дух, в область, видимо, самой плодотворной духовной драматургии. Не только Сам Б-г, концепция Которого постоянно изменялась и по-новому обдумывалась, но также и отношение концепции Б-га к народу и к отдельному человеку постоянно вбирало в себя новые аспекты, причем в этом мыслительном процессе, продолжающемся по сей день, народ и отдельный человек постоянно определяются заново. Нет никакого смысла рассматривать этот мыслительный процесс более тщательно, по той простой причине, что я не в состоянии этого сделать, хотя необычайно заманчиво было бы погрузиться в столь сложные исследования, как, например: в какой мере диалектический путь ведет от Б-га Авраама к Б-гу Маймонида^[2], затем от Б-га Маймонида к Б-гу Спинозы и от Б-га Спинозы к Б-гу Эйнштейна, ходы мысли, которые, как мы догадываемся, являются лишь аспектами

одного-единственного мощного хода мысли. И все же, сколь бы ни был огромен поток еврейского мышления и богатство идей, которое он нам принес, еще важнее представляется мне следующее: если я назвал евреев диалектическим народом, так как они сами по себе являются теологическим народом, то эта диалектика должна была со временем обернуться против самого еврейского народа. Если однажды была создана идея Б-га-творца, Б-га в себе, рядом с Которым не было других богов, то евреи должны были постепенно вступить в противоречие с самими собой, поскольку в иудаизме человек связан с Б-гом посредством своего народа. Отдельный человек не существует вне своего народа, а народ существует только благодаря союзу, который он заключил с Б-гом. Но если существует только один Б-г, то и все другие народы должны подчиняться этому Б-гу, и не только народы, но и отдельные люди; союз Б-га со Своим народом подвергается опасности, сверхнациональное заступает на место национальной религии. Так и появилась сначала еврейская секта, расширившаяся до мировой религии, в меньшей степени благодаря Иисусу из Назарета, чем Павлу. Сначала. Христианство же в течение более чем двух столетий рассматривалось как частный случай иудаизма, вдобавок само христианство было вначале опутано иудейской диалектикой, оно пыталось примириться с еврейской идеей Б-га, отчего возник сбивающий с толку распад христианства в начале его существования, оно растворилось в непримиримых противоположностях, в направлениях, погрязших в спорах о том, кем же собственно был Христос по своей природе, поскольку Б-г может быть только один, был ли он божественным, полубожественным или только богоподобным. Христианство было сразу же потрясено теологической атомистикой. Но все же существенными являются не эти метафизические трудности. Христианство упраздняет иудаизм, но тем самым оно упраздняет и Закон, человек становится свободным, он освобождается от Закона, связь Бога с человеком становится непосредственной. Есть лишь Бог и отдельный человек. Тем самым отдельный человек попадает в парадоксальное положение, он свободен и все же несвободен, спасен от грехов и в то же время грешен, Бог, Который стал человеком и спас человека, воскрес, но все же снова вознесся на небо, в свое величие, и покинул человека в его ничтожестве. И этот человек все еще ждет окончательного возвращения Бога, Страшного суда, верующие уходят поколение за поколением, но пока еще ничего не происходит. Когда ослабевает надежда, что Он в ближайшее время возвратится, изобретается христианская метафизика, христианские небеса, и чтобы эти небеса не шатались от неопределенности, но обрели под собой почву и были достижимы, возникает нужда в гениальной вспомогательной конструкции. Церковь заступает место гневающегося Бога, Который после испытаний на Земле очевидно не торопится повторять Свой эксперимент и снова бродить среди людей. Сооружается человеческое учреждение, способное от имени Бога отпускать человеку его грехи, независимо от того, верят или не верят в это те, кто осуществляет службу, — священна сама функция, не функционер. Я сам христианин, точнее, протестант, еще более точно, очень странный протестант, такой, который отвергает любую видимую церковь, такой, который считает свою веру чем-то субъективным и верит в то, что любая попытка объективировать веру фальшива, такой, для которого субъективное мышление важнее, чем объективное. Хотя я и признаюсь в этом, мне все же трудно это произнести, не от стыда, а от ярости. Христианство завоевало мир не в силу своей веры или своих мучеников — утверждать подобное было бы слишком самонадеянно перед фактом огромного количества язычников, мусульман и евреев, которые зачастую от имени распятого были обречены на еще более ужасную смерть, и перед лицом бесчисленного множества тех христиан, которые подвергались преследованию и уничтожению потому, что они верили чуть-чуть по-другому, чем христиане, которые в тот момент были у власти. Нет, христианство пришло к власти потому, что оно проявило себя как идеальная идеология для власти. Его открыла сила, а не бессилие, и не какая-нибудь сила, а мировая держава, империя. Этой империи понадобилась не национальная, а интернациональная религия, чтобы утвердиться в небе, которое простиралось над ее народами. Римский

император, по всей вероятности, никогда всерьез не верил, что он бог, если он не терял здравого рассудка; но то, что он заместитель бога, напротив, льстило ему, как и почти каждому человеку, которого уговаривают принять подобный пост. И если император стал заместителем бога, то папа стал заместителем Христа. Один заместитель стоял напротив другого заместителя. После падения Римской империи начинается европейская история, она развивается теперь не из одного пункта, не из Рима, который завоевали козы, щипавшие траву посреди руин. Эту историю многих народов лучше всего можно передать с помощью драматургического приема: каждая часть триединого Бога материализуется и со временем становится независимой от других материализовавшихся частей; историю можно изобразить как умышленную пародию на метафизику: Бог олицетворяет империи, отчизны и т. д., пока не становится тотальным государством; Христос воплощает церковь, которая становится тотальной церковью, в конечном счете – церковью без Бога; а Святой дух – непостоянный голубь, сначала вызывает ереси, затем превращается в дух и в конце концов абсолютизируется в науке.



Вид с плато Голан

5.

Без вымысла не обойтись. Мне представляется, что я предпринял попытку сравнивать между собой скопления облаков. Только покажется, что различие уже найдено, как это различие – стоит только взглянуть пристальнее – тут же снова исчезает, одно скопление облаков похоже на другое, обе облачные массы проникают друг в друга, сливаются. Так иудаизм и христианство испытали влияние древнегреческой философии, так в иудаизме и христианстве присутствует мистика со всеми ее ответвлениями и отростками ответвлений, наряду с официальной религией есть и неофициальная. Если вознамериться все это сравнивать, то уйдешь еще глубже в безбрежность, в которой и без того находится моя речь, и вряд ли можно представить себе речь более запутанную, чем та, какой сейчас представляется моя. Даже если допустить, что в этом повинно еще одно обстоятельство. Сама ситуация: говорить с евреями в качестве христианина и слушать христианина, будучи евреем, – вызывает некоторое замешательство, но не потому, что вы еврей, а потому, что я христианин; причем замешательство возникает из-за того, что я хотя, может быть, и плохой христианин или вовсе нехрист, коммунист или атеист, но вы должны оставаться евреями, даже если вы коммунисты или атеисты. В лучшем случае вы можете быть совсем плохими евреями, сионистами, и только тогда вы будете по-

настоящему хорошими евреями. И все же этот абсурд, согласно которому я вроде бы свободен и могу не быть самим собой, в то время как вы застыли в состоянии несвободы и должны быть теми, кто вы есть, эта логически неприемлемая, но экзистенциально существующая ситуация доказывает, что нельзя даже говорить о еврейском государстве и о необходимости его существования, как я это намеревался сделать, не исследуя необходимости того, почему по прошествии более чем двух с половиной тысячелетий это государство должно было заново возникнуть; рискованное предприятие, которое не вмещается в некоторые исторические концепции, из-за чего многие считают его бессмысленным и отрицают его необходимость, я же хочу поддержать его. Но тот, кто ищет причину, должен задавать и более глубокие вопросы, о причине причины этой причины и так далее, то есть до тех пор, пока не дойдет до основополагающей концепции еврейского народа, которую тот сам себе установил в религиозных мистических древних туманах своей истории, а именно в ту пору своего возникновения, когда он не только нашел Б-га, но и осознал себя народом этого Б-га, таинственное событие, из которого мы должны исходить, независимо от того, кем является вопрошающий об этом событии: иудеем или христианином, философом или комедиантом, или и тем и другим вместе, верующим или нет, независимо от того, какие причины этого события ему мерещатся, психологические, психоаналитические или только экономические. Однажды установленное личное отношение к своему Б-гу привело еврейский народ к трудностям. Эти трудности возросли, когда он уже давно потерял политическую независимость. В угоду своей вере евреи не смогли приспособиться ни к Римской империи – за что лишились своей страны, ни к наследнице римской мировой державы, христианской церкви. Разногласия с последней были еще более роковыми: с империями можно договориться, с церквами – никогда. С христианской церковью в мировую историю вступила международная организация с твердо очерченной и четко сформулированной идеологией. Этому блестяще продуманному институту удалось эффективное завоевание посюстороннего мира. Ее завоевание потустороннего мира было еще более эффективным и продолжается до сих пор. Сегодняшний католик должен верить гораздо большему, чем ранние христиане. Идеология – резкое слово, но церковная догматика – это идеология, с помощью которой церковь оправдывает себя не как человеческая, а как божественная инстанция. Она называет себя не только непогрешимой, но и незаменимой. То, что в иудаизме дело не дошло до церкви, что синагоги нельзя сравнивать с церквами, имеет различные причины, связанные не только с властью и политикой, хотя остается открытым вопрос, что стало бы с иудаизмом, если бы он вступил на путь международной карьеры христианства, этой чудовищной карьеры к триумфу. Власть коррумпирует. Хотя подобные размышления гипотетичны, если не вовсе ошибочны, все же искушение приобрести себе приверженцев, возвыситься до мировой религии у евреев в древности возникало, и потому они пользовались дурной славой. Эта попытка должна была закончиться провалом. Б-г, провозглашаемый евреями, был слишком связан со Своим народом, слишком страстно любил его; еврейский миссионер – это противоречие по самой своей сути. Кроме того, иудаизм у своих истоков, как это ни странно, лишен метафизичности; а мир жаждет метафизики. Мессия не является неземным существом. Он – не сын Б-га, каким его впоследствии узрит христианство. Он – человек, который был предсказан. Он – помазанный царь. Иудаизм – не явленная премудрость. А явленный Закон. Он функционирует в ином пространстве, чем христианство. Закон не связан с истиной непосредственно. Закон не есть высказывание Б-га о Самом Себе. Тора определяет отношение евреев к Б-гу и между собой. Человек не должен знать то, что находится по ту сторону, – есть ли продолжение жизни после смерти или нет. Смерть допускается как смерть. Истина не является делом человека. Человеку не нужно знать того, во что он должен верить. Он должен знать, как вести себя, чтобы не прогневить Б-га, чтобы ужиться с Б-гом, под этой гигантской тенью, которая падает на народ Израиля. Этот Б-г не истолковывается. Он не поддается истолкованию во всех своих

противоречиях, настроениях, приступах ярости и разрушительных акциях. Он наказывает не в потустороннем мире. Он свирепствует по эту сторону, постоянно разрушая Свой народ. Он не щадит даже Своего храма. От этого непостижимого факта, от тайны данной Б-гом судьбы религиозность еврейского народа продвигалась вперед на ощупь. Она достраивает Закон до Всеобщего. Она проникает во все сферы жизни, так, словно Десять заповедей являются аксиомами таинственной этической и социальной математики, которая продвигается все дальше и дальше, постоянно устанавливая все более смелые связи – вплоть до недоступных пониманию, но не выходя за рамки изначального знания: есть лишь один Б-г, более могущественный, чем Его творение; однако тот, кто не выстраивает систему, никогда не выстроит догматику. Иудаизм вынужден постоянно начинать все заново от экзистенциального, возвращаться к преданию, осмысляя его снова и снова. От поколения к поколению. Исходя из жизни. В зависимости от преследований. В зависимости от диаспоры. От ситуации. Но также и в зависимости от каждого отдельного человека. Как у Кафки. Не для того, чтобы понять этого Б-га, но для того, чтобы Его вынести. Таким образом, попытка сделать иудаизм мировой религией была обречена на провал, не только из-за религии, но и из-за реальности. Еще античный мир не понимал иудаизма, насмехаясь над одиноко правящим Б-гом; маленький, незначительный народ в отдаленной провинции мира, который утверждал, что его бог – это и есть Б-г и нет никого другого кроме Него, по-видимому, утратил рассудок. Не напрасно греки называли евреев атеистами, потому что они верили только в одного Б-га, а не во множество богов. Хотя, без сомнения, были попытки создать иудаистскую догматику, хотя, по всей видимости, дело обстояло так, что в процессе истории, чем недостижимее становилось для еврейского народа собственное государство, дом его собственного Б-га, тем метафизичней становилась вера евреев, тем враждебней по отношению к вере первых христиан, которые все еще воспринимали себя как евреи, все же дело никогда не дошло до возникновения иудаистской церкви, подобной христианской. Не только потому, что не было догмы, которая церкви необходима, или потребности в ней, или не было политических оснований, так как иудаизм никогда не мог надолго укрепить эти основания, но, очевидно, и потому, что к евреям с их пророками постоянно примешивался анархический элемент: Б-г снова и снова вторгался в историю посредством отдельных личностей, которых зачастую выискивал в зависимости от настроения, причем далеко не всегда ради проведения взвешенной политики, а иногда, как в случае Саула^[3], коварного и вероломного, лишенного всякой широты натуры, которой Он одарил Давида, не говоря уже о Соломоне. Напротив, христианство, создавшее ту церковь, которую иудаизм по самой сути своей никогда не мог создать, все радикальнее откалывалось от иудаизма. Христианство отдалялось от своего истока по мере того, как оно определяло свою веру и все больше ее рационализировало, пока эта вера не превратилась в догматику. Согласно этой догматике, евреи – это неискупленный, отверженный народ, убийца Христа, хотя Иисус Назаретянин умер смертью, которая полагалась римскому государственному преступнику. Таким образом, произошло нечто диковинное, а именно то, что иудейская секта породила антисемитизм. Хотя Римская империя его уже знала, поскольку евреи, как и христиане, отказывались признать Цезаря богом: первые преследования христиан были на самом деле преследованиями евреев, первыми погромами. Но то, что делает христианский антисемитизм куда более озлобленным, заключается в том, что христианин, если он всерьез считает себя таковым, уже не может признавать за иудаизмом никакого права: именно потому, что он признает иудаизм предпосылкой своей веры, он должен отбросить его; именно потому, что он интерпретирует иудаизм по-христиански, иудаизм становится его главным врагом. Если христианин обвиняет евреев в том, что они – убийцы Бога, то еврей может упрекнуть христианина в том, что он – отцеубийца: он убил свое первоначало. Религиозные конфликты заключают в себе нечто неразрешимое. Еще губительнее становятся те конфликты, которые возникают между вознесшейся и униженной религиями: эта позиция победившей церкви, *ecclesia triumphans*, опьянение

верой до того, чтобы мнить себя владеющим истиной, настроила также и протестантизм враждебно по отношению к евреям. С этого момента в самом иудаизме началось новое диалектическое движение. Зброшенный в христианский мир, который требовал обращения в истинную веру, а когда его не было, видел в отказе воплощение всего упрямого, злого и ограниченного, копию того, кто, как когда-то дьявол, не хочет принимать благо, спасение – в пользу которого говорили все доводы разума, – в этом зловещем мире иудаизм стоял перед проблемой, как ему выжить, и не только перед ней, а еще перед вопросом, может ли он выжить вообще.



За стеной Старого города. Иерусалим. 1969 год

6.

В целом, в истории еврейского народа проводится различие между восточной и европейской эпохами. Иудаизм принимает существенное участие в духовном развитии европейского континента – даже если он отрицается или считается отжившим свое, – с Просвещением иудаизм и христианство столкнулись одновременно. Для обоих это было неприятное противостояние. Иудей и христианин предстали перед судом разума. Перед чем-то объективным. Но лишен смысла вопрос о том, является ли эта инстанция Б-жественной или человеческой: о том, использует ли Б-г, если Он считает, другую математику, чем человек, или другую логику, если Он думает. Если Б-г считает и думает, Он может делать это только по-человечески, потому что мышление и счет – это человеческая деятельность, другая Б-жественная деятельность Б-га недоступна нашему пониманию, ее для нас не существует. Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы понизить оценку Просвещения. Возможно, потому, что мы разочаровались в нем, или отрезвели, или мечтаем вернуться назад во времена беспредельной веры, назад в теплое гнездо, не затронутое сомнением. Нас охватывает дрожь, когда мы думаем о Просвещении. Просвещение, как мы предполагаем, поставило разум на место веры, но разум – это нечто холодное. Хотя мы и знаем, что разум произвел новое научное мышление, но мы отказываемся признать это новое мышление в качестве философского мышления, хотя именно это мышление изменило мир как никакое другое и добралось до областей, которые прежде относились к сфере философских спекуляций. Нельзя ответить точно, откуда возникает это сопротивление; указанием на это может быть то, что великие математики никогда не укоренились в массовом сознании; с точки зрения социологии современная наука вступает на путь тайной науки, вынужденно отгороженной из-за своего специфического мышления: какое бы удивление ни вызывали его результаты, как бы ни были они популярны, само это мышление популярным не становится. Не только естественнонаучное, но и философское и политическое мышление Просвещения еще и сегодня сталкивается с сопротивлением, какое оно встречало во все времена, ведь было

уже Просвещение до Просвещения, так же как следы любого мышления можно возводить к началам мышления. Кто будет с охотой смотреть на разрушение своих домыслов, на то, что государство, лишившись своего мифического ореола, вместо того, чтобы существовать по воле богов, превращается в сотворенную людьми структуру, до сих пор вызывает неудовольствие политики: причины, которые заставляют нас с подозрением относиться к Просвещению, многочисленны, но не только нас оно заставляет напрягаться, в прошлом с ним тоже не могли справиться. За Французской революцией последовал Наполеон, потом – национализм и реставрация, началась зловещая ломка традиционных структур, все пришло в движение, критика чистого разума вызвала к жизни феноменологию духа; но и романтизм можно понять лишь как реакцию на Просвещение, как бегство от того, что невозможно обойти и что все же обходили, предпринимая зачастую безумные, хотя и безуспешные авантюры. Просвещение двигалось в сторону противоположностей, антиномий, которые вплоть до сегодняшнего дня остаются враждебными, запутывалось в противоречиях, создавало возможности, которые мы пытаемся осуществлять хотя бы частично, хотя и слишком поздно их понимаем, оно вызвало к жизни процессы, развить которые мы все еще не в состоянии, тем более что эти процессы, которые мы должны были бы разрешить с помощью разума, сами возникли благодаря разуму. Таким образом, Просвещение выглядит в наших глазах двусмысленно. Мы приветствуем его, и мы же проклинаем его. Что же касается влияния Просвещения на религию, оно состояло в том, что Б-г, Который прежде не поддавался исследованию, теперь стал еще и недоказуемым. Догматика превратилась из истины самой по себе в истину в себе. Из абсолютной истины она превратилась в истину условную. Просвещение не вытеснило веру с помощью разума. Оно лишь провело различие между ними. Оно разделило то, что прежде было единым. Религия перестала быть областью познания, но стала областью этики, нравственного осуществления, в конце концов, делом внутренней жизни каждого, и тем самым – субъективностью. Просвещение сделало религию религией, делом жизнеспособного, но недоказуемого внутреннего знания: только Просвещение сделало возможной настоящую толерантность между религиями, потому что расстояние от субъекта до субъекта стало бесконечным, только в этом бесконечном смогли встретиться иудей и христианин. Но Просвещение сделало еще один шаг навстречу иудаизму. Оно потребовало от естествознания не аристотелевской логики, направленной на всеобъемлющую систему, хотя естественнонаучные системы – за исключением чисто классификаторских – носят преходящий характер, как, к примеру, механистическая картина мира; в гораздо большей степени Просвещение потребовало радикально аналитического подхода, оперирующего рабочими гипотезами. Талмуд столетиями подготавливал еврейское мышление для современности. В качестве парадокса можно, по-видимому, сказать, что иудей-атеист по сравнению с христианином-атеистом находится в преимущественном положении, так как диалектическое может легче превратиться в аналитическое, чем догматическое.



В редкие годы совпадения еврейского и григорианского календарей паломники в Страстную пятницу, идущие по Виа дела Роса, встречают евреев, направляющихся к Западной стене на празднование Песаха. Старый город. 1968 год

7.

Если еврей, верующему или неверующему, Просвещение отворило двери гетто, предложило духовную возможность выйти из изоляции, то христианина оно выпустило на свободу. Он также был заключен в гетто своей веры. Никогда искушение отойти от веры не было столь сильным. Многие иудеи, смягченные благодаря Просвещению, перешли в смягченное христианство. Начался исход евреев из иудаизма, эмансипация, единственный великий исход в разочарование: еврей оставался евреем независимо от степени его эмансипации и его отношения к иудаизму. Антисемитизм – в действительности более злоеший, чем прежде, – не как нечто осознанное, разжигаемое какой-нибудь религией, но как нечто бессознательное, атавистическое, и таким образом возникли две еврейские идеологии, которые, исходя из одной и той же предпосылки, пришли к двум противоположным выводам. Одна из них пыталась удержать иудаизм искусственно. Она разрабатывала планы возвращения иудеев в Палестину: сионизм. Другая идеология верила, что можно разрешить еврейский вопрос, если провозгласить его несуществующим. На первый взгляд кажется, что эта идеология не имеет ничего общего с иудаизмом. И все же Карл Маркс, племянник раввина, отпрыск почтенных раввинов со стороны отца, но прежде всего со стороны матери, при ближайшем рассмотрении представляет собой эквивалент Павла. Если первый великий христианский догматик оперировал с превратившимся в Б-га человеком, то Карл Маркс оперировал с обществом, превратившимся в Б-га; его гениальное достижение состоит в том, что он, с одной стороны, бессознательно придерживался иудаизма, а с другой – сознательно транспонировал его в поюстороннее, материалистическое, общественное; так же, как на место Б-га становится общество, которое сразу автономно превращает присущие ему экономические законы в форму классовой борьбы, еврейский народ, избранный и одновременно преследуемый, проклятый и презираемый, становится эксплуатируемым пролетариатом, который несет исцеление в виде нового мессии: общество без классов и государств, в котором человек не отчужден от самого себя, но становится самим собой, становится свободным. Марксизм – это такая же религия, как христианство и иудаизм. Так же как есть верующие иудеи и христиане, есть и верующие коммунисты. Так как в

диалектический материализм нужно верить, даже если он называет себя наукой, причем можно сказать, что он по-своему использует христианское триединство, ведь он все же верит в триединство материи, общества и философии: материя, которая вечна, общество, которое закономерно стремится к идеальному состоянию, и философия, которая отождествляет себя с истиной; и это триединство, если принимать его всерьез, возможно только как метафизическая конструкция: оно требует веры. В дальнейшем диалектический материализм ожидала та же судьба, что и христианство. Одна из многих социалистических сект стала благодаря русской революции идеологией империи, а после второй мировой войны – идеологией всех государств, которые должны были подчиняться этой империи, а также и других, которые не хотели ей подчиняться, причем о догматическом материализме можно сказать то же, что говорилось о христианстве: если он принимает себя всерьез, то иудаизм больше не имеет оправдания. Но и еще в одном отношении диалектический материализм – эта последняя всемирно распространенная эманация иудаизма – подвергся такому же искушению, как и христианство. Превратившись в догму, он стал идеологией одной церкви, доктриной одной партии, которая идентифицировала себя с единственно истинным общественным устройством, точнее, с инструментом, который приводит в действие присущие обществу закономерности, чтобы пробиться в идеальное. Существует не только церковная метафизика, но и партийная. Так же как церковь, партия является единственным носителем священной истории, как и церковь, она безупречна. В той мере, в какой диалектический материализм раскрыл экономические законы общества и на место судьбы водрузил деньги, он относится к Просвещению. Он целительным образом отрезвил мир, его результаты в свободном мире значительны, они значительны даже и в том мире, где он якобы пришел к власти. Но как только марксизм увидел суть общества в соответствии со своими строгими догматическими предписаниями, он снова лишил это общество человеческого облика, спроецировав в него классовую борьбу и рассматривая ее одновременно как зло и как средство борьбы: вместо того, чтобы признать капитализм хотя и ужасным и недостойным, но все же естественным порядком, для того, чтобы его затем преобразить в нечто достойное человека, если хотите, перехитрить, он противопоставляет этому сомнительному прогнившему порядку слишком идеально набросанную и потому лишь несовершенно функционирующую систему, партийный аппарат, который стереотипно извращается в соответствии с человеческой природой: классовая борьба замораживается, новые классы со временем кристаллизуются в касты. Поскольку диалектический материализм, который теоретически должен вести к свободе, пойдя на поводу у своих утопий и своей системы, не смог преодолеть партийную мифологию, привитой к устаревшему научному мировоззрению, и рабски подчинился ей; несмотря на все попытки время от времени подвергать ее сомнению, он снова возвращается в аристотелевское Средневековье, становится реакционным, хотя именно в этом упрекает своих противников: коммунистическая партия доводит коммунизм до абсурда, так же как христианская церковь довела до абсурда христианство. Церковь и партия становятся самыми большими врагами. Так же как церковь помешала христианству стать христианским, партия мешает коммунистам быть настоящими коммунистами. Можно, конечно, выдвинуть возражение, что без церкви христианство даже по видимости не было бы христианским и что без партии марксистский мир даже по видимости не сделался бы коммунистическим. Вопрос лишь в том, можно ли было отказаться от видимости. Разумеется, нет – из-за человеческой слабости.



Ф. Дюрренматт

8.

Я признаю, что все здесь сказанное сказано слишком односторонне, недостаточно основательно, совершенно без вхождения в детали, не дифференцированно, вовсе не в примирительном тоне, скорее со злостью, и возникает вопрос, какую цель я преследую этой грубо набросанной картиной, что имею в виду, когда приписываю возникновение всех этих духовных массивов, ледяных глыб, глетчеров, горных вершин и остроконечных скал, которые я тут налепил, одному-единственному геологическому сдвигу из иудаизма, или же я рассуждаю как швейцарец, точнее, как житель Берна, как один из тех, кто вырос среди крестьян, для которых еврей еще не представлял собой ничего идеологического, но был просто торговцем скота, с которым можно было выпить шнапса и сыграть в карты, не пытаюсь ли я под видом дружелюбия и доброжелательности, под видом утешения замаскировать некую тайную мысль о том, что евреи сами во всем виноваты, также и в своей собственной несчастной участи, чтобы тем самым снова поддержать столь же деликатный, сколь и изысканный антисемитизм – не должен же он оставаться все время примитивным, он тоже потихоньку крадется вперед, огибая тысячи углов. Не спору, такую возможность можно было бы допустить, если вообще возможно было бы невинное мышление, которое стоило восславить, мышление без последствий, мышление, подобное шахматной игре или – в некоторых случаях – эстетике. Но мышление, если оно заслуживает своего имени, очень опасно, и кто приводит в движение великое, должен учитывать самые худшие последствия. Евреи также подпадают под этот закон, прежде всего именно они, которые всегда думали, потому что для них – в отличие от христиан в определенные времена – не думать было еще опаснее, чем думать. Так духовная диалектика, приведшая в движение иудаизм, должна была революционизировать мир, как один из многих факторов, которые привели к тому, что отношения в мире постоянно изменяются, хотя и невозможно предугадать, куда эти изменения еще заведут. Неотвратимость, которую мы открываем в истории, вкладывается в нее лишь задним числом. То, что принесет будущее, лежит в неизвестности, уже только потому, что правильность анализа современности может быть подтверждена лишь благодаря будущему. Даже такой умудренный опытом народ, как еврейский, способный, кажется, как ни один другой, предчувствовать катастрофы заранее, оказывался лицом к лицу перед непредвиденными событиями. Слишком силен был естественный жизненный оптимизм. Но и то, что случилось с немецким народом в 1933–1945 годах, было настолько

ужасно и мерзко, что этого нельзя было ни предсказать, ни предусмотреть, хотя впоследствии многие утверждали, что они это предсказывали и предусматривали, так же непросто разобраться с понятием фашизма. Это понятие стало сегодня слишком неопределенным. То, что произошло, никак нельзя свести лишь к экономике, хотя это постоянно пытаются делать. Конечно, экономический фактор играл определенную роль, хотя и был лишь одним из многих факторов, вызвавших катастрофу. Возможно, лишь с помощью глубинной психологии удастся раскрыть некоторые причины этого массового невроза; конечно, проигранная война, мистическая имперская идея, связанная с комплексом неполноценности, – все смешалось на дьявольской кухне. И все же это чудовищное движение, которое своим главным врагом видело все точное, выверенное, понятийное, которое учуяло в иудаизме интеллектуальный катализатор европейского духа, это дело Дрейфуса^[4], раздутое до невозможности, это народное эмоциональное движение, втянувшее в себя также большинство немецких интеллектуалов – включая и многих швейцарцев, – это массовое безумие, зараженное мифологией крыс, которое тут же возмечтало о царстве белокурых бестий на тысячу лет вперед, это иррациональное помешательство достигло уничтожением миллионов евреев как раз противоположности того, чего стремилось достичь с помощью окончательного решения проблемы, как это у них называлось: в результате возникло Государство Израиль^[5]. Как это ни парадоксально, Гитлер – это оправдание того, что есть Государство Израиль, хотя всего лишь одно оправдание. Поскольку национал-социализм провозгласил еврейский народ расой – безразлично, шла ли речь об ортодоксальных, либеральных, коммунистических, христианских или атеистических евреях, – так как он представлял собой связанный с христианской верой и тем самым ставший бессознательным антисемитизм как совершенно другой, противоположный вымышленной еврейской расе принцип – независимо от того, что по своему происхождению еврейский народ, как и любой народ, представляет собой гротескное смешение рас, ведь история перемешивает и переплавляет расы и народы в своем огромном адском котле, – в то время как фюрер несмотря ни на что верил в расовую теорию, как он верил в теорию полой земли, в Рихарда Вагнера и в астрологию, так же этот величайший из всех шарлатанов непреднамеренно сплавил евреев в одну нацию. Лагеря уничтожения, где еврейский народ погибал беззащитно, и восстание Варшавского гетто, где еврейский народ уничтожали, когда он оборонялся, – две ужасные возможности, которые в итоге остались народу, потребовали, чтобы этого больше не повторялось, создания еврейского государства. Безумие принудило к его созданию, наверняка его создали жертвы этого безумия как завет пережившим, чтобы жертвы не были напрасными, если кто в этом сомневается. Поэтому Государство Израиль живет не только на почве своей идеологии, не только на фундаменте сионизма, не только на фундаменте мыслительной конструкции, которая, сколь бы гениальной она ни была, осталась бы всего-навсего мыслительной конструкцией – так как даже самым последовательным мыслительным сооружениям далеко не всегда предоставляется шанс воплотиться, – но также на фундаменте чудовищной необходимости, более того, на фундаменте ужасной бесприютности этого мира, на фундаменте его предрасположенности к непредсказуемому: возможно, бывают более возвышенные причины для основания государства, но только не более необходимые. Непредсказуемость истории оправдывает его, а не ее предсказуемость, которой не существует. В данном случае из одной идеологии благодаря ходу истории возникла неизбежность; какой бы романтической эта идеология ни казалась вначале, в данном случае идея преобразовалась в нечто экзистенциальное. План создания Государства Израиль смог воплотиться лишь потому, что не только Гитлер, но и преследования евреев в течение бесчисленных столетий подготовили его и дали ему возможность созреть до тех пор, пока оно возникло, и не только благодаря преследованиям, но также благодаря никогда не прекращавшейся диалектике, никогда не перестававшей видеть в Израиле страну истока и

никогда не забывавшей эту землю, которая, опираясь на диаспору, создала предпосылку для того, чтобы спасти остатки еврейского народа на старой земле.



Варшавское гетто. 1939 год

Перевод с немецкого Александра Гугнина

[1] Война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продлившаяся с 5 по 10 июня 1967 года. – Здесь и далее примеч. переводчика.

[2] Моисей Маймонид (Моше бен Маймон, Рамбам; 1135–1204) – еврейский философ, стремился синтезировать библейское откровение и аристотелизм (в толковании арабских мыслителей). Основное сочинение – «Путеводитель растерянных» (на арабском языке).

[3] Саул (Шауль, т. е. «Испрошенный») – первый царь израильтян (ок. 1095–1055 до н. э.), см. Млахим I, гл. 9–31.

[4] Альфред Дрейфус – капитан французского Генерального штаба, еврей по происхождению, обвиненный в 1894 году на основании подложных документов в шпионаже в пользу Германии; в ходе дела Дрейфуса во Франции сменилось пять военных министров. В 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован (с возвращением воинского звания).

[5] Государство Израиль провозглашено 14 мая 1948 года в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

ЧЕЛНОК

Аркан Карив

* * *

Мама пекла пироги. Кирилл почувствовал запах на лестничной клетке, выйдя из лифта. Он пошатнулся, слегка крутануло голову. Память носа – беда и счастье челноков. Кирилл постоял немного перед дверью, потом достал ключ и вошел в дом-музей запахов детства. Маша затыкала в глубине квартиры, на своей лежанке в чуланчике, зацокала по паркету, плохо вписалась на радостях в поворот из гостиной, взвизгнула и въехала на пузе в коридор.

– Машка, Машка! Хорошая моя, родная! Скучала? Ты скучала, Маня? Скучала! – Кирилл подхватил старенькую таксу на руки, увернулся от страстного поцелуя в губы, прижал к себе, скидывая одновременно ботинки и влезая в тапки.

– Привет, мам!

– Поставь Машу на пол и иди мой руки!

Аида Геннадьевна, статная женщина с грандиозным бюстом и ярко накрашенными губами, держала руки в муке на отлете, как хирург. Кирилл проигнорировал указание, чмокнул Аиду Геннадьевну в щеку, протиснулся на кухню и плюхнулся на любимое угловое место на диванчике.

– Матка! Куры, яйко!

– Не сиди на углу! Может, еще женишься.

– Вряд ли. Разве что подберешь мне кого-нибудь из своего альбомчика.

Аида Геннадьевна обиженно засопела, отвернулась к плите.

– Да ладно, мам, не дуйся. А знаешь, я недавно прочел. Почему во всех фильмах немцы так странно коверкают русский язык? Почему «яйко» вместо «яйцо», «млеко» вместо «молоко»? Что за бред? А очень просто. Оказывается, перед русской кампанией германским солдатам раздали польско-немецкие разговорники, которые остались еще от вторжения в Польшу, – ну, чтобы сэкономить. Надо папе рассказать. Хорошая тема для стихотворения. Или даже поэмы.

Аида Геннадьевна молча достала из духовки противень и принялась выкладывать готовые пирожки в большую эмалированную кастрюлю. Два положила на тарелку, поставила перед Кириллом. Про себя тихо произнесла: «Так, еще на одну закладку начинки у меня, наверное, хватит». И уже громче, но в сторону куда-то:

– Женя о тебе спрашивала.

Кирилл надкусил пирожок, поперхнулся – горячий. Вытащил изо рта, подул, сунул Машке.

- Слышишь меня? Женя просила узнать, не мог ли бы ты с ней встретиться.
- Не знаю. Нет, не мог бы. У тебя в альбомчике есть повеселее. И помоложе. Эта надоела уже. Девочка-плакса.
- Кирилл! Так нельзя с живыми людьми!
- Ты еще скажи, что мы ответственны за тех, кого приручили...
- Послушай! Мы с папой прожили долгую нелегкую жизнь...
- Так. Крещендо о долгой и нелегкой.
- ...и, может быть, не все было так, как хотелось. Но мы старались. Мы стремились делать добро. Мы строили, как могли. Подожди, не перебивай. Да, мы строили, мы создавали. Тебе легко критиковать, высмеивать. Но ведь ты сам – извини, сын, но я должна это сказать, – ты сам только разрушаешь!
- Это ты про Мефодия?
- Это я вообще. Прежде всего про тебя самого.



Кирилл запихнул в рот остатки пирожка, отряхнул руки, дал Машке облизать левую ладонь и достал из пачки сигарету. Правой, необлизанной, он вытащил из стопки книг на полке над столом одну наугад.

Награды желанней не надо,

Как только в победные дни

Признание врага: «Комараден!

Ди руссен эргебен зих ни!»

– «Эргебен зих ни» – это чего? «Не сдаются», что ли? Папаша жжет! А главное, все – вранье!

– Откуда ты знаешь? Ты там не был!

Кирилл усмехнулся.

– Знать, что было, а чего не было, – моя профессия. А во-вторых... слушай, мам, я, конечно, понимаю, что жена поэта – больше, чем поэт, но ты чего, никогда в папин паспорт не заглядывала?

– Нет... А зачем мне?

– Ну так, из любопытства. Ты что ж, правда думаешь, что ему восемьдесят? Нет, мама, если ты заглянешь в его паспорт, то увидишь, что папа – не двадцатого, а двадцать восьмого года рождения. А тинейджером в вермахт не брали. Разве что в конце войны. Но не в штаб подполковником.

Аида Геннадьевна изобразила жанровую позу «женщина над плитой утирает фартуком наворачнувшиеся слезы».

– Я не понимаю, зачем, зачем тебе нужно все время ворошить прошлое! Прошлое нельзя изменить. С ним надо жить и стараться быть добрее!

– Я лучше буду стараться изменить прошлое.

Зазвонил телефон. Аида Геннадьевна сняла трубку.

– Алло?.. Да, Виктор Иванович... Да. Все поняла, Виктор Иванович. Людочку на завтра к десяти... Ладненько, ладненько...

Кирилл поднялся, подхватил таксу:

– Я к брату. Да, и... Женьку не сдавай никому. Я ей позвоню.

Аида Геннадьевна быстро закивала: поняла-поняла!

– Ну что вы, Виктор Иванович! Какие накладки! Б-же упаси!

* **

Длинный коридор их квартиры был когда-то коммунальным, как и сама квартира, прошедшая процесс приватизации еще до того, как слово было произнесено. Не испорченный евромолдавским ремонтом, коридор хранил много царапин времени и был Кириллу во всем отчем доме особенно родным. Пятно на стене от бывшего телефона,

обшкрябанная тумбочка, а на ней – скатерть кружевная, пожелтевшая; велосипед «Украина полуспортивный» на другой стене, а за ним, на прилаженной полочке, – радиоприемник «Телефункен» с зеленым глазом, и требовалась определенная сноровка, чтобы пройти, не задев, между ним и другим ценным артефактом – огромным цинковым тазом, за которым шла дверь, ведущая в детскую.

Кирилл ударил в таз, потом крикнул: «Это я, брат!» – и толкнул дверь. В детской было весело. Пела Марыля Родович, а с ней вместе фальшиво, но с отдачей орал Мефодий и носился как угорелый по кругу: «Колоровых ярмаркыв, блашанных зегаркыв!..» Увидев Кирилла, Мефодий радостно помчался прямо на него и лихо затормозил, остановив колесо инвалидной тележки в сантиметре от братова тапочка. Машка выдавила себя из рук Кирилла, как зубная паста из тюбика, и плюхнулась Мефодию на колени.

- Здравствуй, Кирилл!
- Здравствуй, Мефодий!
- Знаешь, о чем мне подумалось с утра, брат?
- О чем, брат? О чем тебе подумалось с утра?
- Мне подумалось, что ноги мне, в принципе, не очень-то и нужны.

Кирилл подошел к письменному столу. На мониторе компьютера стоп-кадр запечатлел момент цветастой битвы с монстрами. Кирилл извлек из внутреннего кармана пиджака шарик фольги, положил в центр стола: «Отменная гидра, брат. Рекомендую!»

– О, спасибо, брат! – Мефодий подкатил к столу. – Тридцать сек, ладно? Щас, закончу здесь только.

И, сняв игру с паузы, открыл огонь.

– Люблю играть от первого лица. Да, так я чего хотел сказать. Ноги мне, конечно, не особенно нужны. У меня все есть, все под рукой. Женечка приходит. Только мне часто снится один и тот же сон. На дворе летний вечер. Я себе сижу, читаю. Вдруг дверь в комнату начинает медленно открываться. И меня переполняет любопытство: кто это? кто там за дверью? Знаешь, волнительное такое предчувствие. И вот дверь открыта, но я не вижу, кто там, потому что в коридоре темно. Только слышу голос. Девочка какая-то шепчет мне: «Пойдем! Ну пойдем! Ну пойдем же скорее! Я тебе такое интересное покажу!»

Кирилл взял лежащую на столе книгу.

– Борхеса читаешь?

Все это время Мефодий не прекращал игры. На него пер огромный урод.

– Он пугает, а нам не страшно! У Борхеса есть офигительный рассказ. Два брата не могут поделить девку. Но не просто девку, а – роковую для них обоих. Но они ужасно любят друг друга. И поэтому решают сдать девку в бордель. Короче, везут они ее в город, сдают ее в бордель, возвращаются домой и вроде как живут нормально. Потом

один брат не выдержал. Он придумывает какой-то предлог и едет в город. Идет за ней, и кого, ты думаешь, он там встречает?

Кирилл тем временем достал из-под стола кальян и раздумывал, надо сменить в нем воду или так сойдет.

– Кого он там встречает? Брата – кого ж еще!

– Ты знал!

– Хочешь сказать, что это про нас? – Кирилл всыпал в кальян ксесу. – Но это не про нас. Мы не сдавали ее в бордель. Ей это на роду было написано.

Кирилл раскурил кальян и передал Мефодию мундштук.

– Ну ты и монстр!

– Знаю.

– А мне стать инвалидом тоже на роду было написано?

– Да. Так же, как мне – челноком. Обычным гребаным челноком! Все ждут от меня чуда. Думают: раз я там бываю, то могу изменить все, что угодно. Брэдбери начитались! А того не понимают, что, сколько ты бабочек ни дави, ни хрена не изменится. Знаешь, почему нас называют челноками, а не, например, сталкерами?

– Почему?

– Потому что мы можем предложить только ширпотреб. «Видео из прошлого» оказалось не чудом, а турецко-китайскими джинсами. А в перестройку, когда разрешили, как все ахали: «Это перевернет мир! Это изменит историю!» И – ничего подобного! Повосторгались документалкой из прошлого, привыкли и забыли. Знаешь, каких заказов больше всего?

– Каких?

– Типа «сними мою свадьбу в семьдесят шестом».

– В семьдесят шестом ты еще не снимал. Ты начал в восемьдесят пятом.

– Чего придираешься? Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь загнать меня в ту самую точку. Когда ты стал инвалидом, я – челноком, мама – сводней, папа окончательно выжил из ума, а твоя прекрасная няня обернулась Травиатой. Ты действительно думаешь, что можно сгонять в прошлое, растоптать там какую-нибудь дурацкую бабочку, и будущее – раз! – совершенно изменится?

– Ничего я не думаю, брат. Просто надеюсь. Ты сам всегда говорил, что когда-нибудь у тебя получится.

– Хорошо. А ты понимаешь, что если – я говорю «если» – каким-то гребаным чудом я это сделаю и все действительно получится, то узнаешь ты об этом примерно так. Ты будешь, например, играть с пацанами в футбол. Я подойду к краю поля, крикну:

«Мефодий!» Ты нехотя оторвешься от игры, поплетешься ко мне – вот же черт принес не вовремя! Я скажу тебе: «Смотри! Вот жизнь, которая у тебя была, но я смог ее изменить». И покажу анкету – из тех, которые я заполняю, вернувшись, пока еще помню прошлое. Ты прочтешь: «Брат Мефодий – тяжелый инвалид». Посмотришь на меня как на идиота, скажешь: «Слушай, кончай со своими шутками отстойными!» И вернешься на поле гонять мяч. Вот как все будет в случае успеха.

Мефодий внимательно выслушал брата и задумался. Потом посмотрел Кириллу прямо в глаза.

– Ты все-таки ужасная скотина. Ты мне говоришь: зачем тебе ноги, брат? Ты же не почувствуешь праздника, просто будешь как все. Да? Ты мне это хочешь сказать?

– Дети!

Братья обернулись одновременно. Опираясь на массивную клюку, седой и в орденах на штопанном, но чистом пиджаке, в седых усах и редющей, но гриве, в дверях стоял их отец, Роберт Карлович.

– Дети! Я пришел прочесть вам свое новое стихотворение.

Кирилл поднялся со стула:

– Садись, пап!

– Не надо! Я прочту его стоя.

Роберт Карлович вынул из пиджачного кармана сложенный вчетверо листок из ученической тетради в клеточку; принял на своей клюке драматическую позу; окинул зал подернутым слезой глазом и начал декламировать:

Пережил и друзей, и товарищей,

Затуманен разведчика взор.

И брожу, как бродил по пожарищу

Вслед войне одичалый одёр.

* * *

– Тебе хорошо со мной?

– Неплохо.

– Вот и брату твоему тоже.

– А также многим другим клиентам.

– Нет! С ними не так!



И с такой страстью она это сказала, что Кирилл на какое-то мгновение поверил, и сердце дернулось к ней. Но тут же осеклось. «В этом вся ее фишка, – подумал он про себя. – Она умеет только отдаваться». Женщина, которая умеет только отдаваться, притягательна в постели и невыносима в жизни. Когда-то он был в нее влюблен, а сегодня она составляла привычную и неотъемлемую часть проклятья, которое обрушилось на их семью пятнадцать лет назад. Женя не была виновата. Виноват был он. Во всяком случае, технически. Женя была всего лишь провинциальной девочкой из Благовещенска, няней его младшего брата. После того как с Мефодием случилось несчастье, отец, преподававший немецкий в Военной академии, стал заговариваться и начал писать стихи от лица советского разведчика в немецком тылу. Курсантам он вместо уроков теперь рассказывал истории из своей военной биографии, которые до боли напоминали сюжеты известных советских фильмов на тему, включая про Штирлица. Его уволили, не дав дотянуть до пенсии. Денег в семье совсем не стало. А уход за Мефодием стоил дорого. Имевшая природный талант соединять людей, Аида Геннадьевна сначала стыдливо и осторожно, а затем бойко и с размахом развернула райошную торговлю провинциальными девушками. Ну и Женя, сходявшая с ума от чувства вины, настояла, чтобы внести свою лепту. Чем, так сказать, могла. Что самое отвратительное, Кириллу был с этого профит, потому что он открыл свой Дар, занимался только им и думал только о нем. Денежные и любовные проблемы сильно бы ему помешали. А так они очень кстати решились сами собой.

– Да! Да! Да! Да-а-а!!!

Он так погрузился в свои мысли, что не заметил, как дело у них начало подходить к концу. Ужасно хотелось курить.

– Не уходи, пожалуйста! Еще две минутки полежи со мной вот так. Прошу тебя! Ну пожалуйста!.. Да. Вот так. Обними. Вот здесь. Ой, спасибо!.. Кирилл?

– Что?

– А ты, когда возвращаешься из прошлого, совсем ничего не помнишь?

– Помню. Но недолго. Если долго помнить, умрешь. Меня и так всего переколбашивает. Потом, когда уже совсем невмоготу, Ефимыч делает мне укольчик, и – бац! – в один момент отпускает, и ты как будто проснулся в незнакомом месте и не сразу можешь понять, где ты. Только у меня это не где, а когда. Ну и потом – все. Ты вернулся.

– И совсем-совсем ничего не остается?

– Ничего. Ничего, кроме анкеты и видео этого мудацкого.

Женя задумалась, и он потихоньку выпростал руку из объятия и потянулся за сигаретами. Медленно подбирая слова, она спросила:

– А если ты сможешь изменить жизнь, она ведь станет совсем другой? А куда же тогда денется та жизнь, которая изменилась?

Кирилл зажег сигарету, с удовольствием затянулся.

– Есть такая теория суперструн, слышала?

– Не-а.

– Не важно. Я сам не очень. Мне Борис Ефимович объяснял. Короче, жизнью, скорее всего, много. Вернее, она как бы одна, но в многочисленных вариантах. Эти варианты называются гипербраны. Они движутся в многомерном пространстве, и теоретически их может быть сколько угодно. Только научно доказать это никому еще не удавалось. Но если какое-нибудь видео из прошлого ясно продемонстрирует другую жизнь...

– То что?

– Да ничего. Просто человечество найдет новое приключение на свою жопу. Тут и с одной-то жизнью не каждый разберется...

Кирилл посмотрел на Женю, наполовину прикрытую одеялом. Черт! Когда-то эта грудь была ему так интересна, что ради нее ничего было не страшно. А теперь ему так страшно, что уже, кажется, ничего не интересно.

– А знаешь, что интересно? – читая мысли, спросила Женя.

– Что?

– Интересно было бы все изменить, но помнить, как было раньше.

– Это невозможно!

– Ну хотя бы чуточку.

– Чуточку, говоришь?

– Ага.

* * *

На рецепции в компании «Прошлый день» оператор Ира увещевала какого-то пенсионера:

– Ну я же сказала: деньги вернут. Извинение мы вам принесли. Чего вы еще хотите?

Пенсионер явно хотел не сворачивать с дороги к инсульту. Страшно побагровев, он орал, брызжа слюной сквозь частично гнилые, частично железные зубы:

– Чего я хочу? Вы меня спрашиваете, чего я хочу?! Да я вообще не знаю, чем можно смыть это оскорбление! Кровью! Только кровью! Но вы и всей вашей черной кровью не смоете его праведную. Ой! Ой!

Пенсионер взял паузу, чтобы подержаться за сердце, и Кирилл воспользовался ею.

– Ирка, с чего такой шум?

– Вот это зацени. – Ира повернула к нему экран монитора и пустила видео. – Антипова послали в восьмидесятый Сахарова снять в Горьком, а он...

Не выдержав, Ирка прыснула.

– Ах, тебе смешно! Тебе, блядь, смешно! Люди всем миром деньги собирали. Последнее, последнее отдали от пенсии своей нищенской, чтобы только Андрея Дмитриевича... чтоб кадры праведника...

На экране в какой-то убогой квартире, ужасно стесняясь, раздевалась девушка. Голос челнока Антипова за кадром давал ей указания: «А теперь трусики! Но только медленно».

– Суки! Суки! Суки!

Подскочивший вовремя охранник Коля не позволил старческой руке захватить монитор. «А теперь скажи: “Свободу Сахарову!”» – глумился голос Антипова вслед удаляющемуся пенсионеру. «Свободу Сахарову!» – повторила девушка таким тоном, что последний диктатор, услышь он ее, немедленно вернул бы Андрея Дмитриевича из ссылки. Ира проводила взглядом подконвойный уход заказчика и вернулась к изображению.

– Борис Ефимович у себя? – поинтересовался Кирилл.

– Не, вышел. Но ты подожди у него, он скоро вернется. Кирюх, слушай! А неплохая идея! Делаем серию «Девушки восьмидесятых». Бабла можно поднять!..

* * *

Старые журналы «Радио» – вот что Кирилл любил больше всего в кабинете Бориса Ефимовича, своего куратора. Собственно, сам кабинет был чистой дырой во времени и являл собой, если бы не компьютер, очень достоверную реконструкцию мастерской радиолюбителя-шестидесятника. Кирилл вытащил журнал из стопки. Восьмой номер, за август 1958 года. Радиолюбитель Борис Готлиб рассказывает, как собрать придуманный им магнитофон «Селигер». Радиосхема и подробные чертежи механической части – лентопротяжного механизма, отделки корпуса. Борис Готлиб сделал вещь, до которой тогдашней промышленности было как до Луны. Радиодетали он таскал из секретного НИИ, в котором работал инженером; металл и пластмассу находил по свалкам; по ночам на кухне, когда в единственной комнате его хрущевской хибары засыпали жена и двое маленьких детей, Готлиб творил. Какие к черту лирики! В те времена жили настоящие волшебники – радиолюбители. Их философия была простой и чистой, дела – реальными и осязаемыми, досуг – аристократическим: они охотились. Охотились на лис. И оставались бесконечно любознательны до самой старости.

– Мне эта хрень стоила бессонного года, несчастного брака и увольнения по статье за несунство.

Кирилл не заметил, как Борис Ефимович внес в лабораторию свою огромную трехцветную бороду, рыжий в которой преобладал над черным и белым. Готлиб открыл дверцу шкафа и достал оттуда готовую водочную церемонию – только спирт разбавить, а огурец уже лежал нарезанный. Опрокинул стопарик, гэкнул, вытащил из кармана мятую пачку крошащейся вонючей «Астры».

– Ну так что, коллега? Все, как говорится, предрешено, но право дано. Будем делать историю?

– Борис Ефимович, вот скажите: почему раньше мне было все так интересно, что я ничего не боялся? А теперь я так всего боюсь, что мне уже ничего не интересно?

– Почему? – Готлиб аккуратно налил вторую, накатил, крякнул, спрятал церемонию, сел в кресло, заложил ногу на ногу и ответил:

– Потому что вы стали ссылком, Кирилл. С возрастом это случается.



* * *

Кошку скинули с небоскреба. Она была обречена, но не впала в постыдную панику, а сгруппировалась как положено, как предписано всем кошкам в этом мире – сгруппироваться и не терять равновесия. И только когда лапы прожгло металлом и ударила в бок отвалившаяся селезенка, кошка поняла, что все бесполезно, что высота победила красоту, и девятая жизнь пошла прахом.

Весь мир застилала огромная рука Готлиба.

– Анкета, Кирилл! Не останавливайтесь, прошу вас, не останавливайтесь! Отец?

– Сумасшедший отставник. Поэт-разведчик.

– Мать?

– Райошная сводница... Готовит хорошо.

– Брат?

– Обезноживший инвалид. С качелей упал... Любит компьютерные игры от первого лица.

– Женя?

– Проститутка с большим сердцем. Спит со мной и с братом. Все, Ефимыч, я себя теряю. Вколите скорее седуктив.

Йоги, бывает, достигают сатори от того, что промахиваются, когда бьют себе молотком по пальцу. Эйфория была уже в том, что кончилась боль. Готлиб заботливо выставил ему на тумбочку чай, заваренный прямо в стакане, зато стакан был в настоящем подстаканнике (небось в каком-нибудь поезде стырил, подумал Кирилл). Четыре сушки

составляли праздничный десерт. Кирилл лежал завернутый в плед и не то чтобы много чего мог сделать, но соображал достаточно. Плед был не стерильный, но и не грязный. Он имел свой запах, запах настоящего времени, а этот вид запаха отличается стойкостью, а иногда даже имманентен вещам и людям. «Я запах твой помню», – признается женщина через десять лет разлуки.

Кирилл опять взял в руки камеру, нажал на «play». Он приближался к Жене и к себе, стоявшим в обнимку. Поодаль скучал на качелях Мефодий. Женя сказала: «Смотри, в старости ты будешь похож на этого чувака». Кирилл усмехнулся: «Если я стану таким, убейте меня. Слушай, а что это у него за фотоаппарат такой навороченный. Вообще никогда таких не видел». И дальше голос взрослого Кирилла, до странности мало отличающийся от молодого: «Ребят, извините, но есть просьба: за малышом присмотрите. А целоваться потом будете». Cut.

Он нашел бабочку. Бабочки существуют. Его брат – жизнелюб и хлебосол, играет в футбол за сборную Думы. Мама – менеджер самого престижного частного университета, рекламой которого обклеены все вагоны метро. Папа – заслуженный пенсионер, да к тому же еще автор суперпопулярного сериала «Хорствессель» про советского разведчика в штабе у Роммеля. У Жени, правда, жизнь сложилась горькая. Сначала все было хорошо и обыкновенно. Она вышла замуж за олигарха, потом он стал опальным, потом они переехали в Лондон, и все было бы по-прежнему неплохо, если бы олигарха не хватил удар. И Женечка находилась при нем денно и ночно. Кириллу в письмах писала, что иногда очень хочет вернуться в прошлое, «ну хотя бы чуточку».

Кирилл посмотрел еще раз на анкету. Это был победный рапорт, диплом мага. Но что-то не давало ему покоя, и неудобная мысль рвалась, чтобы с ней посчитались. Ну да, так и есть. И это, в общем, очевидный вывод. Никто не изменился по сути, все изменились только по судьбе. Удача не сделала их другими, она сделала их всего-навсего удачливее. Но какой философ посмеет не признать, что удача – королева философских категорий? Удача дарит подлинную радость. За нее стоит бороться. Не за справедливость, не за принципы, не за деньги. Только за удачу, за богиню-фортуну. Она правит миром, е-то и нужно любить и служить ей одной. Сердце у Кирилла забилося как у взволнованного миннезингера, извлекшего из любви децл божественного знания.

– Ну, вы уже очухались, мой пионерский друг? – Борис Ефимыч булькал себе в рюмку, прикрываясь створкой секретера. – Не правда ли, мудро подмечено народом, что в прошлом – хорошо, а в настоящем – лучше?

– Борис Ефимович, мне кажется, в прошлом вы меньше пили.

– Недоказуемо, мой друг, не доказуемо.

Готлиб был совершенно пьян. Кирилл подумал, что очень даже все доказуемо, потому что с таким куратором он вряд ли выстоял бы в той жизни.

Готлиб подсел к нему на диван, дыша перегаром.

– О чем думается в такой миг? О доблести, о славе, о подвигах? Как будем дальше вспарывать гиперпространство?

Кирилл поморщился.

– Не знаю еще. Хочу только, чтобы было страшно и интересно; интересно и страшно. Чтоб дух захватывало. И чтобы обязательно победить. Если я проиграю, убейте меня.

Готлиб одобрительно рыгнул.

– И еще, Борис Ефимович, вы меня извините, конечно, но покорнейшая просьба: хорош бухать!

– Конечно, конечно! – Готлиб угодливо соскочил с диванчика, засеменил к секретеру, захлопотал там, наливая опять. И вдруг, враз изменившимся, как это бывает у алкоголиков, твердым и убедительным голосом сказал:

«Кирилл, а вы – ужасная сволочь! И очень страшный человек!»

СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА

Хаим Граде

Элюкум Пап дал себе клятву больше не заниматься резьбой по дереву и набросился на работу в своей столярной мастерской, как на еду после долгого поста. Он выполнил все невыполненные вовремя заказы и отнес их заказчикам. На него напало желание работать как можно больше, лишь бы пилить, строгать, рубить и забивать гвозди. У него было немного материала, и он принялся сколачивать скамейки, табуретки, шкафчик для посуды, кухонный столик, лестницу для чердака. Кроме того, у него еще оставались длинные узкие доски, и он начал делать из них полки, а из остатков настрогал ручек для лопат. Ничего. Если у него будет товар, найдутся и покупатели, или же он продаст готовые изделия в какой-нибудь магазин.

Сначала Матля думала, что Б-г сжалился над ее слезами и ее муж снова стал отцом для своих дочерей. Но вскоре она поняла, что Элюкум не имеет в виду заработок, а просто хочет быть занят. Он без остановки и с каким-то диким гневом заколачивает гвозди, чтобы его не тянуло к резьбе, как пьяницу, старающегося бросить свою пагубную привычку и пьющего яблочный квас и сельтерскую воду, тянет к бутылке водки. Матля видела, что после работы в мастерской Элюкум сидит за столом мрачный как туча и даже не смотрит на своих дочерей. А потом вдруг начинает кричать, что ужин приготовлен плохо, дети грязные, в доме – помойный ящик и что она никудышная хозяйка. Вдоволь накричавшись, он вытирает губы и начинает ругать себя самого:

– Вот тебе и Б-гоугодное дело, недотепа! И как только взбрело в твою лошадиную голову, что ты должен украсить молельню этих побирушек резными украшениями! – А потом буркает в сторону жены: – Не напоминай мне больше про Немой миньян. Слышишь? Голодранцы его захватили!

Наконец столяру надоела эта бесцельная непрерывная работа. И он начал уходить из дому. То, что муж уходит не в Немой миньян, Матля поняла по тому, что он не брал с собой досок и инструментов. Она боялась, как бы он от горечи не начал пить, но Элюкум Пап не шлялся по шинкам. Он ходил из молельни в молельню и рассматривал украшения, сравнивал их со своими и сделал вывод, что он режет по дереву не хуже, а может быть, и лучше других. Временами ноги несли его к воротам Немого миньяна. Проходя мимо, он заглядывал во двор проверить, стоит ли еще молельня с круглыми окошками. Но в сам двор он не входил.



Вернувшись домой, он ждал, что Матля расскажет ему, как приходили из Немого миньяна и спрашивали его. Но Матле нечего было рассказывать, и он начинал кричать на нее: «Не напоминай мне эту молельню голодранцев!» А себе под нос бурчал: «Я им еще покажу!» У него созрел план: забрать из Немого миньяна все резные украшения и подарить их какой-нибудь молельне состоятельных обывателей.

Состоятельные обыватели, старцы с серебряными бородами, молились в Старой синагоге. Но когда он туда зашел и завел разговор со служкой, тот сказал ему, что в Старой синагоге все каменное, чтобы не горело. Эльокум Пап удивлялся: скамьи, пюпитры, двери и книжные шкафы ведь из дерева? «Да, и это очень печально», – ответил служка и рассказал, что обыватели имеют обыкновение прикреплять свечи расплавленным воском к пюпитрам и дремать над святыми книгами. Так что он все время пребывает в страхе, как бы не было пожара. Не раз уже случалось, что свеча падала и опаливала обывателю бороду. Вот почему в Старой синагоге больше не позволяют зажигать сальных поминальных свечей в годовщины смерти, а только электрические лампочки.

Из Старой синагоги Эльокум Пап отправился в Старо-Новую синагогу, в которой молятся заносчивые богачи и домовладельцы. По субботам они надевают сюртуки и цилиндры. Староста там, ужасный гордец, с пренебрежением ответил столяру: украшениям Старо-Новой синагоги, конечно, уже сто лет, а то и больше. Так что их теперь – сорвать и заменить на цацки какого-то столяришки? Эльокум Пап ответил ему с не меньшей гордыней, что он не какой-то там столяришка, а мастер, и что он своих украшений не подарит Старо-Новой синагоге, даже если ему в ноги будут кланяться.

Эльокум Пап несколько раз заходил и в синагогу Могильщиков. Там он даже не заводил разговора о передаче своих красивых резных поделок. Он видел, что в синагоге Могильщиков целый день греется у печи тот же сорт евреев, что и в Немом миньяне. Ему гораздо больше понравилась синагога Семерых Вызываемых к Торе. Ни в одной синагоге на Синагогальном дворе не молится так много евреев, как там – один миньян за другим и так до поздней ночи. К тому же над священным ковчегом и над кафедрой нет никаких резных украшений. В синагоге Семерых Вызываемых все абсолютно голое. Множество молящихся будет день за днем видеть его резные украшения и восхищаться. Столяр заговорил об этом с помощником служки. Тот оглянулся: «Действительно нет резных

украшений! А я этого до сих пор не замечал». Потом он пожал плечами: «Кого это волнует? Кому это надо?» И быстро убежал трясой коробкой для пожертвований среди помолвившихся евреев, чтобы они бросили в нее пару грошей. Прихожане не лучше помощника служки, подумал Эльокум Пап. Это сборище издерганных мелких лавочников и продавчишек. Они забегают помолиться на скорую руку, сказать поминальную молитву – и исчезают, как бестелесные духи. Они будут рассматривать резные украшения, так же как их уши слушают слова торопливых молитв.

Но есть и другие синагоги состоятельных евреев, хотя в них молятся в будние дни только по утрам. Так утешал себя Эльокум Пап, поднимаясь по узким крутым ступеням в молельню праведницы Двойры-Эстер. Дверь была открыта, а внутри никого не было. Хотя окна молельни Двойры-Эстер выходят в тесноту темного двора Рамайлы, окруженного задними, слепыми стенами высоких зданий, откуда-то с высоты в нее чудом пробивался свет, и свежий снег на окрестных кривых крышах отсвечивал сквозь оконные стекла. В первые минуты столяр остолбенел в восторге от того, что увидели его глаза. Но чем дольше он стоял, тем неудобнее ему становилось в этой маленькой молельне, погруженной в глубокую тишину и потаенный, дрожащий дневной свет. Эльокум Пап еще не видел святого места, настолько перегруженного резными украшениями. И от всматривания во все эти резные существа на него напал страх и ужас.

Птицы с большими глазами вылупились на него косогазо и яростно, готовые разорвать своими кривыми клювами и острыми когтями. Олени повернули к нему головы с витыми рогами и смотрели на него с мольбой, словно спрашивая, где тут поблизости речка, чтобы они могли утолить свою жажду. Пара львов уже высунула от голода свои красные языки. Другие львы держали в зубах собственные хвосты. У змея, свившегося в большое кольцо, было две головы с распахнутыми пастьями, которые пытались проглотить одна другую. Над священным ковчегом пара рук тянулась к скрижалям учителя нашего Моисея, словно в страхе, что святая Тора может упасть и тогда придется поститься. Над кафедрой тоже вздымалась пара рук с пальцами, сложенными в знак благословения жрецов. Но столяру казалось, что это руки мертвеца, поднявшиеся из-за кладбищенского забора. Эльокум Пап почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Ему стало холодно. Он начал отступать к выходу, проклиная в душе синагогальную служанку, живущую в этом же дворе и оставившую молельню открытой. Экая дармоедка! Ее совсем не волнует, что молельню могут обокрасть? Столяру подумалось, что ему лучше оставить свои резные украшения в Немом миньяне, чем иметь такое счастье, как этот художник из молельни Двойры-Эстер.

В конце концов Эльокум Пап решил, как ему быть. Он вошел в свою мастерскую и долго копался в горе стружек и обрезков, пока не нашел в ней незаконченные резные поделки, а с ними и несколько законченных вещей. Он упаковал все это в холщовый мешок и на ночь глядя ушел в исторический музей, где однажды был в гостях у директора Элиёу-Алтера Клойнимуса. В садике напротив музея темнели высокие сугробы, а в его окнах застыл темный зимний вечер. Когда столяр подошел ближе, он увидел через низкие окна, что внутри, в темноте, мигает огонек. Эльокум Пап направился ко входу.

За заваленным столом в зале один-одинешенек сидел Элиёу-Алтер Клойнимус. Его сотрудник Меер Махтей отказался приходить, пока община не будет отапливать музей. Заведующего Клойнимуса тоже никто не упрекнул бы, если бы он не приходил. Но ему было приятнее мерзнуть в музее, выигрывая пару часов покоя, чем сидеть дома и выслушивать претензии жены. Столяру показалось, что красный огонек настольной

лампы такой же замерший и застывший, как этот учитель, который сидит, сгорбившись над старинной книгой и засунув руки в рукава.

– Люди приходят сюда, чтобы посмотреть на ваши сокровища, или не приходят? – строго спросил Эльокум Пап.

Учитель и заведующий музеем еще меньше обрадовался резчику, чем в первый раз. Тем не менее он счел своей обязанностью объяснить, что летом в музей приходят школьники со своими учителями, иногда также гости из разных городов Польши и из-за границы.

– Если так, то хорошо, – ответил столяр и вытащил из своего холщового мешка резную коробочку для благовоний, деревянную указку для чтения свитка Торы, незаконченную заготовку фигурки орла с короной на голове. У орла получились коротковатые крылья, да и корона вышла кривоватой.

– Сейчас я режу лучше. Никакого сравнения. Я принесу сюда все мои красивые поделки из Немого миньяна. Я все оттуда заберу! – И он рассказал, как молельню Песелеса захватили голодранцы.

– А что я со всем этим буду делать? – Музейный работник не понял, что имеет в виду столяр.

– Вы будете показывать это людям и рассказывать, что это работа резчика Эльокума Папа, точно так же, как вы показываете каменных человечков этого, у которого отец был бедным шинкарем.

– Вы имеете в виду скульптора Мордехая Антокольского?

– Да, да. Его я и имею в виду. Точно так же, как вы показываете каждому его русского императора с крестьянами, этого еврея с веселыми глазами, который знает всю Тору наизусть, этого еврея со сморщенным лбом, который занят казуистикой из Талмуда, и тех полуевреев-полуиноверцев из Испании, которых попы захватывают врасплох, когда они справляют пасхальный седер, – вы будете показывать всем и мои резные поделки. Я отдаю их бесплатно.



В первую минуту Клойнимус подумал, что столяр издевается над ним и что его подослали оппозиционеры из общины, эти партийные деятели, которые кричат, что община не должна давать денег на содержание музея с мертвыми предметами, в то время как не хватает средств на насущные нужды. Но было непохоже, что Эльокум Пап издевается. Клойнимус несколько раз поправил пенсне и откашлялся, прежде чем придумал ответ.

Конечно, он ценит народное искусство, но у общины на это не предусмотрен бюджет. Он не хочет этим сказать, что община заинтересована в сохранении произведений только умерших еврейских художников, а до живых ей дела нет. Но почему живой народный художник должен забирать свои произведения из молельни, в которой евреи молятся и изучают Тору? Ведь отливку скульптуры Марка Антокольского с русским императором и крестьянами нельзя держать в молельне. Его человеческие каменные головы, этот острый ум, этот знаток и все остальные не должны по еврейскому закону находиться в молельне, в то время как изображения зверей и птиц могут украшать синагогу. Народному художнику не следует хоронить свои произведения в мертвом музее, куда никто не приходит.

– Здесь же помойный ящик, гора рухляди, мертвецкая, подвал, набитый истрепанными обрывками в прошлом святых предметов! – начал кипятиться Элиёу-Алтер Клойнимус. На губах его появилась пена. В гневе и горечи оттого, что он должен спастись из своего домашнего ада в этот холод и мрак, он клял музей даже худшими словами, чем его сотрудник Меир Махтей. Но, выговорившись, он подумал, что не должен отравлять народного художника своим разочарованием. И закончил свою речь мягко и любезно:

– Послушайте меня, помиритеcь с евреями вашей синагоги. Набожные евреи тоже ценят службу Всевышнему красивыми вещами. Об этом есть даже рассуждение в Талмуде. Так мне недавно сказал мой старый ребе, ширвинтский меламед. Как у него дела, у моего старого ребе, ширвинтского меламеда? Из-за плохой погоды я не навещал его в последнее время.

– Ваш старый ребе, этот ребе Тевеле Агрес – кислый крыжовник^[1]. Он поддерживает голодранцев из Немого миньяна. – Столяр поморщился, сложил свои

поделки назад в холщовый мешок и ушел еще более опечаленный, чем пришел. Элиёу-Алтер Клойнимус долго смеялся про себя потихоньку, затем пожал плечами и криво усмехнулся: кажется, скромный народный художник, но и он уже задирает нос. Почитает себя Марком Антокольским.

В тот вечер столяру очень хотелось, чтобы жена сказала ему, что из Немого миньяна приходили о нем спрашивать. Увидев, что у Матли нет для него такой доброй вести, он принялся ворчать, что завтра пойдет в Немой миньян посмотреть, не спалили ли эти голодранцы его резные украшения. Они же ему кричали, что в печи это дерево принесло бы больше пользы, чем в виде его цапек. Матля поблагодарила в сердце своем Всевышнего за то, что Эльокум собирается снова пойти в молельню Песелеса. Как-никак, прежде он немного работал и на нее с детьми. А с тех пор как он бросил заниматься резьбой, он стал по большей части просто невыносим.



Когда на следующий день Эльокум Пап зашел в Немой миньян, он прежде всего увидел, что все резные украшения священного ковчега на месте. Молельня выглядела торжественно, как в праздничные будни^[2], когда стол накрыт белой скатертью, а набожные хозяйки не работают. Через круглые окна светил ясный, снежный день. Он словно побелил потолок и стены. Аскеты сидели за своими попитрами, углубленные в святыя книги, а компания нищих, собирающихся вокруг печки, теперь с почтением слушала слепого проповедника. Опершись спиной о натопленную печку, реб Мануш Мац стоял среди этого нищенского сброда и проповедовал ему со своим обычным напевом:

– И в мире правды есть восточная стена^[3] и есть западная стена, однако порядок там обратный. Многие евреи, сидевшие в нашем мире лжи у западной стены, у печки или за бедным столом, сидят в мире правды у восточной стены, а многие состоятельные обыватели, которые в нашем лживом мире сидели на почетных местах, сидят на том свете у двери, а иной раз даже ногами наружу.

Перевод с идиша Велвля Чернина

В серии «Проза еврейской жизни» издательство «Книжники» в ближайшее время готовит к выпуску первое русское издание «Немого миньяна» Хаима Граде.

[1] Игра слов. Фамилия персонажа, «Агрес», означает на идише «крыжовник».

[2] Праздничные будни – дни продолжающихся восемь дней праздников Суккот (Кущи) и Песах, кроме первых и последних двух дней.

[3] Почетное место в синагоге.

ПУТТЕРМЕССЕР, ЕЕ ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ, ЕЕ РОДОСЛОВНАЯ И ЕЕ ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

Синтия Озик

Путтермессер было тридцать четыре года, она была юристом. Еще она была феминисткой – не оголтелой, но возмущалась приставкой «мисс» перед своей фамилией, видела в ней намеренную дискриминацию; она хотела быть юристом среди юристов. Она не была девственницей, но жила одна, упорно в Бронксе, на Гранд-Конкорсе, среди хиреющих родителей чужих людей. Ее собственные переехали в Майами-Бич; в пушистых шлепанцах, сохранившихся со школы, она бродила по лабиринту своей квартиры, где на пианино до сих пор стояли ноты с учительскими галочками, показывавшими, до какого места ей надо упражняться. Путтермессер всегда забежала немного вперед заданий; в школе – тоже. Учителя говорили ее матери, что у ребенка «высокая мотивация», «нацеленность на результат». Кроме того, у нее была «тяга к знаниям». Мать все это записывала в блокнот, хранила его и увезла с собой во Флориду, на случай, если умрет там. У Путтермессер была младшая сестра, тоже высоко мотивированная, но она вышла замуж за индийца-фармацевта, парса, и переселилась в Калькутту. У сестры уже было четверо детей и семь сари из разных тканей.

Путтермессер продолжала учиться. На юридическом факультете ее называли зубрилой, выскочкой, эгоманьячкой и карьеристкой. Эго тут было ни при чем; она пыталась найти решение, но не знала – чего. В тылу бельевого шкафа она нашла пачку картонок от отцовских рубашек (мать была предусмотрительна и скупа: в кухонных ящиках Путтермессер до сих пор обнаруживала сложенные квадратики древней кальки, побелевшие на сгибах, пропахшие сыром и приютившие мельчайших, неизвестной породы червячков); сама же она держала за стояком в ванной недельную порцию кроссвордов из воскресной «Таймс», приколотых к этим картонкам, и беспорядочно решала их. Она играла с собой в шахматы и выигрывала, как за черных, так и за белых. На карточках из картотеки сочиняла дела по гражданским искам. Не потому, что хотела всё запомнить: ситуации (интеллектуальные задачи она именовала «ситуациями») проскакивали в ее ум, как сливочное масло в бутылку.

Из Флориды пришло письмо от матери:

Дорогая Рут,

я знаю, ты мне неверишь, но клянусь, что это правда, на днях папа гулял по Авеню и кого, ты думаешь, он встретил – миссис Зарецки, худую из Бернсайда, а не полную у Давидсона, ты помнишь ее Джоула? Так он развелся, детей, слава Б-гу, нет и свободен как птица, бедняжка его жена, говорят, не могла зачать. Он проверялся, у него все в порядке. Он всего лишь бухгалтер, недостаточно хорош для тебя, видит Б-г, я никогда не забуду тот день, когда тебя взяли в Юридическое обозрение 11, но ты должна приехать и увидеть, каким он стал милым человеком. В каждой трагедии есть своя хорошая сторона. Миссис Зарецки говорит, что он почти каждый раз приезжает, когда она звонит ему по междугородному. Папа сказал ей: что ж, бухгалтер, вы не перегрузили его образованием, с дочерью это по-другому. Но не принимай это близко к сердцу, папа

так же, как я, гордится твоими успехами. Почему ты не пишешь, мы давно от тебя ничего не получали, работа – работой, но родители – это родители.

У Путтермессер было еврейское лицо и чуточка американского недоверия к нему. Ни на одну из рекламных девиц она не была похожа: она ненавидела девушку с шампуня «Брек», блондинистую, умильную, с бледными губами, и шампунь этот бойкотировала из-за плакатов в метро, золотоволосых, грубо идеализированных – эротический сон американца. У самой Путтермессер волосы походили на прыгающие фестоны – они покрывали голову волнистыми слоями, как уложенная внахлест черепичная крыша. Цвета они были почти черного и порой торчали во все стороны. Нос у нее был толстый с шерстистыми неодинаковыми ноздрями – правая заметно шире левой. Глаза маленькие, ресницы короткие, невидимые. Веки – монголоидные, с эпикантусом – в целом, лицо несколько восточного типа, как бывает у евреев. При всем этом нельзя сказать, что она была некрасивой. У нее была хорошая кожа, пока что почти без морщинок, неровностей и признаков приближающейся дряблости. И приятный овал лица – щеки по-детски обвисали, только когда она углублялась в книгу.

В постели она изучала грамматику иврита. Перестановки в трехбуквенных корнях восхищали ее: как это получается, что целый язык, а следовательно, целая литература и даже цивилизация зиждутся всего лишь на трех буквах алфавита? А глагол – этот поразительный механизм? Три буквы, любые, каким предназначено, могут исчерпать все возможности, просто за счет разного произношения или добавления еще одной спереди или сзади. Все мыслимые предложения произрастают из такой троицы. Иврит представлялся ей не столько средством выражения, сколько кодом мироустройства, нерушимым, прозрачным, заданным от века. Идея грамматики иврита превращала ее мозг во дворец, в некий Ватикан, по коридорам которого она ходила от одного блистательного триптиха к другому.

Она написала матери письмо с отказом приехать в Майами-Бич для встречи с милым разведенным бухгалтером. Она еще раз объяснила ей, чем дышит, объяснила обвиняком:

Я цинично отношусь к власти, и причиной тому, конечно, моя нынешняя работа. Ты, наверное, не слышала об Отделе виз и регистраций, сокращенно – ОВИР? Он расположен на улице Огарева, в Москве, в СССР. Я могла бы перечислить тебе несколько из неисчислимого списка бюрократических издевательств ОВИРа – сколько их всего на его совести, никто не ведает. Но могу назвать имена всех этих преступников, вплоть до низших сотрудников, Ефремовой, Королевой, Акуловой, Архиповой, Израиловой, сидящих в Колпачном переулке, в управлении, возглавляемом Золотухиным, заместителем полковника Смирнова, который работает под началом Овчинникова, второго по старшинству после генерала Вырьина; только Овчинников и Вырьин сидят не в Колпачном, а на улице Огарева, в головной организации – МВД, Министерстве внутренних дел. Когда-нибудь все советские евреи вырвутся из их паучьих лап на свободу. Пожалуйста, объясни папе, что это сегодня – одна из важнейших забот в моей жизни. Ты думаешь, Джоул Зарецки способен разделить мои воззрения?

Сразу после университета Путтермессер поступила в фирму «Мидленд, Рид и Коклберри». Это была аристократическая фирма на Уолл-стрит, и Путтермессер, взятую туда за ум и редкостное усердие (чаще свойственное иммигрантам), поместили в тылу конторы раскапывать прецеденты для тех, кто работает непосредственно с клиентами.

Женщина и еврейка, она, однако, почти не ощущала дискриминации: тыл предназначался для нудной черной работы, и туда отправляли полезную молодежь. Свет там частенько горел до трех ночи. Было естественно, что с Верхней Ступеньки юридического факультета ты получала доступ к Подножию Лестницы в реальном мире прецедентов. Наградой было само существование чудо-лестницы. Путтермессер была там единственной женщиной, но не единственной еврейкой. Каждый год в заднее отделение «Мидленда, Рида» поступали три еврея (четыре в тот год, когда пришла Путтермессер, а посему при виде ее чаще думали «женщина», чем «еврейка»). Каждый год три еврея уходили – не те же трое. Трудным временем был обеденный перерыв. Большинство молодых людей шли в спортклубы поблизости, размяться. Путтермессер ела из бумажного пакета у себя за столом вместе с другими евреями, и это было странно: молодые евреи, казалось, были так же преданы сквошу[2], как остальные. Увы, в спортклубы их не принимали, и это удивляло – молодые евреи ничем не отличались от остальных. Они покупали такие же костюмы у тех же портных, носили точно такие же рубашки и туфли, не надевали галстучных булавок и стриглись так же – значительно короче, чем уличные охламоны, но не так коротко, как стрекулисты из банков.

Путтермессер помнила, что сказал о Дрейфусе Анатоль Франс: он был той же породы, что осудившие его офицеры. «На их месте он сам бы себя осудил».

Только выговор у них чуть-чуть отличался: «а» чуть глубже в носу, неприятно удлиненный «и», давно распространившееся из Бруклина в Грейт-Нек[3] и из ее Бронкса в Скарсдейл[4]. Эти две влиятельные гласные мистическим образом препятствовали повышению. Между тем игроки в сквош передвигались из тыла в главный офис. Одного или двух из них готовили: чистили щеткой, подкармливали сахаром, выводили на поводке – в партнеры; приглашали на обед с худыми благожелательными клиентами; они проводили половину дня в кафетериях больших благополучных банков, короче говоря, отращивали сливочные щеки и приобретали плавные манеры людей, которым всегда комфортно.



Евреи же, напротив, становились нервными, злобно шептались перед писсуарами (Путтермессер в дамской комнате слышала, как их ропот уходит в объединенный сток), становились перфекционистами, слишком серьезными, ожесточенно

тыча пальцами, пикировались из-за принципов, и в их внешности и повадках все больше проглядывал еврей и все меньше – повзрослевший студент-спортсмен. Потом они увольнялись. Увольнялись по собственному желанию, никто их не выгонял.

Путтермессер тоже уволилась, устав от неумеренной учтивости – в особенности любезны были партнеры, обращавшиеся с ней как с равной аристократкой. Путтермессер объясняла это тем, что не произносит «а» в нос, не тянет «и», а главное, не дентализирует «д», «т» и «л», а придерживает их сзади, у верхнего нёба. Речь ее давным-давно была вымуштрована фанатичными учителями, миссионерами красноречия, выписанными ее элитарной школой со Среднего Запада, так что почти все следы областничества были истреблены, кроме темпа речи, по нью-йоркски размеренного. Путтермессер могла происходить откуда угодно. Она была до кончиков ногтей американкой, так же как ее дед в капитанской фуражке. От Касл-Гардена[5] до голубых туманов Новой Англии отец ее отца продавал американцам головные уборы, воротнички и галстуки! В жилах Путтермессер громко бился Провиденс, штат Род-Айленд[6]. Путтермессер казалось, что партнеры это чувствуют.

Потом она вспомнила, что Дрейфус идеально говорил по-французски и был совершенно француз.

На прощание ее повели в ресторан – в клубы, где состоят партнеры (так они объяснили), женщины не допускаются – и извинились.

– Нам жаль терять вас, – сказал один.

А другой сказал:

– Никого в команде, с кем пойти под брезент, а?

– Брезент? – сказала Путтермессер.

– Свадебный навес, – подмигнув, объяснил партнер. – Или их делают из овчины – я забыл.

– Интересный обычай. Я слышал, у вас бьют тарелки на свадьбе, – сказал второй партнер.

Антропологическая трапеза. Они выясняли ритуалы ее племени. Она не знала, что представляется им странной. Их прекрасные манеры были осторожностью, которую ты усваиваешь, двигаясь в глубь континента: «Доктор Ливингстон, я полагаю?»[7] Они пожали ей руку, пожелали успехов, и в эту минуту, в такой близости к их лицам с влажными улыбочными складками, отходящими от вафельных носов с узкими, одинаковыми ноздрями, Путтермессер с изумлением заметила, какие они странные, – столько выпито мартини за обедом, и даже в пьяном виде прекрасные манеры, и церемониальное приглашение в ресторан с коврами, притом что они люди важные, а она незначительная персона. Глаза у них были голубые. Шеи у них были чистые. И как чисто выбриты! Как будто у них вообще не растут волосы. Но в ушах волосы курчавились. Они позволили ей взять все блокноты с ее фамилией в шапке. Она была тронута их вежливостью, их благожелательностью, которой они всегда добивались своего. Она отдала им три года дотошных анонимных изысканий, до глубокой ночи выискивая прецеденты, даты, утерянные дела, поблекшие, погасшие политические события, ради них терпя дикую головную боль по утрам, и отдала полдиоптрии зрения в обоих глазах. Из

блестящих студентов получают хорошие помощники. Партнеры были довольны ею, но не сокрушались. Она была заменима: уже сегодня утром на ее место взяли умного негра. Дворец, куда ее привели прощаться, был их с Б-жьего соизволения; в это они верили и, исходя из этого, вели себя. Они были благожелательны, потому что благожелательность была их прерогативой.

Она пошла работать в Департамент поступлений и выплат. Должность ее была – помощник юрисконсульта: титул не имел смысла, суррогатный термин языка, которым кормится бюрократия. Из многих, занимавших эту должность, большинство были итальянцами и евреями, а Путтермессер – опять единственной женщиной. В этой большой муниципальной конторе церемониям и манерам не было места: грубые крики, невежественные клерки, неряшество, мусор на полу, крошки в замурзанных книгах. В дамской комнате воняло: женщины писали стоя, горячая моча брызгала на сиденья и на грязный кафель.

Сменявшие друг друга начальники именовались Директорами. Все они были политические назначенцы, падальщики, поспевшие к раздаче постов. Сама Путтермессер была не вполне государственным служащим и не вполне негосударственным – одно из тех двоякодышащих существ, отношение к которым среднее между презрением и снисходительностью. Но ей вскоре стало стыдно за свою принадлежность к противной массе служащих, рассованных по ячейкам муниципального улья. Это было жуткое здание, насквозь серое, прошитое множеством коридоров, переходов, лестничных шахт, хоромы Страшного суда, наполненные слабыми сварливыми голосами препирающихся чиновников. В то же время здесь присутствовали странные деревенские звуки – летом ровный стрекот кондиционеров, зимой кваканье и кряканье старых радиаторов. Окна, однако, были широкие и высокие, вдоволь света и вид на весь южный конец Манхэттена вплоть до Бэттери-парка, весь под коркой застывшей лавы – прямоугольник за квадратом, за квадратом шпиль. В полдень величаво и страстно били хмурые колокола Сент-Эндрю.

Для Путтермессер это означало, что в жизни она спустилась на ступеньку ниже. Здесь она даже не была курьезом. Никто не замечал еврейку. В отличие от партнеров «Мидланда, Рида», директора не прохаживались среди своих подданных. Их редко видели – они подобны были королям, заточенным в башне, и жили слухами.



Но Путтермессер обнаружила, что в муниципальной жизни все слухи оправдываются. Предполагаемые партийные перебежчики оказываются перебежчиками. Шепотки о подвоверных сражениях подтверждаются: начальники, падения которых ждали, валятся. Путтермессер пережила две избирательные кампании; видела, как могущественные становятся бессильными, а прежде бессильные словно раздуваются за ночь, чтобы сполна вкусить сладость краткосрочной победы. Когда рушилась одна Администрация, поначалу как будто бы искоренялись и ее обычаи, все, что пахло словами «раньше» и «до нас», – но только поначалу. Начальные судороги обновления затихали, и постепенно, исподволь возвращался старый уклад, все зарастало им, как травой, словно здание и работавшие в нем были каким-то стойким растительным организмом с собственными законами обмена веществ. Травой были служащие. Они были неистребимы, сильнее асфальта, крепче времени. Администрация могла повернуться на петлях, выбросить на улицу одних назначенцев и запустить других – работа продолжалась. Могли постелить новый ковер в кабинете нового Заместителя, построить персональный туалет у нового Директора, ввинтить более слабые лампочки у клерков, сочинить новый вычурный колофон для старого ненужного документа, могли сделать все, что угодно, – работа шла по-прежнему. Организм дышал, сознавал себя.

Так что Директору делать было нечего, он это знал, и организм это знал. За очень большое жалованье Директор затворялся в кабинете и чистил ногти блестящими инструментиками затейливого швейцарского ножичка, располагая секретаршей, которая всем грубила и весь день кого-то обзванивала.

Нынешний был богатым и глупым плейбоем; он дал мэру деньги на избирательную кампанию. Все высшие чиновники в департаментах либо дали мэру деньги, либо были придворными, которые пресмыкались ради него в партийном клубе – главным образом, лстя боссу клуба, который до всяких выборов был уже тайным мэром и раздавал посты. Но нынешний Директор ничем не был обязан боссу, потому что дал деньги мэру и назначенцем был мэра, и босс вообще мало его интересовал, потому что он вообще итальянцами мало интересовался. Босс был неаполитанский джентльмен по фамилии Фиоре, председатель правления банка; тем не менее он был всего лишь итальянцем, а Директор предпочитал дружить с голубоглазыми банкирами. Свой телефон он использовал для того, чтобы уславливаться с ними о встречах за обедом, иногда о теннисе. Сам он был голубоглазым Гуггенхаймом, немецким евреем – но не из семейства знаменитых филантропов Гуггенхаймов. Фамилия была хитроумной копией (усеченной из Гуггенхаймера), а сам он – достаточно богат, чтобы сходить за одного из настоящих Гуггенхаймов, которые считали его выскочкой и отмежевывались от него. Знатность требует такта, поэтому отмежевывались так тактично, что никто об этом не знал, даже Рокфеллер, с которым он познакомился в закрытой школе «Чоут».

Этот Директор был красивый, застенчивый мужчина, молодой еще, заядлый яхтсмен; по выходным он носил кеды и дружил с династиями – Сульцбергерами и Варбургамы, которые допускали его на обеды, но предостерегали от него дочерей. Он не удержался в двух колледжах и закончил третий, наняв артель для написания своих курсовых. Он был безвреден, глуповат, чтит память башковитого отца и испытывал смертельный страх перед пресс-конференциями. Не понимал ничего: лучше всего разбирался в искусстве (ему нравились ренессансные ню) и хуже всего в экономике. Если его спрашивали: «Сколько в среднем инвестирует город за день?», или: «Противоречит ли конституции взывание городского налога с иногородних работников?», или: «Каково ваше мнение о льготах по налогам на собственность?», сердце у него подскакивало к горлу, из носа текло, и он говорил, что сейчас ему некогда и за детальным ответом пусть обратятся к заместителю по финансам. Иногда даже вызывал на помощь Путтермессер.



Если бы портрет писался оптимистический, тут бы как раз и перейти к любовной стороне жизни Путтермессер. Ее биография развивалась бы романтически, богатый молодой директор Департамента поступлений и выплат влюбился бы в нее. Она приобщила бы его к высоким материям и делу защиты советских евреев. Он оставил бы свою яхту и погоню за аристократами. Путтермессер резко прекратила бы трудовую деятельность и переехала в коттедж в хорошем пригороде.

Не бывать этому. Путтермессер всегда будет служащей в муниципалитете. Будет всегда созерцать Бруклинский мост за окном, а также любоваться великолепными закатами, вызывающими прилив религиозности. Она не выйдет замуж. Возможно, вступит в долгую связь с заместителем по финансам Вогелем, а может быть – нет.

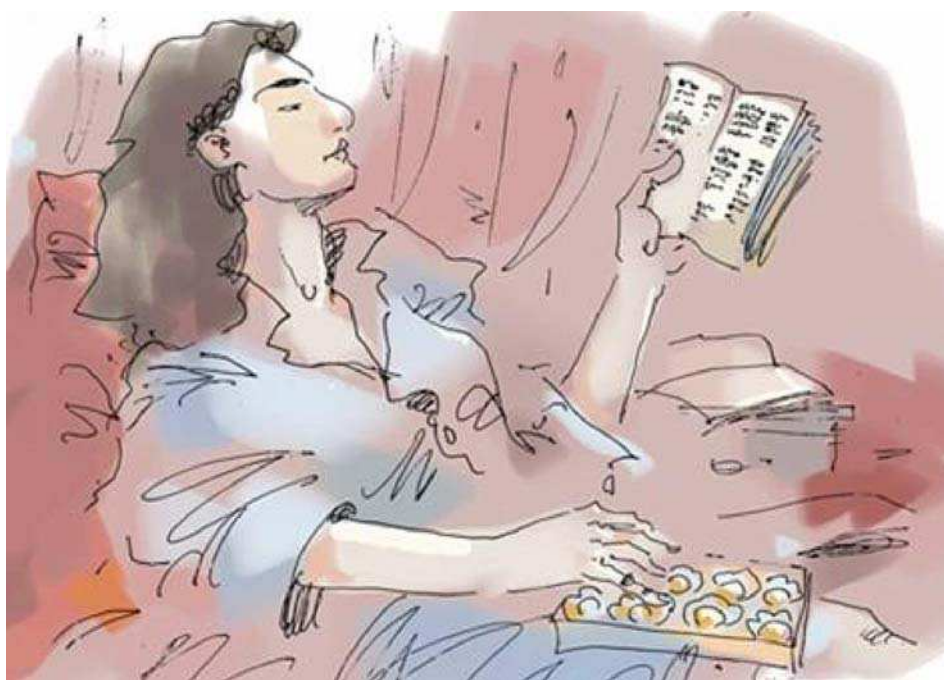
С Путтермессер была та сложность, что она привязывалась к определенным местам.

Путтермессер работала в муниципалитете, и у нее была прекрасная мечта, мечта о Ган Эдене[8] – слова и идею она усвоила от двоюродного деда Зинделя, бывшего шамеса[9] из синагоги, которую давно снесли. В этой модели Райского сада, иначе говоря, загробной жизни Путтермессер, никогда не страдавшая неуверенностью в здешней жизни, еще более была уверена в своих целях тамошних. При ее слабости к сливочной помадке (другие люди ее возраста, социального положения и душевного склада переходили на мартини или, в крайнем случае, на имбирное сидро; Путтермессер же употребляла мороженое с кока-колой, презирала мятные конфеты из-за едкости, избегала соленых канапе с паштетом, скупала «шоколадных младенцев», карамели Крафта, конфеты «Мэри Джейн» из арахиса с патокой, «Милки Уэй», арахисовые козинаки и, съев их, сразу же исступленно чистила зубы – соскребала вину) – при этой неводержанности она была худа и чужда иронии. Или: иронией был только ее постулат загробной жизни – умственная игра, в чем-то схожая с помадкой, тающей во рту.

Короче говоря, Путтермессер будет сидеть там, в Эдеме, под средних размеров деревом, в сплошном пылу и сиянии бесконечного июля, и зелень, зелень кругом, зелень над головой, зелень под ногами, и сама она будет роскошно блестеть от пота, зуд забот исчез, мысли о плодовитости отброшены. И там, представляла себе Путтермессер, она вберет. Под левой рукой наготове коробка с помадками (примерно такими, какие продавали младшим восьмиклассницы после урока кулинарии в 74-й школе Бронкса около 1942 года); у правой руки наготове башня библиотечных книг: филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки из Кротон-парк вознесся на небеса в полной

сохранности, без библиотечарш и штрафов, но с восхитительными земными ароматами – не выветрившимися – переплетного клея.

Здесь сидит Путтермессер. День за днем небесным, в чистоте желаний, в чистоте размышлений, в восторге непрерывающейся вечности, она ест помадки в форме человеческой фигуры (некогда называвшиеся – зачем скрывать? – «негритятами») или помадки квадратной формы (в Эдеме нет кариеса) – и читает. Путтермессер читает и читает. В Раю глаза у нее не устают. И если она все еще не знает, какого решения ищет, то надо просто продолжать читать. Районный филиал библиотеки – здесь такое же райское место, каким он был на земле. Она читает книги по антропологии, зоологии, физической химии, философии (в зеленом воздухе Эдема Кант и Ницше вместе расщепляются на хрустальные занозы). Секция новых книг бесподобна: Путтермессер узнает о корреляции генов, о кварках, о языке знаков у приматов, о теориях происхождения рас, о религиях древних цивилизаций, о назначении Стоунхенджа. Путтермессер будет читать серьезную литературу вечно; и останется еще время для беллетристики! Эдем обеспечен прежде всего вневременностью, и Путтермессер прочтет наконец всего Бальзака, всего Диккенса, всего Тургенева и Достоевского (весь Толстой и вся Джордж Элиот прочитаны еще внизу); наконец-то Путтермессер прочтет «Кристин, дочь Лавранса»[\[10\]](#) и поразительную трилогию Мережковского[\[11\]](#); она прочтет «Волшебную гору»[\[12\]](#), и целиком «Королеву фей»[\[13\]](#), и целиком «Кольцо и книгу»[\[14\]](#); прочтет биографию Беатрисы Поттер, многотомную захватывающую биографию Вальтера Скотта и какую-нибудь из книг Литтона Стрейчи[\[15\]](#) – наконец, наконец!



В Эдеме ненасытная Путтермессер наестся духовной пищи и, может быть, даже насытится. Она будет изучать римское право, сложные разделы высшей математики, ядерный состав звезд, историю монофизитов, китайскую историю, русский язык и исландский.

А тем временем, еще живая, не вознесенная на небеса, она проводила дни под мнимой властью Директора-плейбоя и успевала изучать только иврит.

Дважды в неделю, ночью (так ей казалось), она ехала на урок к деду Зинделю. Когда автобус проезжал по облупленным кварталам, из-под разломанного асфальта порой

проблескивали трамвайные рельсы, словно лезущие на волю сорняки. По детским воспоминаниям Путтермессер трамвайные дни были лучше нынешних: летом вагоны гремели, как маленькие, замкнутые в себе карнавалы; решетчатые борта впускали жаркий ветер, пассажиры безмятежно тряслись на сиденьях. Не то что нынешний автобус, закрывшийся, как раковина, от трюфоб вокруг.

Старик Зиндель-Скряга цеплялся за жизнь среди кухонной вони испаноязычных негров. Путтермессер поднималась по трем маршам лестницы и, прислоняясь к покоробленной двери, ждала, когда вернется с сумочкой бывший служака. Каждый вечер Зиндель покупал в кубинском магазине одно яичко. Он варил его, а Путтермессер сидела со своим учебником для начинающих.

– Ты должна переехать в центр, – говорил старик. – Там у них как следует, языковые фабрики. Берлиц[16]. Университет. У них даже улыпан, как в Израиле.

– Мне достаточно тебя, – сказала Путтермессер. – Все, что они знают, ты тоже знаешь.

– И кое-что еще. Почему ты не переедешь на Манхэттен, в Ист-Сайд, чудо мое?

– Квартиры слишком дорогие. Я унаследовала твою скупость.

– И что за фамилия? Хороший молодой человек знакомится с такой фамилией – он смеется. Ты должна взять другую, милая, приятную. Шапиро, Левин, Коэн, Гольдвайсс, Блюменталь. Я не говорю другую – кому нужно Адамс, кому нужно Маккей, – я говорю, фамилию, а не насмешку. Твой отец сделал тебе плохой подарок. Молодая девушка – «нож для масла»!

– Я сменю ее на Маргарин-мессер.

– Оставь свои ха-ха. Мой отец, твой прапрадедушка, в пятницу вечером не разрешал положить нож на стол. Когда подходило к кидушу – никаких ножей! Никаких! В субботу – инструмент, лезвие? Оружие в субботу? Острие? Резать? То, что пускает из человечества кровь? То, что делает войну? Ножи! Никаких ножей! Ни в коем случае! Чистый стол! И заметь себе. У нас – есть только мессер, нож, ты понимаешь? У них меч, у них копье, у них алебарда. Возьми словарь – я смотрел. Чего только не носили эти рыцари, страшно подумать! Посмотри в книгах, ты увидишь: сабля, рапира, шпага, десять дюжин еще всего. Пика! У нас пикша – рыба. Не говоря уже, что они теперь штык надевают на ружье – и кто знает, что еще у бедного солдата в кармане. Может быть, кинжал, как у пирата. А у нас – у нас что? Мессер. Путтермессер, ты отрезаешь кусок масла, ты режешь, чтобы жить, не чтобы убивать. Честная фамилия, ты понимаешь? И все-таки для молодой девушки...

– Дядя Зиндель, мне за тридцать.

Дед Зиндель заморгал; веки были, как крылышки насекомого, прозрачные. Он видел ее в путешествии, в путешествии. Крылышки глаз накрыли Галилею. Потом могилу Патриархов. Слеза о слезах мамы Рахиль уселась на его нос.

– Твоя мать знает, что ты летишь? Одна на самолете, такая молодая девушка? Ты написала ей?

– Я ей написала, дядя Зиндель. Я никуда не лечу.

– В море тоже опасно. Что себе мама думает – кто там есть, в Майами? Мертвые и умирающие. В Израиле ты кого-нибудь встретишь. Ты выйдешь замуж, ты заведешь семью. Какая разница – в наши дни, такое время, быстрый транспорт...

Яйцо деда Зинделя поспело – сварилось вкрутую. Он обстучал его, скорлупа отошла осколками. Путтермессер рассматривала алфавит: алеф, бет, гимель; она не собиралась в Израиль, у нее дела в муниципалитете. Дед Зиндель, жуя яйцо, начал наконец учить.

– Вот, посмотри, куда гимель и как заин. Близнецы, но одна брыкает ножкой влево, а другая вправо. Ты должна упражнять разницу. Если ножки не помогают, думай – беременные животы. Госпожа Заин беременная в одну сторону. Госпожа Гимель в другую. Вместе они рожают гез[17], это то, что отрезают. Ночь для ножей! Слушай, когда пойдешь отсюда домой, сегодня будь особенно осторожна. Мартинес сверху, не соседка – ее дочь ограбили и взяли.

Шамес жевал яйцо, а под его челюстями, склонив голову, Путтермессер упражняла животы святых букв.

Стоп! Стоп, стоп! Остановись, биограф Путтермессер, стой! Пожалуйста, оторвись! Это верно, что биографии выдумываются, а не фиксируются, но тут ты слишком много выдумала. Символ допустим, но не целая же сцена: не надо раболепно приспособливаться к романтическим вымыслам Путтермессер. Не обладая большим воображением, она буквально воспринимает то, что есть. Зиндель лежит в земле Стейтен-Айленда. Путтермессер никогда с ним не беседовала – он умер за четыре года до ее рождения. Он весь – легенда: Зиндель Скряга, который даже в Ган Эдене не станет кушать яблоки, а будет беречь, пока они не сгниют. Не умудренный Зиндель. Почему Путтермессер должна так воспаляться из-за корявых фраз шамеса снесенной синагоги?



(Синагогу не снесли и не покинули. Она рассыпалась. Крошка за крошкой – исчезла. Некоторые окна пали от камней. Скамей не было, только деревянные складные стулья. Мало-помалу они развалились. Молитвенники расслаивались: расслаивались переплеты, клей отклеивался, рассыпался коричневыми чешуйками, листы становились хрупкими и рассыпались на конфетти. И община рассыпалась: сначала женщины, жена за женой, жена за женой, каждая жемчужина и утешение, и остались стоять – они, вдовцы,

хилые, с остановившимся взглядом, паралитичные. Одни, в ужасе. Старейшины, Ветераны! А потом и они рассыпаются, и шамес среди них. Синагога превращается в струйку дыма, в соломинку, в пушинку, в волосок.)

Но ей требуется предок. Путтермессер нуждается в корнях – какой же еврей без прошлого? Бедная Путтермессер очутилась в мире без прошлого. Мать ее родилась в шуме Мэдисон-стрит и ребенком была перевезена в гам Гарлема. Ее отец был почти янки: его отец оставил торговлю вразнос и стал капитанствовать в галантерее города Провиденса, штат Род-Айленд. Летом он продавал капитанки и на всех фотографиях был снят в капитанке. От прежнего мира осталась только эта одна крупинка воспоминаний: что когда-то один старик, дядя матери Путтермессер, подпоясывал штаны веревкой, звался Зинделем, жил холостяком, питался экономно, знал святы буквы, умер с тернистым английским между деснами. Держится за него Путтермессер. Америка – пробел, и дядя Зиндель – единственный ее пращур. Чуждый иронии, обделенный воображением, простой, но точный, ее ум настойчиво ищет кого-нибудь за родителями – что у них было-то? Изо дня в день кофе по утрам, стирка белья, изредка вылазка на пляж. Пробел. Что они знали? Всё, что знали, знали из кинофильмов, кое-что – обрывки – из газеты. Пробел.

За родителями, позади и до них, – теснятся, толпятся. Их видит Путтермессер на старых фотографиях еврейского Ист-Сайда. Видит длинное пальто. Видит женщину с тележкой – она навязывает людям лук. Видит маленького ребенка с пальцем во рту – он станет судьей.

За судьей, позади и до него, – тоже теснятся. Но их Путтермессер не может разглядеть. Маленькие города, городки. Зиндель родился в доме с плоской крышей, в небольшом отдалении от реки.

Что может сделать Путтермессер? Она начинала жизнь как дочь антисемита. Отец не желал есть кошерное мясо – говорил, что слишком жесткое. У него не было суеверий! Он взял мать измором, и она стала ходить на обычный рынок.

Сцена с дедом Зинделем не имела места. Как же любила Путтермессер его голос в сцене, которой не было!

(Он в земле. Кладбище – многолюдный город игрушечных небоскребов, теснящихся. Родившись в деревянном доме, Зиндель имеет теперь каменную крышу. Кто хоронил его? Чужие из землячества. Кто сказал слово о нем? Никто. Кто его теперь помнит?)



Путтермессер не помнит деда Зинделя; мать Путтермессер не помнит его. Имя в устах мертвой бабушки. У ее родителей нет родословной. Поэтому Путтермессер радуется модуляциям голоса деда Зинделя над кубинской лавкой. Дед Зиндель, когда был жив, не доверял строительству Тель-Авива, потому что был практичным человеком, Мессия не ожидался скоро. Но теперь, в сцене, не имевшей места, до чего естественно он предполагает, что Путтермессер отправится к клочку земли на Ближнем Востоке, окруженному ножами, ракетами, базуками!

Сцена с дедом Зинделем не имела места. И не могла иметь, потому что, если Путтермессер смеет учреждать свою родословную, мы не смеем. Ее, Путтермессер, надо рассматривать не как артефакт, а как сущность. Кто сотворил ее? Не имеет значения. Отныне Путтермессер будет фигурировать как данность. Вернем ее в Департамент поступлений и выплат, к конторским евреям и партийным назначенцам. Пока зимние сумерки скрадывают Бруклинский мост, выслушаем ее мнение о льготах по налогу на собственность. Вопреки тому, что сказал Харт Крейн в своей поэме[18], мост не арфа. Тросы его – тюремная решетка. Чиновницы Ефимова, Королева, Акулова, Архипова, Израилова сидят в Колпачном переулке, а самовлюбленный генерал Вырьин – нет. Он сидит на улице Огарева. Бывшая жена Джоула Зарецки бесплодна. Директор надевает кеды. Он звонит. Мистер Фиоре, учтивый теневой мэром, двигатель официального мэра, тоже звонит. Эй! Биограф Путтермессер! Что ты сделаешь с ней теперь?

Перевод с английского Виктора Гольшева

[1] Так обычно называется студенческий журнал юридических факультетов.

[2] Игра вроде тенниса; противники стоят не друг против друга, а бьют по мячу, отскочившему от стенки.

[3] Грейт-Нек – поселок в Лонг-Айленде, куда после второй мировой войны переехало много евреев-ашкенази.

[4] Скарсдейл – городок на севере Нью-Йорка с высоким средним уровнем доходов.

[5] Касл-Гарден, форт на южной оконечности Манхэттена, с 1850 по 1890 год служил пунктом приема иммигрантов.

[6] Провиденс, столица штата Род-Айленд – один из первых городов, основанных в США (1636 год).

[7] Этими словами приветствовал Ливингстона разыскавший его в Африке Генри Стэнли.

- [8] Ган Эден – сад блаженства (иврит), Эдем.
- [9] Шамес – служка, смотритель синагоги (идиш).
- [10] Роман норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882–1949).
- [11] «Христос и Антихрист» (1896–1905).
- [12] Роман Томаса Манна (1875–1955).
- [13] Поэма английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599).
- [14] Роман в стихах английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889).
- [15] Литтон Стрейчи (1880–1932) – английский биограф, историк, литературный критик.
- [16] Курсы для изучения иностранных языков по методу Максимилиана Берлица.
- [17] Скошенная трава (иврит).
- [18] Поэма «Мост» (1930).

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Из своей поездки в Одессу поэт Александр Рапорт привез тщательно изданный интереснейший литературоведческий сборник «Дом князя Гагарина». Среди прочих солидных и дотошных публикаций в нем целиком присутствует томик Георгия Шенгели (1914–1939) «Еврейские поэмы», изданный в Одессе в 1920 году.

«Эта книга отпечатана Экономической типографией по поручению книгоиздательства “Аониды” в количестве 360 экземпляров на простой бумаге и 40 нумерованных экземпляров на бумаге ватманской» – так сообщает о скромном тираже в четыреста экземпляров забытое издание.

В разделе «Рифмы и мы» журнал «Лехаим» публикует творчество поэтов нынешних. Тем не менее представляется мотивированным напечатать десяток блистательных стихотворений из давней книги Георгия Аркадьевича Шенгели, о котором Юрий Олеша когда-то сказал: «Он навсегда остался в моей памяти как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек – как человек, одержимый служением слову, образу, воображению...»

Остается поблагодарить издателей одесского альманаха за позволение позаимствовать стихи из их публикации.

Аїתֹּד יִיִאֵי

Семиты

Разомкнут горизонт, и на простор из плена
Прибоем яростным летят сыны земли.
В излогах берегов воздвигнулись кремли,
Сидона гавани и молы Карфагена.

А на глухой восток, где каменная пена
Ливанских гор горит, вся в щебенной пыли,
В горящий зноем горн упорно залегли, –
В двенадцать областей, – ревнивые колена.

Их черные глаза во глубь обращены,
Считают вихри сил в провалах глубины,
Где в темном зеркале мерцает лик Йе-говы.

Где наковальнею и молотом душа
Сама в себе плотнит навечные оковы,
Вдали от вольных вод безвыходно греша...

Пустынник

Полуднем пламенным, среди каменных долин,

С мечом губительным своим.
И темной смертью потряся,
Ты одолел неравный торг,
И плен трехвековой расторг,
И вывел свой народ из края,
Где каждый глиняный кирпич
Замешен был на детской крови,
Где истекал в бессильном зове
Непрекращающийся клич.
И сорок лет в песках пустыни
Твой вился, твой метался след,
И ропоты, и крик гордыни, –
Ты сокрушал их сорок лет.
Ты медного воздвигнул змия,
Ты золотого сжег тельца,
И пеплом воды ключевые
Заквасил ты, и до конца
Их пили павшие в пороках.
В теснинах, на горах высоких
В борьбе с напором вражьих сил
Ты встал в молении трехдневном
И, к небесам в упорстве гневном
Вздвиг руки, их окостенил.
И говоря в синайских громах
С железогласым Б-жеством,
Ты выбил в каменных отломах
Законы вековым резцом.
И яро раздробив скрижали
У ног отпадших сыновей,
Вновь шел ты в громовые дали
Средь вулканических зыбей.
И Б-гу рек: – Не смей карать их!
А если нет – то и меня
Извергни в огненных проклятьях
Из вечной книги бытия! –
И к утру, помертвев в печали,
Ты головы поднять не мог.
А над тобой покорный Б-г
Чеканил новые скрижали.

Ависага

Подобно углю, что, истекши жаром,
Холодной опыляется золой, –
Певец Давид скрывает пеленой
Плеча, не опаленные загаром.

На ноги тянет теплые меха,
Велит жаровни разожечь у ложа,
Но старческая леденеет кожа,
И сердца жизнь – неслышимо тиха.

Но в жаркий полумрак опочивальни,
В дыхание сандаловых углей
Вдруг вбрызгивается простор полей,
Польный, пряный дух долины дальней:



Безропотна, испуганна, проста,
Суннамитянка входит Ависага.
Плывет очей сапфировая влага,
И рдеет смуглой кожи теплота.

И душное откинув покрывало,
Скрываючи томленье и испуг,
Она сплетением горячих рук
Царя больную грудь опеленала.

И к ней прильнувши грудью золотой,
Над мглой царевых глаз клоня ресницы,
Сияла теплым взглядом кобылицы
И дрожью мышц передавала зной.

И греющее было сладко бремя,
И оживленный призывает царь
Начальника певцов и хор, как встарь,
Ладонью прикрывает лоб и темя.

И – огненосный пенится псалом,
Как смоквы зрелые, спадают звуки.
В них клокотание последней муки,
Последней радости свежащий гром.

А Ависага простирает взоры,
Не слушает великого певца:
Пред нею солнце, солнце без конца
И знойные ее родные горы.
Экклезиаст

Закат отбагровел над серой грудой гор,
Но темным пурпуром еще пылают ткани,
И цепенеет кедр, тоскуя о Ливане,
В заемном пламени свой вычертя узор.

И черноугольный вперяя в стену взор,
Великолепный царь, к вискам прижавши
длани,
Вновь вержет на весы движенья, споры,
брани
И сдавленно хулит свой с Б-гом договор.

Раздавлен мудростью, всеведеньем
проклятым,
Он, в жертву отданный плодам
и ароматам,
Где тление и смерть свой взбороздили след, –
Свой дух сжигает он и горькой дышит гарью
– Тростник! Светильники! – и нежной
киноварью
Чертит на хартии: Все суета сует.

Разрушение

Кровь стала сгустками от жажды
воспаленной.

Иссохшая гортань не пропускала хлеб.
И город царственный весь превратился
в склеп.

И в знойных улицах клубился пар зловонный.

И вот – задавлены. Искромсаны колонны,
И покоренный царь под иглами ослеп,
И победители, как по пшенице цеп,
Прошли по всей стране грозою
иступленной.

Из чаши жертвенной поили лошадей,
Израли мантии для седел и вожжей,
И Летопись Царей навек запечатлели.

Минувшим, небылым святая стала быль.
Но в Раме выжженной восплакала Рахиль,
И те рыдания сквозь время пролетели.

Кровь Захарии

Захария убит. И кровь его семь лет
Стояла лужею, клубясь горячим паром,
О преступлении вещая в гневе яром
И Г-спода моля о ниспосланье бед.

И кровью теплою свой окропляя след,
Навуходоносор железным пал ударом;
Иерусалим овит клокочущим пожаром,
– Но кровь Захарии – как неизбывный бред.

Откуда эта кровь? – царь спросил евреев,
И сжегши сто быков и пеплом кровь усеяв,
Вновь лужу свежую узрел на месте том.

Сто юношей он сжег, и так же кровь пылала.
– Тогда я весь народ здесь поражу мечом! –
И семилетнюю тоску земля впитала.

Спиноза

Они рассеяны. И тихий Амстердам
Доброжелательно отвел им два квартала,
И желтая вода отточного канала
В себе удвоила их небогатый храм.

Растя презрение к неверным племенам
И в сердце бередя невынутое жало,
Их боль извечная им руки спеленала
И быть едиными им повелела там.

А нежный их мудрец не почитает Тору,
С эпикурейцами он предается спору
И в час, когда горят светильники суббот,



Он, наклонясь к столу, шлифует чечевицы
Иль мыслит о судьбе и далее ведет
Трактата грешного безумные страницы.

Храм

Победоносного Израиля оплот
И Б-га Вышнего приют неистребимый!
Где слава гордая? Исчезла, точно дымы,
И в трещинах стены убогий мох растет,

Да юркая пчела, собирая дикий мед,
Жужжит и вьется там, где пели серафимы,
И вековечную стальной тоской томимый,
У врат святилища рыданья льет народ.

Но храм разрушенный все был на страже Б-га:
Когда Отступника влекла его дорога,
И Я-гве алтари он дал богам земным, –

Вкруг идолов огонь запольхал багряно.
Израиль, радуйся развалинам твоим:
В них гроб язычества и плаха Юлиана.

Иудеи

Народ, чье имя – отгулье Иуды,
Влачащий на себе его судьбу, –
О, не в твоём ли замкнутом гробу
Созрели пламенеющие руды?

Но там ли Б-г сокрыл свою трубу,
Чей вопль сметет последние запруды,
Когда на суд прихлынут трупов груды,
И гордый царь поклонится рабу?

Народ! Влачи звенящие оковы:
Ты избран повеленьем Ие-говы
Распространить священные лучи.

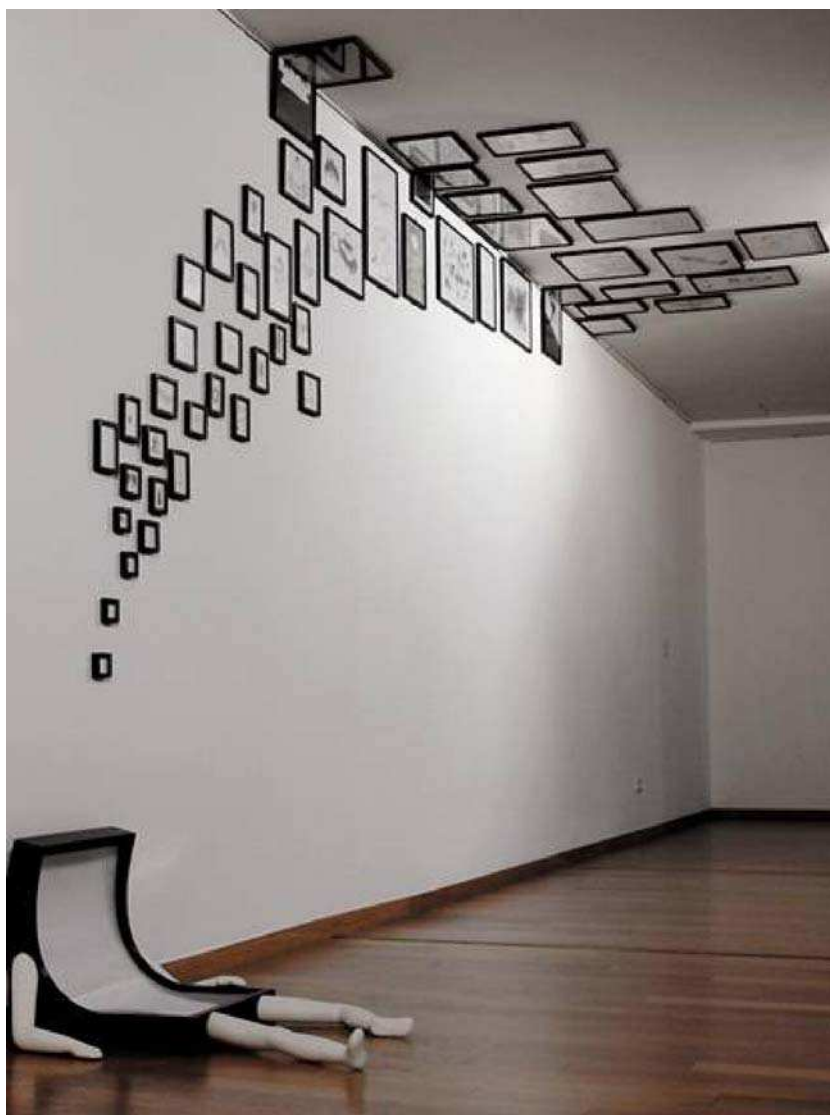
И миру благовествуя спасенье,
Иди! Иди закланцем отпущенья,
И о своем страдании – молчи.

*Публикацию подготовил
Асар Эппель*

ПЛАЧУЩИЕ ДЕМОНЫ

Àëàèñàí àð Àíëüüò ò àéí

В издательстве «Новое литературное обозрение» готовится к печати книга известного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) «Памяти пафоса», составленная из статей, рецензий и интервью разных лет. «Лехаим» предлагает своим читателям одну из «глав» книги – эссе 1997 года «Плачущие демоны».



Инсталляция в Национальном музее современного искусства. Будапешт. 2008 год

Все никак не поспеет зима, лишняя деталь климата выпала за ненадобностью и к повествовательной выгоде – удобно откупорить заметку петляющей бестолочью, изобразив, как на стыке теплого декабря-января сидели в настесь распахнутой забегаловке с тель-авивским поэтом Наумом Вайманом, он при пиве, я ноздрями в апельсиновом соке (кому бы отрекламировать этот продукт за скромную мзду на манер двуязычного классика-педофила: от одной, дескать, утренней порции исчезают дневные

невзгоды). Тема застольного трепа, из которой торчал обласканный Европейским сообществом фильм Ларса фон Триера «Расекая волны», на этот раз в нас обоих запала. Пересказывая содержание картины, Вайман сердился, что заявленные в ней и лично ему чрезвычайно дорогие мотивы искупительной жертвы, преодоления греха страданием, святости, чуда и того безоглядного простодушия мужества, которое расталкивает реальность, заставляя ее стать иной, были для большей доходчивости опрокинуты в заведомую экранную пошлость и профанированы до понимания средневерхних буржуазных слоев, в нашем случае – тель-авивского культур-политического бомонда, обрыдавшего платочки на локальной премьере в «Синематеке». На мой взгляд, однако, все это уже не предмет мало-мальски серьезного разговора. Дистанция, отделяющая сегодня якобы неудачное искусство от так называемого хорошего и, в особенности, замечательного, неизмеримо – настолько, что ею можно и пренебречь, – ничтожнее расстояния меж бесцельным современным шедевром и тем безнадежно утраченным онтологическим статусом, которым искусство обладало когда-то, но напрочь лишилось теперь. О смерти художества нынче только покойник не скажет... С другой стороны, возведенная в степень истории, погребальная нота не кажется вовсе банальной, ибо гибель этого рода случалась не раз – так, например, ухнуло монастырское книгописание, самозаконная цивилизация летописных сводов, заставок и буквиц. Все же вопрос должен быть поставлен иначе, на другое ребро. Искусство не улетучилось, но ничего больше не значит, и в подтверждение этого персонального тезиса выложу два аргумента.

Первый звучит следующим образом: никогда не было так много искусства и никогда оно не было столь бесповоротно отрешено от абсолютного духа и мирового события. Корень зла видится в том, что художественное творчество последних десятилетий совершенно не отвечает грандиозному характеру происходящего в мире: немощный карлик, оно умещается в отпечатке ступни великана и, естественно, отказалось от мысли поспеть за его шагом. Наиболее проникательные наблюдатели предрекали это давно. Сейчас уже ясно, что фразу о невозможности поэзии после концлагеря надлежит истолковать не как сентиментальную констатацию неместимости новаторского трагизма в привычную лирику с ее традиционно расчисленным спектром эмоций, но как арифметически проверяемое свидетельство фатального несоответствия двух масштабов: стихотворного (и в целом – художественного) и исторически-событийного. По всей вероятности, искусство не заслуживает обвинений в свой адрес – импотент не может быть Казановой, как ты ни соблазняй его дивными наслаждениями. В том виде, в каком артистизм сложился на сегодняшний день, он не способен ответить на безудержный вызов мира с его непрерывными войнами, национальной жестоковыйностью, добровольной демографической гекатомбой навыворот во исполнение мрачнейших мальтузианских пророчеств массовым ожиданием конца света, всевластием электронных коммуникаций и всей бездной алчности, напора и пугающего, любовью порожденного бескорыстия. Сомневаюсь, что хоть какой-нибудь художественный акт может сравниться по своей силе и резонансу с нервно-паралитическим буддизмом в токийском метро, с этим прощальным «Аум» над страной и миром, а тем временем старый актер Билли Грэхем продолжает уловлять стадионы, и стоит ему под занавес проповеди объявить всенародное покаяние, как десять тысяч спелыми гроздьями падают со скамей. Искусству давно уже недоступна такая акустика, и потому оно скользит мимо жизни и мимо смерти, безвольно растворяясь в общем смесительном лоне. Можно сказать, что оно – не война, не газовая религия, не сумасшедшее братство самоубийц, не что угодно другое. В таком случае пусть не сегодня, но в конечном итоге ему придется стать войною, религией, сумасшедшим братством, чем угодно другим, коль скоро оно снова желает соприкоснуться с реальностью, с тканями мира.

Сергей Курехин – его смерть явилась наихудшим уроном, какой можно было бы в подрывных целях предназначить русской культуре, – понимал это за себя и за тех, кто предпочел бы не думать о непотребстве и путях возрождения. Сознывая всю тяжесть мечты о синтезе, космической революции, рождении нового существа, он на меньшее был уже не согласен и рассказывал о чаемой им битве Богов и Титанов, о своем предчувствии новой цивилизации, которая должна утвердиться на принципиально иных основаниях. Если это не состоится, не будет всего остального. Но пока говорить о том рано, ибо не свершилось еще ничего – мы бы узнали.

Довод второй я определил бы как «кризис репрезентации», исчерпанность выставочного принципа. Тому, кто постоянно вовлечен в реальность, в ней действует и ощущает ее давление на себе, невыносимо воспринимать искусство как нечто огороженное и укрытое в резервации, отделенное от зрителя рампой или невидимой, охраняемой законом преградой. Такому человеку мало отстраненного эстетического созерцания, а необходимо прямое – до катарсиса! – участие в художественном происшествии. Ему нужен всеобъемлющий опыт пересоздания, мистериального преобразования своего естества, который испытывали рядовые агенты элевсинских обрядов, а спустя пару тысячелетий круглосуточные обитатели каких-нибудь языческих Вудстоков рок-н-ролла, откуда тоже изошла вся энергия.

Говорю от своего, не чужого лица, напрашиваясь на возражение и не принимая его. Так вот, невозможно заставить себя выползти в театр, кино, на выставку или, допустим, рок-концерт, где пред тобою заявятся всё те же трое козлов с гитарами, четвертый на барабанах, – и там слушать, смотреть, иногда в такт подпрыгивать, зная, что все эти зрелища завинчены таким образом, чтобы зритель и лицедей остались по разные стороны. Да будь они и вместе, это не доставило б радости ни тому ни другому, потому что, как писали еще русские символисты, вымыт и выветрен общий принцип, соборное обоснование, миф и алтарь, вокруг которого можно плясать, взявшись за руки. «Ты просто не любишь искусства», – удовлетворенно сказал мне мой упомянутый в начальных строках собеседник. «Это чистая правда», – произнес я в ответ и сейчас повторяю, если кому интересно.

Искусство неоднократно проходило сквозь смерть, без которой немислимо второе рождение, и всякий раз возникал все тот же образ спасения, что заставляет считать его подлинным, прикосновенным к самым глубоким и цельным слоям нашего опыта. Чтобы воскреснуть, искусство может быть лишь теургическим, чудотворным. Теургия берется здесь в исконном смысле правильного богослужения, строгой жреческой практики, не обмирщенной слякотными уловками морализаторства и гуманитарного психоложства. Иное дело, что гадать предстоит и на чужих, и на собственных внутренностях. Еще Паскаль заметил, что поверит лишь такому свидетелю, который даст себя зарезать, но при этом, к сожалению, ни словом не обмолвился о столь же поучительном опыте человека с ножом. Нынешнее искусство недостоверно, неубедительно, вот почему от него отвернулись. Единственный же способ вернуть к себе доверие – сотворить объективное, натуральное чудо, внятное всем, кому доведется присутствовать. Чудо, как говорил еще просветитель-расстрига Лагарп, «есть деяние сверхъестественное, а не совсем невозможное и потому не может быть иначе доказываемо, как дело естественное». Другими словами, искусство вновь должно стать магическим волюнтаризмом, увенчанным объективно подтвержденными результатами своей волшбы.



А. Гольдштейн

Уже нет никакого сомнения, что я говорю о сионизме – реально-убедительной практике магико-теургического искусства, сумевшего явить неопровержимый пример чуда. Государство Израиль вызвано к жизни литературой: несколько текстов собрали в себе всю силу волюнтаристского обетования, во исполнение которого построены города на песке и болотах. Конкретная цель сионизма формулировалась как создание государства евреев на земле предков. На самом же деле сионизм означал преодоление роковой неподвижности еврейской истории, которая, с одной стороны, возобновляла свою дурноту за счет вечного возвращения внешних преследований, а с другой – питалась безвременьем, сочившимся из-под молитвенного покрывала иудаизма. То была поистине утопическая задача, и она тут же получила адекватную реальности оценку в трезвомыслящей либеральной еврейской среде. Но эпиграфом к роману «Альтнойланд», эпиграфом, который стал девизом сионистского движения и гласил: «Если вы захотите, это не будет сказкой», Герцль показал, что не намерен связывать свою мысль и поступок с пространством возможного, заповедав нам область безумного и несбыточного, каковая могла быть побеждена лишь выходящим из пределов всякого вероятия актом Желания, сгущенного до чудотворной своей концентрации. Безошибочно проницая законы магико-теургического искусства, а следовательно, сионизма (между ними нет разницы), Герцль смог довести свое слово до последнего градуса Желания и подчиняющей непреложности пророческого завета. Государство Израиль было провозглашено всего на несколько месяцев позже той даты, которую он указал за 51 год до того, выступая на Первом Сионистском конгрессе.

Сегодня в Израиле об этом вспоминают с умилением, но в расчет не берут, ибо разучились желать и не видят в том надобности. Подлинный, творческий сионизм здесь в загоне, и закономерно, что в Израиле нет нынче искусства, как нет времен года. У истэблшментарных правых сионизм выродился в плоскую антикультурную идеологию охранительного национал-патриотизма, а радикальные правые группы, казалось бы не утратившие динамики, отличаются пещерным уровнем мышления. Левые капитулянты, готовые лечь ради пошлого мира с ненавидящими их врагами, в ужасе закрывают лица, встречаясь с архаическим идолом сионизма, и мечтают низвергнуть это неприличное изваяние в Иордан, утопить его в Средиземном море близ «Шератонов» и «Хилтонов». Мы живем в эпоху постсионизма, гипнотизируют левые свою паству и настаивают на несовместимости воззрений отцов-основателей с демократией конца века. Они правы.

Даже простецкий и нынешний, в пропотевшей солдатской хэбэшке и воспитанный в уставном подчинении сионизм не всегда солидарен с либеральными нуждами, а что уж сказать об излишествах теургии, которая сама творит свой закон. Но когда настанет пора решающих предпочтений и на одну чашу весов будет брошена эта старая еврейская идеология, а на другую – регламент и норма, каждый, в ком еще не угасла воля к строительству, сделает выбор в пользу магического искусства, как он выбрал бы не болезнь, но здоровье. Об этом хорошо думается у склепа Макса Нордау, на кладбище в центре Тель-Авива.



Менахем Бегин во время выступления. Тель-Авив. 1950 год

Ни на одном из виденных мной почетных погостов нет такой атмосферы присутствия незримых и внимательных к тебе существ, скорей материального, чем бесплотного свойства. Они не говорят, чего им от тебя надо, и от этого не по себе. Чуть более позднее ощущение сводится к тому, что вреда они не причинят, но не отведут глаз и попробуют снестись с тобой через сотрудничество в болезненных сферах мышления. Следом является другое наитие, и к нему тебя тоже ступенчато отрядили призрачные соглядатаи: оказывается, не разглашая, из чего сделаны их организмы, существа оповещают о месте своего гуртового скопления, приглашая и требуя его посетить. Токи пронзающей безотрадности и невоплотимой алчбы льются с кладбищенского участка диаметром в несколько десятков метров, где упокоились Ахад а-Ам, Хаим-Нахман Бялик, Хаим Арлозоров, Меир Дизенгоф и другие формовщики новой израильской нации. Войдя в эту тихо поющую обитель тоски – а уже слышны какие-то голоса, – твоё тело подводит тебя к средоточию магнетических излучений. Оно находится в склепе Макса Нордау, приплюснутом домике, изнутри чуть подтепленном поминальными свечками. Зрение опознает земляной пол, замусоренный по углам остатками древних цветов, окурками и дрянью неизвестного происхождения. Здесь голоса становятся отчетливо различимыми, складываясь в неприятный для уха, но, в некотором ином измерении, гармоничный и мелодический взвой. Это не Сирены и не Эринии. То плачут демоны сионизма. Никчемные и покинутые, они жалуются на судьбу, на постылое время. Так могло бы плакать оружие, которое отлучили от битвы.

Писатель, культур-критик и врач, Нордау усмотрел вырождение в искусстве конца XIX века и предпочел работу на сионистском поприще, дышавшем нерастраченной энергией. Выбирая между болезнью и здоровьем, он не постеснялся осудить первую и восславить второе. Теперешняя ситуация неизмеримо драматичнее той, что сложилась сто лет назад, когда Нордау надсаживал голос, дабы внедрить свой выбор в уши среднего еврейского европейца. Недугом безволия охвачена как сфера художественного, так и собственно сионистского изъявления, бледная нежить завелась в обоих телах, забывших о

созидательной магии, как забывают о прошлом на островах лотофагов. Меж тем эти тела невозможны без здоровья и презрения к постельной иронии. Их современный, в отдельной палате, больничный режим – зловещий гротеск, против которого нужно орать во всю глотку.

Перечитав эти строки, я понял, что должен задать себе несколько важных вопросов. Хочется ли мне жить в государстве волевых теургов с их причудливой этикой жертвоприношений? Будет ли этот строй благоприятен для искусства и ему идентичен? Смогут ли они сотворить чудо? Не уверен, что сейчас я готов ответить на эти вопросы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ И КОНКУРСНАЯ ПОЛИТИКА

Аיא עמית

Израильская Неделя книги удивила в этом году количеством продаж, превзошедшим все прошлые достижения. Книги покупали столь активно, что комментаторы, склонные к восторженности, объявили о наступлении периода духовности ввиду отступления идеологии потребительства (очевидно, имелся в виду глобальный экономический кризис).



Йоси Сарид

Более уравновешенные наблюдатели отнесли столь необычную читательскую активность на счет небывалых скидок, предложенных организаторами события. Остроумцы даже предлагали переименовать «Неделю книги» в «Неделю грошовой книги». Книги продавали по цене дешевого мороженого.

Такая тактика вызвала серьезную дискуссию. Защитники скидок утверждали, что низкие цены призваны вернуть народ к книге и приучить родителей, не склонных тратить деньги на бумажную продукцию, включать покупку книг в семейный бюджет. Их противники уверяли, что, поскольку распродажа в основном производилась за счет неликвидов, речь идет о празднике победы плохой книги над хорошей, а это не может считаться ни триумфальным возвращением народа к печатному изданию, ни воспитательной акцией.

Склоняясь к мнению последних, я нашла подтверждение их позиции в сценке, подсмотренной в поезде: мамаша, с напряжением морща лоб, читала сыну смазанный и к тому же набранный петитом текст про мезозойскую эру, тогда как юноша лет шести требовал показать ему на еще более смазанной картинке того орангутанга, который стал предком всего человечества. Картинка бракованного издания, на обложке которого красовалась наклейка «10 шекелей», не позволяла обнаружить орангутанга, и мои соседи по поезду сошлись на саблезубом тигре – юноше понравились клыки, его маменьке, я полагаю, пришелся по вкусу мех. В этот момент мне очень хотелось встать на защиту Адама и Евы – почетнее произойти от Б-гоподобных, нежели от саблезубых.

Однако Неделя книги – это не только неделя читателя, но и неделя активизации писательской жизни. Газеты печатают интервью с писателями, рассказы о новых книгах и новых именах, а заодно дают общую сводку литературных событий за год. Включаются в фестивальное действо и радио с телевидением.

Неделя книги – время писательских тусовок, официальных и сугубо частных, на которых страстно обсуждаются книги и их авторы, особенно если последние живы и сплетничают за соседним столиком того же кафе.

Основным поводом для сплетен и взволнованных обсуждений служат обычно домыслы о решениях жюри главного литературного конкурса Израиля «Прас Сапир» («Премия Сапира»), результаты которого объявляются на торжественном вечере, приуроченном к Неделе книги. Вечер этот и есть главная литературная тусовка года, на которую загодя стараются получить приглашение. В нынешнем году суэта вокруг премии вышла за пределы писательского тусовочного быта и стала всенародным достоянием, то есть попала наконец в новостные сводки.

Премия Сапира (названная в честь бывшего министра финансов Пинхаса Сапира) была учреждена в 2000 году государственной компанией по проведению лотерей «Мифаль а-Пайс» по образу и подобию английской премии «Букер». Издательства представляют на премию своих кандидатов, жюри из семи человек отбирает из общего списка пять книг и награждает одну из них премией в 150 тыс. шекелей и не менее ценным подарком – бесплатным переводом на любой язык по выбору автора. Все пять финалистов получают поощрительный приз в 25 тыс. шекелей. Помимо этого, выдаются премии в 25 тыс. шекелей за лучший перевод и за лучший дебют.

Надо сказать, что рекламная ценность премии не ниже ее денежного эквивалента. Так, во время недели книги все пять номинированных романов распродавались в повышенном темпе, а некоторые срочно допечатывались. Кроме того, номинанты и лауреаты могут рассчитывать не только на благосклонность издательств в дальнейшем, но и на переводы, а также на различного рода бонусы, как-то: курсы лекций, заказы на всякую околотекстурную продукцию, поездки за границу в составе делегаций и т. д. Короче, быть призером «Сапира» хорошо и почетно.

В этом году в длинном списке номинантов фигурировало 82 наименования, выдвинутых 22 издательствами. Приз переводной книге решили не давать, зато вручили сразу две премии начинающим авторам: Ирми Пинкусу за книгу «Историческое кабаре профессора Фабриканта» (см. наш материал об этом: Лехаим. 2009. № 2) и Райе Зайт за книгу «В четыре после обеда».

За основной приз боролись Амнон Данкнер (роман «Дни и ночи тети Евы»; см. наш материал об этом: Лехаим. 2009. № 4), Нурит Герц, Ирис Лаэль, Ронит Маталон и Алон Хило. Победил последний с книгой «Помесье Даджани». После чего разразился скандал.

Впрочем, скандал зрел давно. Критики и в прошлом не раз утверждали, что жюри конкурса руководствуется чуждыми литературе интересами, в связи с чем либо победитель известен изначально, либо в жюри и вокруг него идет не солидная отборочная работа, а истерическая схватка между интересантами. Более того, призерами обычно становятся бестселлеры, что лишает премию смысла.

Говорить говорили, но поскольку жюри действует в тайне, доказательств не было. Сходились на том, что ни английский «Букер», ни все прочие национальные суррогаты этой премии не свободны от таких же подозрений. Однако на сей раз журналисты все-таки добыли факты.

С разоблачением выступила газета «Маарив» – яростный конкурент газеты «Едиот ахронот», издательством которой была выпущена книга Хило.

Обвинения были следующие:

А) Ни книга Алон Хило, ни боровшаяся с ней за первое место книга Ронит Маталон изначально не были фаворитами конкурса.

Б) Редактор романа Хило, Рина Вербин, выступила с бурной рекламой книги, разослав электронные письма с призывом о поддержке всем значимым критикам и главам книжных разделов СМИ. Более того, сам Хило зачислил Вербин чуть ли не в соавторы, сообщив в интервью, что книга не могла появиться на свет без ее редакторской помощи. И все бы ничего, горячие поклонницы того или иного автора, пусть даже являющиеся редакторами издательств, – дело житейское и ненаказуемое. Проблема в том, что Вербин является племянницей председателя жюри Йоси Сариды, который к тому же не раз появлялся в общественных дискуссиях рука об руку с Хило, своего расположения к политическим взглядам молодого автора не скрывал и всячески ему покровительствовал. Наконец, выяснилось, что Сарид использовал право председателя жюри голосовать дважды, чем и протолкнул книгу Хило на первое место.

В) При помощи двойного голосования председателя жюри Хило победил Маталон, но и с этим претендентом случился конфуз. Книга Маталон посвящена некоему Ариэлю Х., который по итогам журналистского расследования оказался не кем иным, как литературоведом и преподавателем Иерусалимского университета Ариэлем Хиршфельдом, до недавнего времени «официальным» любовником Маталон и, по необъяснимой случайности, еще и членом премиального жюри.



Ронит Маталон

Статья об этой истории в субботнем приложении к газете «Маарив» (автор – журналистка Гали Гинат) произвела... ну, положим, эффектом разорвавшейся бомбы в Израиле трудно кого-нибудь удивить... произвела скандал. Бросились выяснять, что говорит по данному поводу устав конкурса, и выяснили: согласно уставу, каждый член жюри обязан сообщить в специальной анкете о приятельских, родственных или

производственных связях и отношениях с любым конкурсантом. Тут уж журналисты приступили к Сариду и Хиршфельду с вопросом об этом пункте, как с ножом к горлу.

Хиршфельд ответил честно, что не сообщал об интимной связи с Маталон, потому что к тому времени роман между ними кончился. Что до посвящения – мало ли кто ему, знатному критику и любимому преподавателю, посвящал свои книги! И вообще, может ли кто-нибудь доказать, что Хиршфельд голосовал за роман Маталон, а не против него? Доказать нельзя, голосование тайное. А то, что, согласно мнению большинства критиков, книга Маталон по своим литературным достоинствам не должна была преодолеть барьер лонг-листа, так это еще тоже надо доказать!

Зато не надо было доказывать, что Сарид голосовал за книгу Хило дважды, – это записано и известно, поскольку второе голосование председателя жюри есть шаг чрезвычайный. А относительно своей подписи под соответствующим пунктом анкеты Сарид стал юлить: вроде отметил в анкете свою близость к Хило, но... нет, не помнит. Выяснилось – не отметил. Тогда в ход пошел другой аргумент: Израиль – страна маленькая, все друг друга знают, у всех племянницы, и многие друг друга поддерживают политически... и не только.

Узнав обо всем этом, Шауль Сатник, председатель «Мифаль а-Пайс», велел объявить голосование недействительным, призы отобрать, жюри распустить и созвать новое, представить вновь образованному жюри новый список книг и провести голосование заново. Хило, адвокат по образованию и роду деятельности, подал на «Мифаль а-Пайс» в суд – мол, организация знала изначально и о том, что Сарид – дядя редакторши, и о том, что они с Хило приятели, а своим решением отнять премию поставила автора в неудобное положение и подорвала его престиж. «Мифаль а-Пайс» в свою очередь заявила, что жюри премии Сапира настаивало на своей автономности, поэтому учредитель до этого случая ни во что не вмешивался, а сейчас своего представителя или наблюдателя в жюри пошлет и будет пристально следить за соблюдением всех пунктов устава.

Только сейчас мы подошли к вопросу, ради которого вся эта история рассказывалась: есть ли способ обеспечить честную раздачу литературных премий, вернее, какая раздача будет считаться честной?

Даже в очень большой стране трудно обеспечить полную беспристрастность члена жюри. В Израиле это практически невозможно: страна маленькая, писательская тусовка – узкая прослойка, поэтому рецензенты в большинстве случаев достаточно близко знакомы с рецензируемыми. Более того, и те и другие зачастую входят в литературные кланы, поддерживающие «своих» и пытающиеся отодвинуть «чужих», поэтому представляемая на конкурс книга должна тянуть на литературный шедевр, чтобы достичь консенсусного одобрения. Не забудем, что в деле замешаны еще и издательства, воюющие между собой, что часть издательств принадлежит воюющим между собой газетам, а если и этого мало, напомним: израильское общество является не просто политически мобилизованным, оно наэлектризовано в политическом плане и все время балансирует на грани гражданского раскола.

В обсуждаемом случае ни одна из причин для пристрастного судейства не была упущена. Сарид и Хило принадлежат к крайне левому политическому лагерю: первый долгое время этот лагерь возглавлял в качестве главы движения «Мерец», а второй является солдатом этого политического течения.

Коротко об Алоне Хило: родился в Яффо в семье выходцев из Ирака, имеет диплом юриста и выпускника курсов драматургии при Тель-Авивском университете, работает юридическим советником фирмы хай-тека. Роман «Помесье Даджани» – вторая книга автора. Он основан как на архивных документах, так и на авторской фантазии. Фон: Палестина, 20-е годы XX века, борьба между евреями и арабами за землю. Роман составлен из перемежающихся отрывков дневников действующих лиц, часть которых носит реальные исторические имена. Никаких таких дневников не существует, но есть письма прототипов персонажей.

Критики указывают на явные авторские подтасовки, благодаря которым Хило создает целую галерею наивных и добрых душой арабов, которым противостоят хитрые и злобные евреи. Если вспомнить, что то было время арабских погромов с большим количеством еврейских жертв, исторический фон романа действительно представляется искусственным. И хотя в разразившемся скандале содержание романа вроде бы не играло никакой роли, никто не может помешать Сариду и Хило объявить себя жертвами политических нападок. Правые, мол, устроили ловушку, чтобы опозорить Неподкупного, как любит себя представлять человечеству Сарид, и – левую идею.

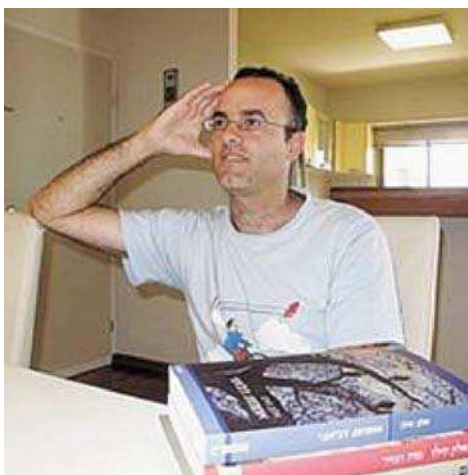
Что касается войны издательств, нельзя, конечно, забывать о традиционной вражде между «Едиот ахронот» и «Маарив». Заслуживает внимания и тот факт, что Амнон Данкнер, книга которого считалась одним из фаворитов конкурса, не так давно был главредом «Маарив». Он ушел с этого поста, чтобы написать роман, а потом вернулся в газету политическим комментатором. Что мешает объявить его интересантом, задействовавшим коллегу-журналиста, дабы отомстить жюри?

Впрочем, кто сказал, что *casus belli* в расследовании проделок жюри стал роман Хило? А что, если это клика Тель-Авивского университета нашла способ рассчитаться с профессором конкурирующего иерусалимского заведения, наведя пушки на роман Маталон и сообщив журналистке «Маарив» фамилию, звание и положение в жюри таинственного Ариэля Х., тогда как Хило был только запасным игроком в этой интриге?

Мотивы, о которых шла речь, предсказуемы, но можно предположить еще и неизвестные причины для сведения счетов. Кто знает, чем мог быть мотивирован каждый из членов жюри, вынося вердикт или сообщая любопытному журналисту внутриконкурсные тайны?

Так возможен ли честный литературный конкурс?

На мой взгляд, возможен, если убрать туман секретности, якобы обеспечивающей объективность, и поместить судей в положение участников реалити-шоу, когда каждое их действие широко обсуждается общественностью. Предвижу массу возражений и все-таки буду настаивать на своем: одно дело предполагать, что история с племянницей или любовницей станет известна только членам жюри, другое – что о ней немедленно будет оповещена вся страна. Знай Сарид, что история с двойным голосованием и проч. попадет на новостные страницы, он бы ни за что не позволил себе этот конфуз.



Алон Хило

Кстати, что делает в жюри литературной премии хитроумный политик, известный своим оппортунизмом и зачастую совершенно бессовестными трюками? Обеспечивает победу идеологического направления? Способствует политизации и так достаточно политизированного литературного истеблишмента? Вот уж чего надо опасаться пуще бывших любовниц и неосторожных племянниц!

И все-таки единственный залог хоть сколько-нибудь справедливого судейства – открытость этого процесса, протоколирование дискуссий и голосований, наличие наблюдателей от общественности – короче, все то, что, скорее всего, сделает конкурс невозможным.

Хочу отметить, однако, что все усилия по объективизации конкурса – этого и других, мало ли их проходит во всех областях нашей жизни? – сведутся на нет этической нечувствительностью самих конкурсантов и окружающей среды. Так, Ронит Маталон и профессор Хиршфельд без сомнения прекрасно понимали, чем чревато неловкое положение, в которое они себя поставили. Поэтому приходится предположить, что этическая скрупулезность не имеет большого значения в их иерархии ценностей. А уж иск Хило к «Мифаль а-Пайс» вызывает еще большее недоумение. Писатель-юрист требует компенсации за постыдное состояние, в которое был ввергнут из-за собственной этической неопрятности! Это как?

Тут уж речь идет не о душевной атмосфере соперничества, в которой случаются вполне предсказуемые этические срывы, а о фантастическом цинизме и полном отсутствии нравственных принципов. Впрочем, сегодня и это можно объявить альтернативным принципом, требующим представительства в общей культуре. А если так, может, вообще не стоит давать государственные литературные премии? Уж больно неприятны общественные последствия этого действия и слишком шатки основания для его честного проведения.

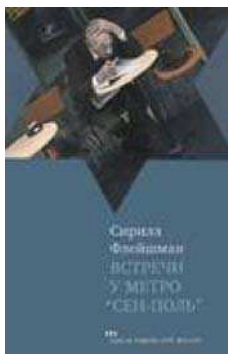
Короткие истории маленьких людей

Сирилл Флейшман

Встречи у метро «Сен-Поль». Новые встречи у метро «Сен-Поль». Рассказы

Пер. с франц. Н. Мавлевич

М.: Текст/Книжники, 2009. – 192 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)



Середина XX века. Париж. Старинный еврейский квартал, где, вблизи станции метро «Сен-Поль», родился и жил писатель Сирилл Флейшман. Здесь и разворачивается действие его рассказов.

Тонкая ирония в сочетании с простотой слога (отметим блестящую работу переводчика) и фантастичностью сюжетов создает мир неповторимый и загадочный. Здесь нет отрицательных героев – писатель не дешежит, выписывая банальные контрасты «добро и зло», «хороший и плохой». Зло как таковое в рассказах вообще отсутствует за ненадобностью. Автора волнуют иные темы: одиночество, тщеславие, дерзость, слабость, глупость, смирение. Флейшман смотрит на все это взглядом сатирика, подчеркивая печальную и смешную абсурдность мироустройства.

Герои его – люди маленькие, вроде бы ничем не примечательные. Рядовые жители обычного еврейского квартала – продавцы, лавочники, преподаватели, пенсионеры... Говорят на идише, по субботам ходят в синагогу. У каждого свои проблемы, неурядицы, мечты.

Например, Жозеф с говорящей фамилией Культурклиг выкупил у разоряющегося зятя книжную лавку. Но вот беда: товар, который ему достался от прежнего хозяина, – это книги на французском и английском. Сам же Культурклиг умеет читать только на идише...

Одинокий пенсионер Леопольд Гильгульский мучается от зависти. Он завидует маленькому песику, которого приручила одна из его многочисленных невесток, и мечтает стать собакой: «Вот бы и мне так жить! Зимой прекрасная квартира в Париже, летом загородная вилла с садом, детишки возились бы со мной, говорили бы: “Леопольд, ко мне! Леопольд, дай лапку! Держи, Леопольд, вот тебе подарок!”»...

Агенту по торговле подкладочной тканью Гюго Копзауеру абсолютно неинтересна его работа. Копзауера волнуют темы куда более вечные и возвышенные, чем

подкладки: он пишет фундаментальный труд, биографию Жан-Жака Руссо, которую планирует закончить через двадцать лет, годам эдак к семидесяти. Работа продвигается медленно – «в час по чайной ложечке». Гюго и рад бы ускориться, но «время уходит зря. На общение с клиентами, с отцом, знакомыми и теми друзьями, с которыми еще не рассорился». Как вдруг...

Это самое «вдруг» в различных вариациях присутствует практически во всех рассказах Флейшмана. Культурклигу «вдруг» оказывается не нужно знание французского для успешной торговли – он прекрасно обходится талантом психолога. «Распотешил я вас? – обращается он к продавщице, после того как с шутками-прибаутками всучил покупателю пособие по психоанализу. – Вы думаете, я все это всерьез? Ничего подобного – я нарочно нес всякую чушь. Пусть покупатель почувствует, что он умнее меня. Ему это приятно. Почему он купил книжку с таким названием? Не знаете? А я вам скажу: потому что у него есть комплексы. Иначе зачем ему книга про психоанализ? Ну вот, я несу чушь, это его отвлекает, и ему становится легче».

Месье Гильгульский «вдруг» оборачивается симпатичным догом. С ним играют внуки, но – вот незадача! – Гильгульский быстро им надоедает и снова остается в одиночестве.

И в жизни неудавшегося биографа Руссо «вдруг» происходит кардинальный поворот: одну из страниц его будущей книги подхватывает ветер, и она приземляется в чашку с горячим шоколадом, который пьет незнакомая женщина. Гюго влюбляется, бросает свои писательские потуги, женится и становится успешным бизнесменом. «Какое горе! – восклицает автор. – Ведь он теперь совсем погиб как литературный герой – литература не терпит счастливых концов. Но жизнь в Париже, в Третьем округе, на улице Тюренн с литературой плохо соотносится, поэтому, увы, так все и получилось».

Как бы заурядны ни были персонажи рассказов Флейшмана, у каждого из них есть своя особенность. Месье Симпельберг, к примеру, уверен, что «центр мира находится на меридиане, проходящем через метро “Сен-Поль”». Продавец готового платья Симон отличился на ниве журналистики, чем прославился на весь район. Господин Алекс Дортин не может пройти мимо оптовой лавки Колегского, не заглянув в нее... по малой нужде. Этими своими черточками они и привлекают внимание автора и читателя.

В мире, который рисует прозаик, чудеса – обыденность. В чуде нет ничего сверхъестественного, оно происходит и воспринимается как нечто само собой разумеющееся. На площади Вогезов, к примеру, можно повстречать самого Виктора Гюго. Умершие без труда появляются на улице с выпуском вечерней газеты или беспокойно следят за процессией собственных похорон. Здесь можно съесть деликатес – бутерброд с поэтом и поговорить с банкой компота. Можно увидеть, как автобус обращается в пароход и обратно. А если посчастливится, вы окажетесь на пикнике в Булонском лесу, который ежегодно, каждое первое воскресное утро июля, писатель устраивает со своими любимыми героями...

Максим Бурдин

Извини за крики на идише

Джессика Дюрлахер

Дочь

Пер. с нидерл. И. Гривниной

М.: Текст/Книжники, 2009. – 320 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)



У нее тонкие мускулистые руки и нервные пальцы с обкусанными ногтями. Подростковая застенчивость, сменяющаяся нежностью взрослой женщины, и стыдливость, ночами уступающая место беспредельной страстности. Она считает, что Музей Анны Франк – одно из самых страшных мест на свете, и боготворит своего отца за его страдания в годы войны. А ее циничный друг стыдится отца из-за его травмы, травмы Холокоста, и не понимает, зачем столько возиться с жертвами исторической случайности. А его сестра занялась поисками еврейских корней и объясняет все свои комплексы и фобии, вплоть до боязни пауков, проблемами второго поколения. Еще тут есть пап-истерик, нееврейская мама в роли образца спокойствия и уравновешенности, голливудский продюсер, книжные ярмарки, гонки на автомобилях и толика костюмов и интерьеров.

Джессика Дюрлахер, голландский критик, колумнист и прозаик, дочь писателя Герхарда Дюрлахера, пережившего Освенцим, издала на данный момент несколько книг («Совесть», «Эмотикон» и др.), из которых широкую известность ей принес роман «Дочь» (2000).

Персонажи романа относятся к двум поколениям – это выжившие в Холокосте голландские евреи и их дети. Главные герои знакомятся в Музее Анны Франк, и вся их дальнейшая жизнь оказывается неразрывно связана с реконструкцией подлинных ролей в истории, подобной истории «убежища» Анны Франк: еврейские семьи скрываются в чужом доме на чердаке, между юношей и девушкой завязываются романтические отношения, а потом неожиданно приезжает полиция и всех депортирует в концлагерь. Кто их предал и почему, кто из них выжил, как сложилась их жизнь после войны, как они относятся к своему прошлому и как к этому прошлому относятся их дети – вокруг этих вопросов, собственно, и построена вся книга.

Рассказ ведется от первого лица, язык максимально прост и нейтрален, что дает возможность выразительно, но без лишнего пафоса передавать драматические повороты в судьбах героев и сильные эмоции. Действие романа динамично покрывает большие хронологические и географические расстояния – герои сначала расстаются на пятнадцать лет, а потом восстанавливают свое и ищут чужое прошлое в Амстердаме и Франкфурте, Лос-Анджелесе и Иерусалиме. Поданные в должных дозах Большая любовь, Семейная тайна, Историческая ответственность и Еврейская идентичность создают в итоге качественный и увлекательный текст, представляющий один из вариантов современной европейской еврейской литературы: еврейская тема присутствует, но без навязчивости, нивелированная как скепсисом героя-рассказчика, так и другими компонентами нарратива: психологизмом, эротикой, почти детективной интригой.

Роман очень сентиментален, местами – зол и сентиментален, прямо как старик Карамазов, и исключительно киногеничен: красавчик Он и красавица Она, временные скачки и пространственные контрасты, размеренный быт старой Европы и американская dolce vita, любовь и месть, секс и насилие... Если бы Верхувен взялся, мы бы получили слегка редуцированный (в плане трагических событий 40-х, но не в плане эротических сцен) вариант его «Черной книги».

Аää Äöääëëíííää

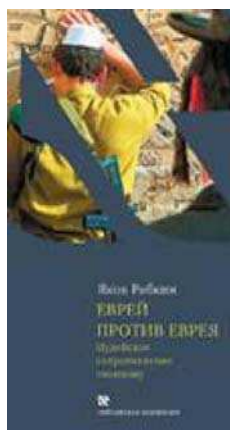
Упражнение в терпимости

Яков Рабкин

Еврей против еврея: Иудейское сопротивление сионизму

Пер. с франц. автора при участии А. Кушнира

М.: Текст/Книжники, 2009. – 541 с. (Серия «Чейсовская коллекция».)



Яков Рабкин, выходец из Ленинграда, в начале 70-х годов эмигрировавший в Канаду и ныне преподающий современную историю евреев и историю науки в Монреальском университете, посвятил свою книгу всестороннему освещению и, прямо скажем, апологии антиссионистской ортодоксальной идеологии, полагающей Государство Израиль антитезой иудаизму и разрушением всего подлинно еврейского. Герои Рабкина, которые «так же, как Лев Толстой или Томас Манн, отстаивают определяющую роль духовности в истории», осуждают Израиль, поскольку сама его природа и политика («насилия и кровопролития») не укладываются в их представления об иудаизме как

учении о смирении, сострадании и справедливости, а принцип «этнократии» противен их концепции еврейства как конфессиональной, а не национальной общности.

Структура книги Рабкина подчинена хронологическому принципу, а манера изложения обладает рядом любопытных особенностей, служащих полемическим целям. Автор очень щедро – редкий абзац обходится без них – использует цитаты и ссылки на авторитетные источники, которые, однако, зачастую имеют более чем косвенное отношение к делу: от общих наблюдений известных израильских историков, вообще никак не связанных с антисионистской идеологией, до отнюдь не ортодоксального антисионизма (Ханна Арендт и другие, в том числе левые, критики сионизма). Тем самым описываемая точка зрения «раздувается», искусственно делается более представительной и аргументированной.

Другая особенность – склонность к решительным выводам или патетическим заявлениям на основе спорных теорий:

Произведшая недавно фурор книга историка из Тель-Авивского университета Шломо Санда (Sand), озаглавленная «Как и когда был изобретен еврейский народ», доказывает, что евреи из различных стран... не имеют между собой ничего общего, кроме религии... [Еврейский народ], по его мнению, был «изобретен» в угоду сионистской идеологии... Поскольку таким образом [sic!] угасает мирская, национальная мотивация сохранения именно еврейского государства, все большее значение приобретает мотивация религиозная.

Или же на основе «общеизвестных» положений, которые, однако, далеко не всегда верны:

Теодор Герцль, вполне ассимилированный журналист, стал притязать на роль представителя евреев всего мира, несмотря на то что испокон веков на руководство еврейскими общинами выдвигались люди, имевшие познания в Торе и строго соблюдающие заповеди.

(На самом деле в истории еврейских общин религиозное руководство обычно сосуществовало со светским, и критерием для избрания последнего были отнюдь не познания в Торе.)

Ту или иную фактическую информацию Рабкин, как правило, сообщает «в интересах» соответствующих выводов, а через несколько страниц, в другом контексте, могут предлагаться иные факты. Так, в одном месте говорится, что число антисионистов относительно невелико, зато их влияние очень значимо, а через пару страниц сообщается, что «отрицание сионистской идеологии характерно для практически всех направлений в ортодоксальном иудействе» (видимо, залогом корректности фразы является либеральное понимание слова «практически»). Еще через несколько страниц оказывается, что антисионизм вдохновляет и реформистов, а ведь «большинство американских евреев – члены реформистских общин» (что не так: большинство американских евреев вообще не относят себя ни к какой синагоге, а среди религиозных большинство составляют реформисты и консерваторы, вместе взятые).

И наконец, время от времени Рабкин позволяет себе довольно тенденциозные интерпретации тех или иных событий или цитат. Так, призывы к сопротивлению, исходящие от жертв погромов конца XIX – начала XX века, автор расценивает как неправильный выбор (по сравнению с бегством и покаянием) и осуждает как «резкий

отход от Традиции». А поэтические инвективы Х.-Н. Бялика в адрес еврейских мужчин, не способных защитить своих женщин во время погрома, Рабкин толкует как выражение жажды власти и бунта против иудейства.

Иногда сильные пейоративные эпитеты и громкие обвинения (фашиствующая идеология Жаботинского, израильские офицеры и солдаты – военные преступники, режим апартеида в Израиле) встречаются в тексте практически от первого лица, без буфера ссылок и прямой речи. Однако на ключевых позициях все-таки расставлены цитаты. Так, завершает книгу (а также главу о роли Государства Израиль в еврейской истории) следующая цитата из Боаза Эврона (которого автор называет израильским интеллектуалом, не уточняя, что тот является известным теоретиком постсионизма, а вовсе не ортодоксальным антисионистом):

Государство Израиль тоже, конечно, исчезнет через сто, триста или пятьсот лет... Существование этого государства не имеет никакого значения для существования евреев... Евреи мира могут прекрасно жить без него.

Предвзятость автора становится очевидна со второй страницы, потому его мимикрия под объективный научпоп не может не вызывать постоянного недоумения. Представляется, что честнее было бы написать открыто антисионистскую полемическую книгу, чем это псевдоисследование антисионистской идеологии, потому что собственно анализа этой идеологии – ни генетического, ни структурного – мы здесь не видим, внутренние механизмы критики сионизма не вскрыты, и книга больше похожа на нагромождение аргументов из любых источников – от левых радикалов до Сатмарского ребе, но все новые аргументы имеют тенденцию повторять старые и, в сущности, сводимы к трем-четырем основным тезисам.

Сам автор видит пользу от своей работы в следующем:

Надеюсь, что моя книга, бросая непривычный для многих читателей свет на отвержение сионизма раввинами и еврейскими мыслителями последнего столетия, облегчит поиски мира между странами, религиями и людьми – поиски, которым свет может только помочь.

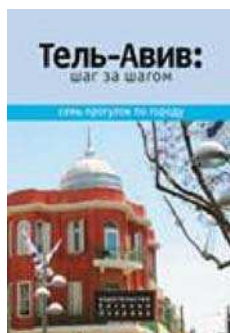
Замысел чрезвычайно высоконравственный, да только правомерность такого расчета несколько сомнительна. Возможно, функция этой книги – упражнение в терпимости для современного еврейского диаспорного читателя, сочувствующего скорее Израилю, чем собеседникам Ахмадинежада, не говоря уже про читателя искушенного, проводившего эру еврейской виктимности и ущербной маскулинности и живущего в эпоху светской еврейской идентичности. Кроме того, из описываемой здесь полемики стоит извлечь поучительный урок релятивизма: как одни и те же вещи могут считаться трусостью и миролюбием, насилием и самозащитой, гордыней и человеческим достоинством, тупиковой стагнацией и самосовершенствованием, отказом от традиции и флуктуациями в ее рамках.

Город нон-стоп: ретроспектива

Евгений Озеров

Тель-Авив: шаг за шагом. Семь прогулок по городу

Модиин, 2009. – 152 с.



Что мы, собственно, знаем о Тель-Авиве? Что это город, образующий с Иерусалимом классическую топографическую оппозицию, подобную оппозициям Москва–Петербург, Варшава–Краков, Мадрид–Барселона. Город пляжей и набережных, отелей и банков, кофеен и пробок. Воплощение секулярного Израиля. Город, чей шарм неустанно пытаются передать израильский кинематограф и израильская беллетристика.

У этого города есть еще и важная историко-искусствоведческая компонента, многим неизвестная. Евгений Озеров, автор первого русскоязычного путеводителя по первой израильской столице, отмечает эту специфику восприятия:

До недавнего времени в глазах большинства своих жителей Тель-Авив представлялся небольшим провинциальным городом, «перенесенным» выходцами из Восточной Европы из родных мест в жаркие пески Израиля. Гордость за строительство первого еврейского города современности уступала место пренебрежению, когда речь заходила о его постройках. Включение Тель-Авива в список объектов культурного наследия оказалось для большинства его жителей полной неожиданностью.

Не только для жителей, но и для туристов архитектура Тель-Авива обычно отходит на второй план, загражденная широкими кронами деревьев и ярко разодетыми шумными автохтонами. А между тем, помимо всем известных шедевров «Баухауза» или, шире, интернационального стиля, в совокупности прозванных «Белым городом» и занесенных в список культурных ценностей ЮНЕСКО, здесь есть и ар деко, и неоготика, и неоклассицизм, и стилизация под арабскую архитектуру, и романтическая эклектика.

Путеводитель Озерова не отличается особой концептуальностью. В нем нет и следа модного нынче метафизического краеведения – ни в понимании петербургской школы, ни в культурологическом духе Питера Акройда, ни в стиле религиозно-патриотических прозрений Рустама Рахматуллина. Впрочем, объектом метафизического краеведения в израильском контексте пристало быть, скорее, Иерусалиму, Тель-Авив же обычно удостаивается травелогов с акцентуированным социальным аспектом, то есть понимающих концепт «город как живой организм» куда более буквально. Но перед нами

и не гламурный guide. Книга не стремится передать колоритный life-style Тель-Авива, не включает обзор клубов и ресторанов, не пестрит фотографиями смуглых полуголых тель-авивцев на пляжах и в кафе, с собаками и колясками, на велосипедах и без. И наконец, нельзя сказать, чтобы книга «дышала историей». В ней нет развернутых биографических рассказов или исторических анекдотов, вся сообщаемая информация дозирована, а посвященные персоналиям врезки весьма лаконичны.

«Тель-Авив: шаг за шагом» – это строгий конвенциональный путеводитель с редкими черно-белыми фотографиями, с маршрутными схемами и со свойственным формату обилием суконных канцеляризов («городу удалось сохранить свой культурный потенциал», «излюбленное место прогулок жителей города и его гостей», «количество автомобилей на дорогах страны увеличивалось из года в год» и т. п.). Путеводитель состоит из пошагового, или подомного, описания семи маршрутов по нескольким районам города. (1) Ахузат баит («Дом-усадыба») – исторический центр, первый квартал Тель-Авива, построенный в 1900–1910-х годах зажиточными выходцами из Европы по своему вкусу и в соответствии с европейскими градостроительными нормами. (2) Нахалат Биньямин («Надел Вениамина») – продолжение Ахузат баит менее состоятельными европейцами в 20-х годах. (3) Улица Алленби, бывшая Морская; одна из центральных улиц города, богатая магазинами, кофейнями, букинистическими лавками. (4) Площадь Зины Дизенгоф – пример комплексной застройки в интернациональном стиле. (5) Бульвар Ротшильда – место произрастания диковинных растений и променада тель-авивцев. (6) Старое тель-авивское кладбище, или Кладбище Трумпельдора, малоизвестное даже старожилам города, и это, в общем, вполне логично для «города нон-стоп» – не оглядываться назад; среди прочих пяти тысяч захоронений здесь находятся могилы Х.-Н. Бялика, Ахад а-Ама, Макса Брода, Эфраима Кишона, Шошаны Дамари; (7) Сити, деловой центр города, выросший вокруг скоростной трассы Нетивей Аялон («Пути Аялона»).

В каждой главе рассказывается краткая история застройки и архитектурного и социального развития района, описывается его теперешнее состояние (зачастую не слишком благополучное) и перспективы на будущее. «Город как живой организм» отнюдь не выступает из этих очерков, как из пены морской, что неудивительно. С путеводителем не надо лежать на диване – с ним надо ходить, и тогда за автобусами, велосипедами и лицами в темных очках, за шумом и гамом южного города проступит его архитектурное и институциональное содержание: частные и доходные дома, гимназии и магазины, киоски и синагоги, банки и гостиницы, полицейские участки и почтовые отделения, рекламные тумбы и эскалаторы, подземные переходы и автовокзалы, рынки и пешеходные зоны, дома престарелых и небоскребы, набережные и фонтаны, кинотеатры и мемориалы жертвам терактов, ночные клубы и бульвары, парки и концертные залы, театры и автостоянки, шоколадная фабрика и алмазная биржа, штаб службы госбезопасности и университет.

Ааааа Аааа

ОТ ДИСКУРСА К ОБЪЕКТУ

Проблемы еврейской истории. Ч. 2.

Материалы научных конференций центра «Сэфер» по иудаике

М.: Книжники, 2009. – 448 с.



Скоро рецензии пишутся, да не скоро книги выходят. На этот раз, к счастью, наоборот. Едва я высказал опасения о судьбе второго и третьего томов «сэферовского» сборника «Проблемы еврейской истории» (см.: Лехаим. 2009. № 7), как второй том взял и вышел. Теперь буду волноваться о третьем, чтобы он тоже вышел поскорей (в настоящее время третий том сборника действительно вышел. – Ред.).

Общие проблемы, характерные для сборников по итогам ежегодных конференций центра «Сэфер», их достоинства и недостатки я обсудил в прошлой рецензии. Не буду повторяться: все это присутствует и во втором томе. Но есть и существенное отличие. Рецензируемый том состоит из трех разделов, каждый из которых объединен не методом, а предметом. Исторический дискурс, конечно, преобладает, но рядом с ним присутствуют и другие: антропологический, политологический, социолингвистический и др. Предмета же, как сказано, три: Холокост, израилеведение, история и культура неашкеназских еврейских этносов (крымских караимов и горских евреев).

Есть у нового сборника и еще одна особенность. Он представляет не только отдельных исследователей, но и ряд научных если не школ (об этом еще рано говорить), то кружков, сложившихся в различных регионах бывшего Советского Союза и работающих в области своей, преимущественно местной, проблематики. Это крымские исследователи караимов, дагестанские авторы, пишущие о горских евреях, и белорусские холокостоведы. Такое структурирование научного сообщества, его обращение к местным ресурсам также свидетельствует о зрелости иудаики на постсоветском пространстве.

Крымские и белорусские историки представили очень достойные работы, вводящие в оборот интересные документы, в том числе материалы из частных архивов и интервью. А вот работы дагестанских специалистов, к сожалению, оставляют желать

лучшего. Это в лучшем случае популярные обзоры абсолютно компилятивного свойства. К примеру, заголовок статьи М. Мусаевой и М. Магомедханова «Родильные обряды горских евреев Дагестана (по материалам полевых этнографических исследований)» выглядит очень заманчиво, но сама статья разочаровывает. Она написана так, что непонятно, кто, где и от кого собирал означенные материалы. Возникает вопрос: это полевые исследования авторов статьи или компиляция данных, собранных кем-то другим задолго до ее написания? Остальные статьи «горско-еврейского» цикла представляют собой скорее популярные очерки разной степени доброкачественности и поэтому не вполне уместны в научном сборнике. Впрочем, о проблеме «всеядности» «Сэфера» я уже писал.

Вообще, такого рода компилятивных обзоров в сборнике больше, чем хотелось бы. Даже если они составлены профессионально, им место скорее в учебнике. Между тем раздел, посвященный истории сионистского движения и Израиля, изобилует такими компиляциями. Но это полбеда. Настоящая беда – это появление безграмотных и тенденциозных работ типа статьи И. Михаленок «Отношение Украинской повстанческой армии к евреям: свидетельства очевидцев». Упоминание в воспоминаниях участниц УПА евреев-врачей, лечивших бойцов УПА (факт сам по себе известный), позволяет автору сделать вывод о чуть ли не филосемитской позиции этой организации, несущей ответственность за геноцид евреев и поляков. Понятно, что на такие, с позволения сказать, «исследования» существует заказ. Непонятно только, почему их следует публиковать в «сэферовском» сборнике. Все-таки добродушная терпимость составителей в данном случае сыграла с ними злую шутку.

Но не будем о грустном. Судить сборник нужно по его лучшим материалам. Естественно, что эти работы написаны известными, сложившимися учеными, чье присутствие и задает тон каждой конференции. Истинным украшением сборника служит работа профессора Еврейского университета в Иерусалиме Сирила Асланова «Безразличие Теодора Герцля к языку иврит: причины и следствия». Анализ истории сионизма не с политико-исторической, а с социолингвистической точки зрения открывает перед исследователями новые перспективы. Работы такого уровня – а их здесь немало – и оправдывают появление этого сборника.

В конце, собравшись с духом, нужно сказать о тех материалах, которые стоят в начале рецензируемой книги. Это подборка текстов, посвященных памяти Рашида Мурадовича Капланова, интервью с ним и воспоминаний о нем. Для меня, как и для большинства давних участников «сэферовских» школ и конференций, эта тема слишком личная. Центр «Сэфер» таким, каким он возник и живет, со всеми своими огромными достоинствами и мелкими недостатками, которые суть продолжение этих достоинств, – детище Рашида Мурадовича. На всем в работе «Сэфера» есть отпечаток его личности. И лучшего памятника этому светлomu человеку, ученому и учителю, чем продолжение работы «Сэфера», его школ и конференций, – не придумать.

Валерий Дымшиц

МЕЖДУ БУКВОЙ И НЕБОМ

עַיִן אֶל אֲמֵנוּתָא

Среди специальных гостей Третьей Московской биеннале современного искусства – израильский художник, поэт, теоретик, коллекционер Михаил Гробман. Выставка его работ «Метаморфозы коллажа», которую покажут в Музее современного искусства, обещает стать «гвоздем» биеннале. А для широких зрителей – открытием яркого, страстного, бескомпромиссного художника.

Кто-то может удивиться: чего открывать Гробмана, когда он давно открыт и известен? В 1999 году была его ретроспектива в Русском музее в Петербурге. Не говоря уж о выставках в Тель-Авиве, Иерусалиме, Белграде, Бохуме, Чикаго... В 2002-м вышла книга «Левиафан», где опубликованы его московские дневники 1963–1971 годов. До 1971 года – потому что Михаил Гробман был среди репатриантов первого призыва. Он с семьей уехал из СССР в Израиль, как только появилось «окошко» в железном занавесе. Сборник его стихов «Последнее небо» опубликован в 2006-м. Ничего себе – неизвестная личность! Да его еще в 1968 году юный Леонид Губанов представлял знакомым как «знаменитого московского художника».

Меж тем, как ни дико звучит, Гробман в сегодняшней России – неизвестный художник. Не потому, что уехал. Не потому, что не мелькает в суетливом глянце и ток-шоу. И уж точно не потому, что неактуален. Просто актуальность Гробмана не имеет ничего общего ни с постмодернистской игрой, ни с шокирующим акционизмом 1990-х, ни тем более с модным китчем, ходовым товаром «нулевых». Михаил Гробман – из могикан второго русского авангарда. То есть из людей, без которых истории российского современного искусства не было бы. Или она была бы другая. Короче, историческая личность.



Ангел смерти – 2. Перформанс на Мертвом море. 1978 год

Шаровые молнии в Текстильщиках

«К Мише Гробману в Текстильщики» – этот адрес был известен в широких кругах поклонников неофициального искусства 1960-х и реестре московских шпигов. В двухэтажном бревенчатом доме, где жил сам Гробман, его жена Ирина и двое их детишек, был, как сейчас бы сказали, «центр современного искусства». Здесь Гробман показывал свои работы, Владимира Яковлева, Владимира Пятницкого, Игоря Ворошилова, Ильи Кабакова, Льва Нусберга, Владимира Некрасова... Здесь читали стихи, пили чай и что покрепче... Сюда приходили коллекционеры, западные журналисты, русские эмигранты и зарубежные искусствоведы... Чех Иржи Халупецкий, один из первых написавших о русском неофициальном искусстве и много сделавший для его известности в Европе, бывал тут не раз.

Понятно, что свой «центр» Гробман организовал, во многом вдохновленный примером «лианозовцев» – семейства Евгения Леонидовича Кропивницкого и Оскара Рабина. Но сегодня не менее очевидно, что идеалы свободы и «полной жизни в любых условиях», которые воплощали в жизнь Гробман и его друзья, перекликались не только с аскетичной стойкостью нонконформистов, не желавших идти на компромиссы с идеологией власти, но и со стихийным анархизмом западных молодежных движений.

Сравнивая кружок Михаила Гробмана с «лианозовским», Илья Кабаков писал: «“Лианозовцы” вели себя как профессионалы <...> “Работали”, через определенное время “заказчик” мог прийти забрать картину, и вообще, к ним придешь и видишь: это “мастерская”, куда может зайти “ценитель” и т. п. Поведение второй группы скорее было похоже на скандал. Смешно было даже представить себе, что Ворошилов “работает”, ибо

было неясно вообще, где он, когда и куда придет, будет ли трезв, можно ли будет с ним в этом состоянии разговаривать. <...> “Черная богема” – это как раз о них. Это были неуправляемые шаровые молнии».

Но не менее важным, чем способ жизни, была разница работ. Кабаков определит ее так: «Самоубийственность удара, гладиаторство, риск, умирание в акте свойственны работам этой группы. Окончательно бескомпромиссные – вот главное впечатление от их работ. Подозревать, что они были сделаны для покупателей, тут невозможно».

Безоглядность гладиаторского поединка, ежесекундное почти предстояние перед лицом смерти, которая Курочкину, Ворошилову, Пятницкому была знакома так же, как участковый или разгневанные соседи, давали огненную страстность работам. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что для этих художников, как для служивого солдата из народной сказки, «старуха с косой» была старой знакомой. Особой, которую до поры до времени удается обводить вокруг пальца.

У самого Гробмана это стихийное огненное начало тоже было очень сильно. Но он не только умел как-то обходиться с шаровыми молниями, но быть им «отцом и матерью и коллекционером». Он имел дар оценить качество работ «домашнего рисования», или «исповедальных бумажек», по слову Михаила Шварцмана, и собирать их. Даже того, что он собрал одну из лучших коллекций Владимира Яковлева, когда о том вообще мало кто знал, достаточно, чтобы войти в историю. Он сумел увидеть их место в исторической перспективе. Чтобы дать определение «второй русский авангард» (а оно, между прочим, изобретение Гробмана) работам полуголодных, часто бездомных и безумно талантливых художников, которых часто вообще не существовало в официальной таблице о рангах, надо иметь не только амбиции и фантастическое чутье. Надо было обладать масштабным, целостным видением искусства и истории – иначе как представить, откуда и куда оно движется?..

Короче, если продолжать аналогии Кабакова, то о Михаиле Гробмане можно сказать, что это была шаровая молния с очень высоким уровнем саморефлексии. Молния, похожая на самонаводящуюся ракету. Можно предположить, что именно коллекционирование и, разумеется, семья – «любимая Ирка» и двое детей – были теми планетами, притяжение к которым позволило этой ракете обрести свою орбиту. В свою очередь в коллекции его были три точки опоры – русская икона, русский авангард и то искусство 1960-х, которое можно отнести ко второму авангарду.



Конверт. 1963 год

Путем «Левиафана»

Надо сказать, русский авангард никогда не был для Гробмана фетишем. Тем более не был моделью для подражания. Скорее он оказался для него источником с живой водой. Или приборами навигации, которые позволяют прокладывать новый путь по небу, когда ни зги не видно. Если Гончарова и Ларионов ориентировались на икону и древнерусское искусство, архаику фольклора и современный им примитив, то Гробман стал ориентироваться на еврейскую мистическую традицию. Если Крученых, Розанова создали произведения русской визуальной поэзии, то Гробман ввел в свои работы древнееврейские письмена. Если Малевич создал теорию супрематизма, призвав следовать за ним «товарищей авиаторов» в бесконечность белого, то Гробман написал манифест «магического символизма», который должен служить освобождению человека. Примитив, символ и буква – три кита, на которых будет опираться его «Левиафан», художественная группа, созданная уже в Израиле.

Путь от супрематизма к аутентичному еврейскому искусству, изъясняющемуся современным визуальным языком, оказался гораздо короче, чем можно было предположить. Сам Михаил Гробман считает: дело в том, что «супрематизм есть своего рода художественный иудаизм». Но признаемся, что это все же вольный перевод гениального Казимира Малевича. Возможно, дело в том, что на рубеже 1970-х вопрос о путях национальной идентичности для евреев встал так же остро, как в начале XX века. Тогда, в начале века, выбирая между национальным самоопределением и мировой революцией, многие, как Лев Давидович Троцкий, сделали выбор в пользу второй. К концу 1960-х, после расстрела Хрущевым рабочих в Новочеркасске, после возведения Берлинской стены, после танков в Праге и вошедшей в моду теории «ограниченного суверенитета» стран соцлагеря, вряд ли у кого могли оставаться иллюзии по поводу идей мировой революции. К концу 1960-х выбор оставался только один – национальное самоопределение. И Михаил Гробман, который и до этого жил в пространстве еврейской культуры, еврейского фольклора и сионизма, его сделал, одним из первых уехав в 1971-м в Израиль.

Надо сказать, в Израиле он ничуть не утратил свойственной ему бескомпромиссности, последовательности и страстности. Весь боевой запал и

«гладиаторство», по слову Кабакова, которые отличали художников первого и второго авангарда, Гробман сохранил и на новой родине. И конечно, умение оказываться в эпицентре событий. Точнее, он умел создать этот эпицентр. Так, в 1976 году вышла написанная, напечатанная и распространяемая самим художником газета по имени «Левиафан». То ли рыба, то ли морское чудище, неведомой природы и неясной судьбы, упоминаемое в древних псалмах, украсила своим именем группу «израильских художников последней четверти XX столетия» и своим изображением – работы Михаила Гробмана. Архаичность и неопределенность символа ничуть не мешала напору его манифестов.

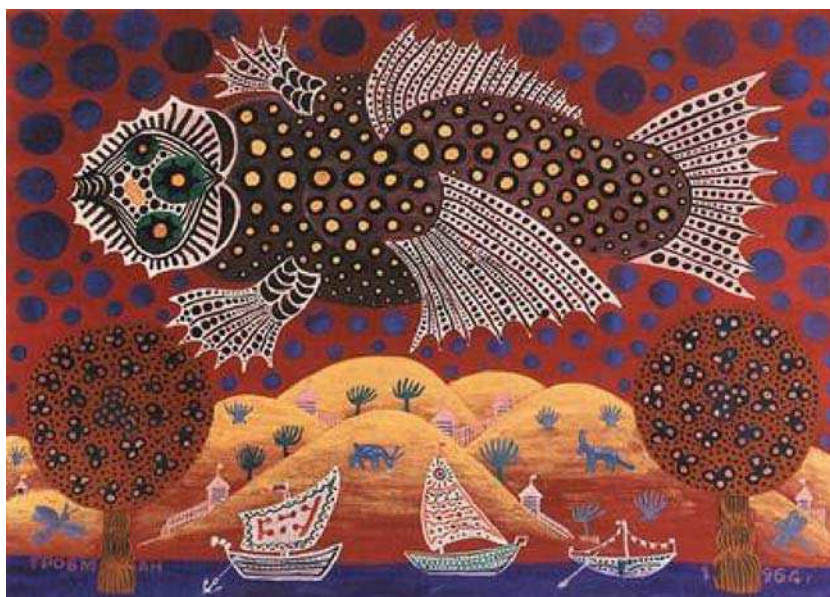
Они и сегодня звучат как барабаны судьбы. Желаящий может убедиться в этом сам – 19/20-й выпуск журнала «Зеркало», где они опубликованы, выложен в сети. Строки манифестов ритмичны, как боевые фаланги, мерно движущиеся в наступление. Только глухой не услышит в их поступи отзвуков скандальных выступлений футуристов, эпатажной дерзости Бурлюка и Ларионова. «Реализм – смертельный враг искусства. Смерть реализму!» – писал Гробман. И чуть раньше: «Есть только один реализм, имеющий право на существование, – реализм целенаправленного, функционального действия, которое объединяет реальность искусства с реальностью жизни».

С последним у художника все в порядке. По крайней мере, под манифестом «Левиафана» № 2 стоят даты и место: «30 июня, 4 июля 1979 г. Военный лагерь Аран, Синай». Сорокалетний артиллерист-резервист Михаил Гробман на Синайских высотах вел свою большую войну – против классики, романтики, реализма. Против искусства для искусства. Против игры и концепта.

В строках манифестов художник Гробман больше чем художник. Он поэт, который говорит слогом библейского пророка. Его формулы не знают пощады и не ждут ее от других. Какая уж пощада, если планка поднята максимально высоко: «Всякое произведение надо судить перед лицом смерти».

Эта максима, разумеется, не светского искусства. Это максима искусства религиозного. Гробман пишет: «Народность и религиозность – две колеи нашей дороги. Дороги к новому еврейскому искусству, достойному чуда возрождения Израиля». Семь перформансов, проведенных на Мертвом море и в пустыне, перекликались с акциями московских концептуалистов. Будь то группа «Коллективные действия» или работы Дмитрия Александровича Пригова. Но, в отличие от арт-событий московской сцены, акции «Левиафана» с большей степенью откровенности отсылали к архаике магического жеста.

Но вот странность: в этом жесте слышна пронзительная, казалось, давно угасшая нота великой утопии начала XX века. Утопии, жившей мечтой о единстве человечества. Именно сионист Гробман, открыватель-основатель нового еврейского искусства, в 1978 году провел в Израиле акцию, посвященную столетию первого Председателя Земного Шара Велимира Хлебникова.



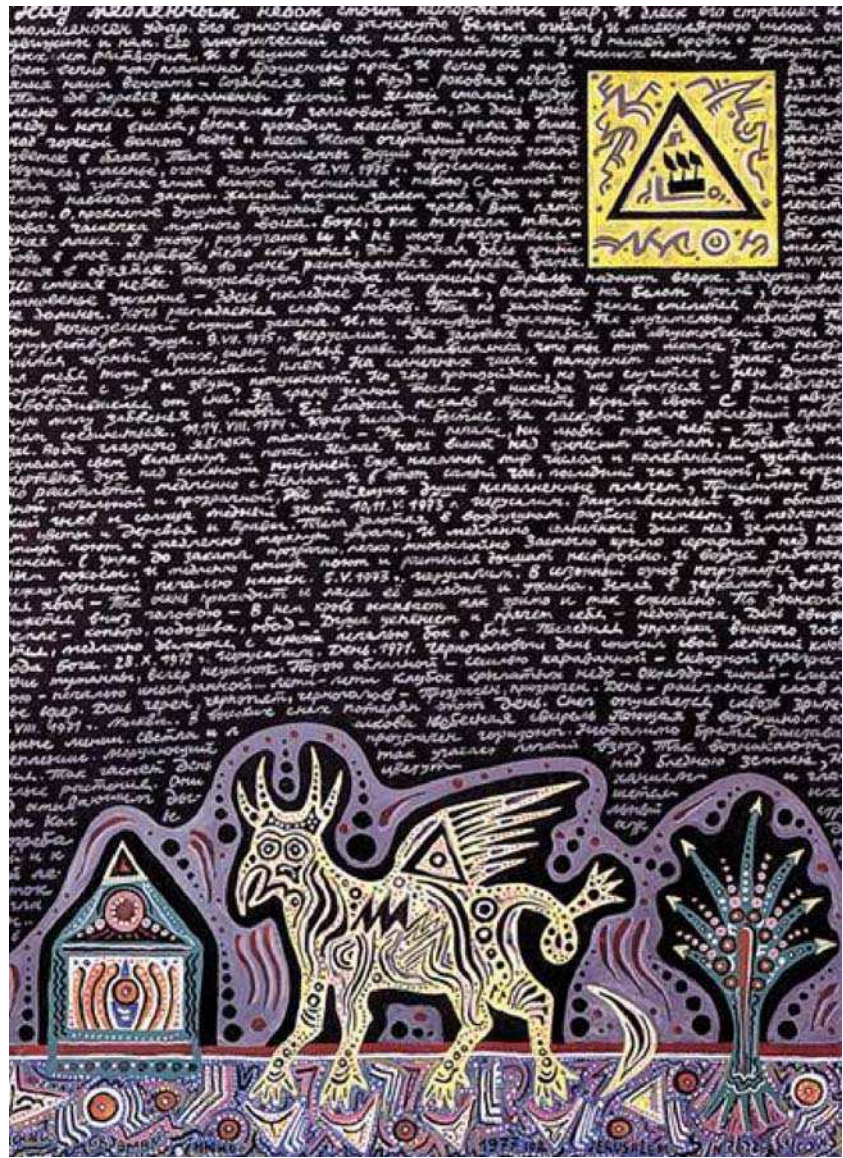
Левифан. 1964 год

Как Гробман не стал соц-артистом

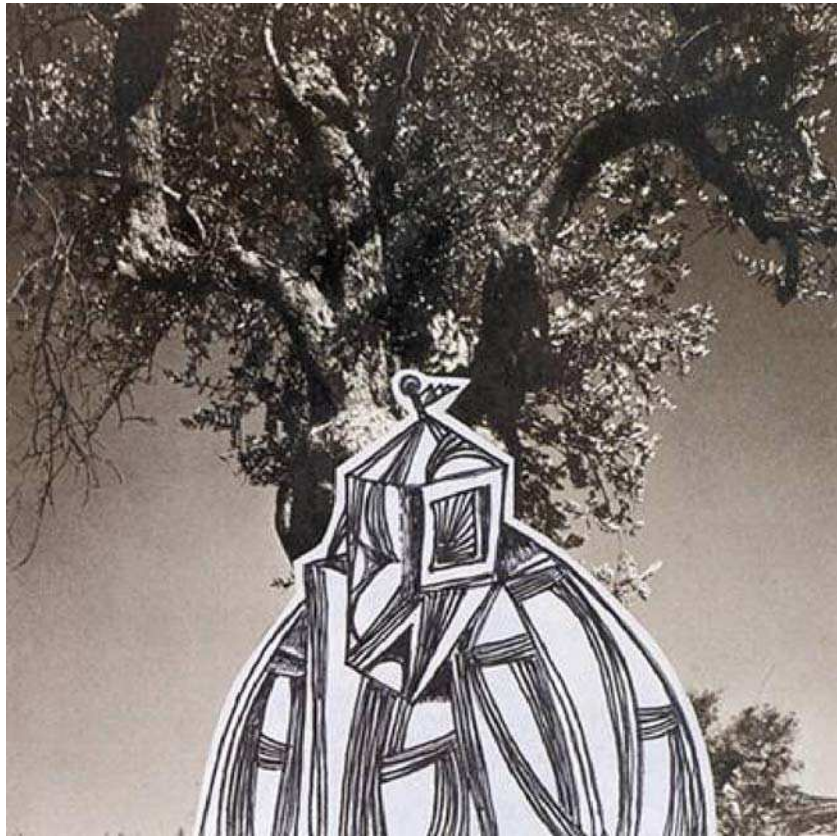
Выставка «Метаморфозы коллажа» не зря посвящена коллажу. Работа с объектами ready-made, с готовым материалом всегда была сильной стороной Гробмана. Портрет генералиссимуса в одноименном коллаже он использовал в 1964 году, задолго до того, как логотип «Coca-Cola» и портрет Владимира Ленина слились в нерасторжимой соц-артистской «дружбе навек». Обложки журналов и книг служили ему не «чистой доской» для вольных почеркушек, а использовались для перелицовки, как поношенные костюмы. Коллекционер и архивист, Гробман оказался рачительным хозяином и в творчестве. Не только «ни дня без строчки» в дневнике, но и ничего лишнего – в корзину.

Соц-артист до соц-арта, он стал еще и мейл-артистом до американского мейл-арта. Конверты превращались не только в объяснение в любви к «любимой Ирке», но в самоценный подарок. Не потому, что голь на выдумки хитра, а оттого, что художник обладает волшебным даром превращать пустяк в драгоценность. То, что дар художника объединяется с даром любви, выглядит взаимовыгодным дополнением. Может, поэтому мейл-арт у Гробмана плавно перетекает в род визуальной поэзии. А стихи норовят стать картиной. «Строчек тыщи» и единственная буква оказываются равноправными в пространстве картины. Единственная буква «алеф» способна стать портретом Владимира Яковлева.

Куратор выставки Лёля Кантор-Казовская заметила, что художник умеет балансировать, не скатываясь к однозначности высказывания, будь то инвектива, фельетон или возвышенность непознаваемого. Это, разумеется, помешало ему стать соц-артистом. А также постмодернистом. Зато помогло остаться архаистом и новатором в одном лице. Плюс – русским авангардистом и израильским модернистом. Одним словом – самим собой.



Врата рая. 1977 год



Военный шатер Гробмана в долине Акко. 1997 год



Концепция. 2004 год

«ЦАРЯ» НЕ ЗАСЛОНИЛИ

Лев Карчевский

В отличие от предыдущего Международного московского кинофестиваля, в этом году фильмы из Израиля, привезенные на 31-й ММКФ, не объединили в программу «Израильское кино сегодня», а расставили в соответствии с тематикой по нескольким фестивальным рубрикам. Это решение организаторов – одно из свидетельств того, что за пределами Израиля израильское кино перестали считать региональной экзотикой, как было еще недавно, что сегодня оно – равноправный участник мирового кинопроцесса.



Кадр из фильма «Муки в огне»

В конкурсной программе участвовала показанная в первой половине фестиваля лента выпускников ВГИКа конца 50-х годов израильских режиссеров Лины и Вячеслава Чаплин «Муки в огне» (Муки – имя главного героя). Противоречия между выходцами из разных стран, взаимоотношения с родственниками и соседями, пережившими Холокост и вспоминающими доктора-палача Менгеле, ставившего эксперименты над узниками, сложности взросления, подростковая неуверенность, неумение обрести себя и, как следствие, конфликт со всем миром – круг тем этого фильма.

В программе «Русский след» в завершающий день ММКФ прошел фильм «Семь минут в раю», режиссер Омри Гивон. Девушка с почти русским именем Галья и ее друг Орен становятся жертвами террориста-смертника. После взрыва в автобусе Орен погибает, а Галья частично теряет память. Она решается на собственное расследование: опросить очевидцев и как можно подробнее узнать заново, «вспомнить» день трагедии.

В программе «Взрывы из прошлого. К 70-летию начала второй мировой войны» показали «Весна 41-го», копродукция Польши и Израиля, режиссер Ури Барбаш. Молодая еврейская семья – Клара, Артур и две дочери – спасается от преследования у польки, потерявшей на войне мужа. Между вдовой и отцом семейства на глазах у жены завязывается роман. Приехав в Польшу через много лет после окончания войны, Клара вновь пытается разобраться в своих чувствах и понять, что двигало ею в те роковые дни.

Анимационный фильм «\$9,99», сценарий которого написан израильским прозаиком Этгаром Керетом, участвовал в программе «Вокруг света». Именно в эту рубрику он, похоже, попал благодаря совместному производству Австралии и Израиля. В мультфильме, как в сборнике коротких рассказов, нет главного героя; все персонажи — обитатели одного многоквартирного дома, истории из их жизни — современные притчи, наполненные парадоксами и страстями. Режиссер 78-минутного кукольного мультфильма для взрослых — Татъя Розенталь.

Судя по реакции переполненного зала, одним из фаворитов зрительских, да и профессиональных симпатий в программе документального кино «Свободная мысль» стал двухчасовой фильм «Избранный» молодого режиссера Нати Бараца. Выпущенный в 2008 году, «Избранный» уже удостоился главных призов на международных кинофестивалях в Кракове и в Хайфе. Зрители увидели подлинную — эпизод за эпизодом — историю поиска буддийским монахом в горных деревушках Непала новой реинкарнации Ламы Кончог: ребенка, в которого, как верят адепты ламаизма, переселилась душа умершего в 2001 году известного учителя и мастера медитации. Признаюсь, для меня, как для рецензента, остается загадкой, какая же организационная и иная подготовка потребовалась создателям этого документального шедевра.

Сверху вниз. Кадры из фильмов «\$9,99», «Избранный», «Пицца в Освенциме»





Еще один израильский фильм программы «Свободная мысль» — «Пицца в Освенциме» режиссера Моше Циммермана. Дэнни Ханох, бывший узник концлагеря, вместе со своими детьми отправляется в шестидневное путешествие по той Европе, которую узнал во времена войны, преследований, заточения и рабства. Картина состоит из проникнутых грустным юмором воспоминаний героя, его разговоров с попутчиками, путевых кинозарисовок, съемок в мемориальных комплексах на месте концентрационных лагерей. Приехать в Биркенау вместе с внуками — они не должны были родиться по расчетам создателей этого и других лагерей уничтожения, — заказать пиццу в барак, переночевать на «своих» нарах — так для израильтянина Д. Ханоха завершается цикл, внутри которого вся его жизнь. Фильм снят в 2008 году, идет немногим более часа, награжден призами на международных фестивалях в Лейпциге и Кракове.

Из этого перечисления ясна основная проблематика современного израильского кино (кроме не попавших сюда отношений с арабскими соседями): переживание трагического прошлого, непростое сосуществование общин и иных социальных групп внутри Израиля, терроризм как постоянная угроза и — особая черта — молодежные проблемы. Хочется отметить возрастающий профессиональный уровень молодых израильских кинематографистов: прежде всего, операторов и режиссеров. Большинство из них после обучения в национальных киношколах проходят стажировку в Европе или США, техническая их подготовка вполне на современном уровне.

При всем при этом нельзя сказать, что среди более 270 картин, участвовавших в различных фестивальных программах, израильские фильмы пользовались особым вниманием. Смотрели их в основном освещающие фестиваль журналисты, израильтяне, работающие в Москве, и российские евреи, интересующиеся израильским кино. Такого фильма, который заслонил бы интерес местной публики к картине Павла Лунгина «Царь», к «Мелодии для шарманки» Киры Муратовой, к «Белой ленте» Михаэля Ханеке или к работе «Пыль времени» Тео Ангелопулоса, среди израильских картин не оказалось. В программах «Гала-премьеры» и «Перспективы» израильское кино не участвовало, в газете, освещавшей ход фестиваля на официальном сайте, рецензии ни об одном из израильских фильмов не появилось.

На пресс-конференции, посвященной подготовке 31-го ММКФ, его программный директор Кирилл Разлогов сказал, что основные принципы отбора фильмов — новаторство и шоковый характер, и пообещал много сильных эмоций.

Привлечение зрителей в кинотеатры в период кризиса дело непростое, тут все средства хороши. Не столько по причине новаторства, сколько благодаря попыткам сгустить страсти, появился в конкурсной программе «Муки в огне». Фильм этот можно воспринимать (при желании, конечно) как жестокую пародию на усредненный вкус

фестивальных киноведедов, некое среднеарифметическое того, что, по их мнению, должно фигурировать на фестивалях класса А.

Герой, точнее, антигерой должен быть неврастеником, обуреваемым комплексами. Он, конечно же, асоциален. Очень хорошо, если есть инцест (модная тема).

Муки не просто так и не только назло соседям писает в лифте, а из противоречивости своей натуры – всякий раз в этом обвиняют другого подростка, выходца из сефардской общины. Мама не разрешает Муки встречаться с одноклассницей-«бразильяночкой». А «марокканка», что равнодушна к Муки и готова на все, ему не нравится, хотя он и принимает ее ласки. Муки совершит инцест с матерью, после этого наденет форму офицера СС (мамин любовник задушил «фрица» собственными руками в 1945-м, мундир хранится в платяном шкафу...) и устроит дебош в ночном баре, где получит «...дюлей», – это означает, что он – сложная, неоднозначная (!) личность. Надо сказать, мундир идет ему меньше, чем героям «Семнадцати мгновений весны».

Все это проделывает хрупкий подросток из семьи польских евреев, приехавших в Израиль после второй мировой войны. Уже заматеревший и обрюзгший, седой и длинноволосый (типаж состарившегося хиппи) Муки живет в Норвегии, где, получив скорбную телеграмму, мучительно решает: ехать ли ему на похороны матери или ее «бросят в яму», как он выразился, без его участия. Если раньше с Муки мучились мама и подруги-израильяночки, то теперь ему соперничает блондинка из Норвегии. Успокаивает и подает виски. За окном крупными хлопьями падает снег, но Муки по-прежнему в огне.

Снято, надо сказать, без особых затей, примерно как в сериале. Проблема фильма – в его надуманном сценарии, а лучшее, что в нем есть, – саунд-трек и песня на слова Мордехая Гебиртига.

Молодые израильские кинематографисты как-то больше радуют. Анимационный фильм Т. Розенталя по сценарию Э. Керета — удавшаяся попытка говорить о серьезном с иронией, осваивая при этом новый киноязык. Интересны не только перипетии сюжетов, но и отдельные кадры, когда интерьеры, мимику, эмоции удается передать с помощью неожиданных находок, например крупных планов, на которых воспроизведены жесты, глаза, волосы, кожа лица. Завораживает не вполне понятный эффект схожести, достигаемый применением чужеродного материала. Примерно так завораживают большие стеновые мозаики, на которых фигуры людей собраны из цветной смальты.

У каждого из героев развивается свой сюжет. Влюбленный в фотомоделю бизнесмен, повинувшись ее прихоти и своей страсти, удаляет со своего тела всю «растительность» (девушка не переносит, когда волосы), выщипывает себе брови и ресницы.

Нищий, умирающий в начале фильма, в середине его появляется на пороге дома старика, которому не с кем поговорить по душам. Одинокий пенсионер и бездомный ангел-бродяга становятся собеседниками.

Сверху вниз. Кадры из фильмов
«Муки в огне», «\$9,99», «Семь минут в раю»



Мальчик, которому подарена улыбающаяся свинья-копилка, считает ее лучшим своим другом. «Если положить шекель, она мне улыбается, если положить полшекеля, тоже улыбается, если ничего не положить – она мне точно так же улыбается. Значит, она мне друг». Вместо того чтобы разбить копилку, он уносит ее на берег пруда, «отпускает на волю».

На том же пруду – заключительные кадры — подросток, изучивший брошюру о смысле жизни, учит своего отца плавать как дельфин, так же радостно выныривать из воды. Устами младенца, как известно... Анимация в последнее время успешно осваивает новые темы и осуществляет экспансию в «большое кино», пример этому – израильский «Вальс с Баширом».

Психологическая драма «Семь минут в раю» была показана в заключительный день фестиваля. Ее отличает удачный подбор актеров, убедительность кинодраматургии и внимание к деталям, из которых складывается повседневная жизнь. Вместе с тем это не реализм в чистом виде, психика женщины, уцелевшей после теракта, но потерявшей друга, постоянно дает сбой; зритель должен решать, где же – в сознании героини, в настоящем либо в прошлом – происходит увиденное событие. Открытый «чеховский» финал не прибавляет оптимизма. Вроде бы хэппи-энд, год спустя после взрыва Галья выходит замуж за врача, который вывел ее из состояния клинической смерти (где она находилась 7 минут, отсюда название). Но синдром перенесенного стресса не исчез...

На мой взгляд, игровые ленты «\$9,99» и «Семь минут в раю» отражают общие процессы и указывают направление, в котором будет в ближайшее время развиваться израильское кино. Нежелание израильских инвесторов вкладывать крупные средства в кинопроизводство, а также международные связи израильских режиссеров и продюсеров и впредь будут стимулировать появление копродукции. Новые технологии (главным образом цифровые) будут активно внедряться молодым поколением кинематографистов. Интерес к внутренней жизни героев, к парадоксальности человеческой природы, всегда присутствующий элемент социальности плюс небольшой бюджет фильма (что иной раз – благо), ведут к тому, что израильское кино развивается, условно говоря, в сторону Вуди Аллена, а не Стивена Спилберга. И всегда будет скорее «европейским», чем «американским».

ГОРОД ТРЕХ ИСХОДОВ

Аעאעראי אד דארף ירו

27 октября в Эрфурте, столице земли Тюрингия, откроется Еврейский музей. Этот город прочно связан с европейской историей и культурой: в местном университете учился Лютер, из Эрфурта происходит музыкальная династия Бахов, Наполеон, собрав конгресс монархов, осуществил здесь передел Европы, а Бисмарк провел съезд, повлекший объединение Германии. О еврейской составляющей Эрфурта известно меньше. Недавние открытия немецких ученых рассказывают о городской общине, чья история типологически воспроизводит многовековую летопись европейского галута.



Старая синагога постройки 1100 года. В 1270 году основной фасад принял свой современный вид

Проведя в полете около трех часов, «Боинг» авиакомпании «Air Berlin» совершил посадку в столичном аэропорту Тегель. Рассматривая сквозь автобусное окно район Шпандау и берега неширокой реки Шпрее, минут за пятнадцать добрались мы до главного вокзала Берлина Хауптбанхоф, за сутки пропускающего сотни тысяч пассажиров. Открытый в 2006 году главный вокзал – выдающийся образец современной архитектуры и новых технологий. Стены и кровли этого футуристического сооружения – тонированное стекло, заключенное в «невесомые» спайдерные конструкции. У вокзала пять уровней, нижний – для междугородных поездов, верхний – скоростная городская железная дорога, в комплекс также входит станция метро. С нижнего уровня на междугороднем экспрессе мы отправились в Лейпциг, чтобы там пересесть на поезд, идущий в Эрфурт.

Сорока минут между поездами хватило, чтобы сравнить «по контрасту» лейпцигский вокзал с Хауптбанхоф, оценить по достоинству его монументальные перекрытия, внушительные металлические арки на заклепках, напомнившие конструкции В. Шухова.

В Эрфурт мы с фотографом Василием Должанским прибыли уже после полуночи, совершили пешую прогулку по еще оживленному центру и легко отыскали отель «Ibis», стоящий на улице с интригующим названием Барфюссерштрассе (улица Босоногих).

Небольшой комфортабельный «Ibis» сохраняет очарование домашнего пансиона: уютно и малоллюдно. Расположение отеля мы оценили утром: окна номеров выходили на ту самую улицу Босоногих, на живописные руины Барфюссеркирхе, относящейся к основанному в XIII веке монастырю францисканцев, дававших обет бедности. Церковь была разрушена в период второй мировой войны. В середине лета в стенах бывшего монастыря под открытым небом дают музыкальные спектакли. В отреставрированной его части размещен музей средневекового искусства.

В девять утра в холле отеля нас ожидали радушно улыбающаяся Ренате Кляйн, шеф отдела маркетинга Туристического комитета Эрфурта, ее муж Йоахим и экскурсовод Райнер Бозекер.

По моим впечатлениям, в Эрфурте, в отличие от Берлина, нет иностранцев. Если, конечно, не считать таковыми граждан бывшего СССР, приехавших сюда после 1992 года.

В 1945-м Тюрингию заняла американская армия, через два месяца после окончания войны эту территорию обменяли на Западный Берлин и она стала частью ГДР. После объединения страны осенью 1990 года Эрфурт — столица федеральной земли Тюрингия, носящей гордое название «Свободное государство».

Первое дошедшее до нас упоминание об Эрфурте относится к 742 году, а евреи появились в этих местах в начале IX века. Тысячелетняя с вынужденными пробелами история евреев Эрфурта — драматическая эпопея, полная обретений и потерь, изгнаний и возвращений на пепелище, страницы ее свидетельствуют о силе духа, о человеческой жестокости и о том мрачном времени, каким было для евреев Европы все минувшее тысячелетие.

Древнейшее свидетельство о евреях Эрфурта — надгробный памятник с надписями на древнееврейском, высеченными в 1137 году. Евреи жили здесь небособленно, гетто не вводилось, бывший «еврейский» (по плотности населения) квартал располагался по обеим берегам реки Геры в районе нынешней Микаэлештрассе. Там же, на месте разрушенной синагоги, в первой четверти XIII века построили ныне отреставрированную Старую синагогу. До первого изгнания евреев из города в середине XIV столетия она принадлежала общине.

Еще одно древнее свидетельство об эрфуртских евреях, уже на немецком языке, — так называемая «Клятва евреям», данная в конце XII века архиепископом из Майнца, в чьем подчинении Эрфурт тогда находился. В этом документе регламентированы отношения иудейской общины с местной властью, церковной и светской в одном лице.

Евреи Эрфурта должны были вносить в казну Священной Римской империи подушную подать в оплату за свою защиту. Выражаясь сегодняшним языком, император обещал «крышу» евреям, обложив рэкетом каждого из них. В 1212 году Оттон IV право сбора этих денег подарил архиепископу Майнца. Святой отец немедленно увеличил «членские взносы» вдвое и к этому потребовал еще с каждого представителя общины «золотой пфенниг» в качестве пожертвования на церковь. Чтобы соответствовать этим

аппетитам, еврей-заимодавцы повысили процент по возврату кредитов, после чего купцы-кредиторы организовали погром, в котором погибло 26 евреев. Столетиями выплачиваемые «охранные деньги» никого из них не спасли.

В 1266 году опять начались волнения, была разграблена синагога. Тем не менее к концу XIII века еврейская община Эрфурта состояла из 150 человек и владела 15 домами. В 1306 году евреям разрешили приобретать гражданство, если они постоянно жили в городе. Эпидемия «черной оспы», как называли чуму, – действительно черная страница в истории евреев Эрфурта. Их обвинили в отравлении колодцев, и в марте 1349 года еврейские дома подверглись нападению. Погибло около ста человек, уцелевшие в этой бойне спешно покинули город.

Изгнание евреев из городов в средневековой Европе чередовалось с предложениями вернуться назад. И через восемь лет в Эрфурте вновь возникла еврейская община, к концу XIV столетия она насчитывала уже около 350 человек. Здание синагоги возратить не удалось, была построена новая – в центре города, на Фишмаркет, простоявшая до середины XVIII века.

Второй исход из Эрфурта произошел в середине XV века, на этот раз изгнание длилось около 340 лет. Изгнания евреев в этот период произошли во многих немецких землях и были обусловлены распространением учения Мартина Лютера. Кстати, биография реформатора тесно связана с Эрфуртом. В исторической части города стоит памятник Лютеру с надписью на постаменте: «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и распространять слово Г-сподне»: стих из псалма Давидова в переводе реформатора. И это, если угодно, тоже часть общей немецко-еврейской истории.

Изначально Мартин Лютер действовал по отношению к иудеям как миссионер, однако характер этих действий менялся на протяжении его жизни: от сочувствия в первые годы Реформации и до многостраничного памфлета «О евреях и их лжи», написанного на склоне лет в состоянии, как предполагают, помраченного рассудка.

В 1802 году еврейские купцы получили право жить в Эрфурте, внося подушную подать за каждого члена семьи. Наполеон Бонапарт, сделавший Эрфурт одной из своих резиденций, отменил «еврейскую пошлину», и в 1810 году евреи города получили гражданские права.

Третий исход из Эрфурта начался после прихода к власти Гитлера и длился до февраля 1945 года.



Эрфуртские сокровища

В 1998 году произошло событие, всколыхнувшее Эрфурт. Во время земляных работ на Микаэлештрассе, 43, под входным порогом средневекового жилища, строители обнаружили клад. Глиняные сосуды содержали сокровища: серебряные, позолоченные и золотые украшения, кубки для кидуша, средневековые европейские и арабские монеты, всего около 700 предметов общим весом до 30 кг. Возраст артефактов, среди которых нет вещей, изготовленных позже середины XIV века, позволяет утверждать, что клад зарыт во времена «чумного навета», перед тем как остатки еврейской общины спешно покинули город. Можно предположить, что найденное включает собственность нескольких владельцев и синагогальное имущество. Один из серебряных предметов напоминает массивный ключ от арон кодеш; объемный золотой перстень с колокольчиком внутри предназначен для свадебной церемонии: невесте, стоящей под хупой, его надевали со словами: «Этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моше и Израиля». Выставки эрфуртских сокровищ прошли в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, неизменно вызывая интерес специалистов, восхищение широких кругов и внимание прессы. Существует идея присвоить совокупному еврейскому наследию Эрфурта статус памятника культуры, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

Мы рассматривали эти уникальные предметы, специально для нас извлеченные из хранилища, в Тюрингском ведомстве археологии и охраны исторических памятников, находящемся в знаменитом Веймаре, что в 20 км от Эрфурта. Но перед тем как поехать в Веймар, познакомились с другой потрясающей находкой немецких археологов. Рядом с Микаэлештрассе, неподалеку от Старой синагоги, была обнаружена неплохо для ее возраста сохранившаяся миква, которую датируют серединой XI века. Сенсационность находки в том, что это древнейшая ритуальная иудейская постройка на территории Западной Европы. Рената и Йоахим Кляйн привели нас к живописному месту на берегу Геры, где мы увидели стены, сложенные из тесаного камня. То был небольшой, шириной около полутора метров бассейн, заполнявшийся выступавшей из почвы водой. Сохранились и остатки стен, скрывавших микву от посторонних. Как только фотограф спрыгнул в котлован и навел объектив, на краю раскопа, как из-под земли, вырос аспидно-черный «еврейский» кот, потомок тех кошек, что жили здесь в раннем Средневековье. Выгнув спину, кот неодобрительно наблюдал за манипуляциями пришельца, похоже, он ощущал себя хранителем этих мест...

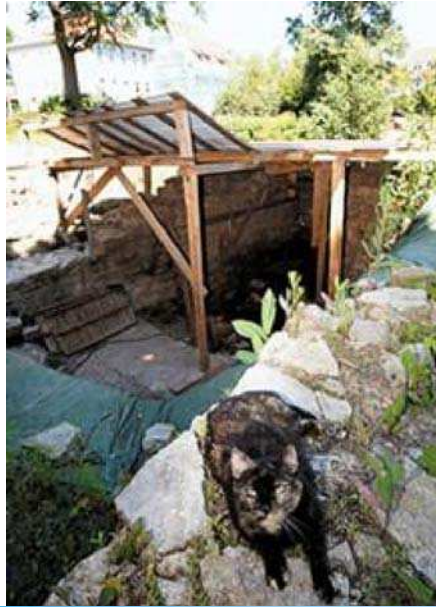
Старая синагога Эрфурта, заложенная в 1221 году на фундаменте прежней, принадлежала общине города до изгнания в 1349-м. Это здание в романском стиле, построенное из камня, добытого в тюрингских каменоломнях. Своими толстыми стенами,

узкой аркой входа, круглым оконцем под кровлей и внушительными сводами подземной части оно напоминает подготовленный к обороне, хорошо укрепленный форт. Здесь нашим экскурсоводом была медноволосая и голубоглазая Мария Штюрцебехер, искусствовед, специалист по еврейскому наследию Эрфурта и средневековым украшениям. По ее словам, с середины XIV века здание обрастало пристройками, ныне разобранными, было частным владением, использовалось как жилье, пивоварня, мастерские, постоялый двор, всего не перечислить. В XIX веке здесь находились ресторан с кегельбаном и танцевальным залом – о том, что столетия назад тут была синагога, никто уже не помнил.

Д-р Свен Остриц, руководитель Тюрингского ведомства археологии и охраны исторических памятников, предложил создать в Старой синагоге музей. В постоянную экспозицию войдут сокровища из найденного клада, а также свитки Торы и другие манускрипты, принадлежавшие общине и сохранившиеся в Еврейском музее Берлина. К открытию приурочен выход пятитомной монографии о еврейском наследии Эрфурта, авторы этого труда – д-р Мария Штюрцебехер и археолог-эксперт, исследователь истории городов Тюрингии д-р Карин Чех.

Снизу доверху, от подвала до опоясывающей зал верхней галереи, обошли мы здание будущего музея, заглянули под кровлю: на стропилах рядом со слуховым окошком, как символ возрождения, лепилось ласточкино гнездо.

Из окна направлявшегося в Веймар автомобиля наблюдали мы ухоженные поля и двухэтажные коттеджи, крытые красной черепицей. В отличие от загородных домов в России, ни один из них не стремился резко отличаться от соседей, превзойти высотой, богатством наружной отделки, затмить архитектурными «наворотами». Пейзаж оживляли ветряки, преобразующие энергию ветра в электрическую. Машину вел Йоахим Кляйн, Ренате сидела справа от него и давала необходимые пояснения. Время от времени Йоахим выдавал фразы из школьного учебника русского языка. «Меня зовут Коля Иванов», – неожиданно сообщал он. Пауза. «Мой папа работает на заводе, моя мама – медсестра». Жители бывшей ГДР, кому за тридцать, как правило, понимают разговорный русский, некоторые могут даже сносно объясниться. В Эрфурте, рассказала нам Ренате, есть улицы Пушкина, Чайковского и Юри Гагарин Ринг – магистраль, названная так после визита космонавта в Эрфурт. Переименования начала 90-х не коснулись этих названий.



Мост Лавочников. Единственный в Европе жилой мост. На нем находятся 64 дома.

Располагается в непосредственной близости от брода, давшего название городу и еврейской микве

На полпути между Эрфуртом и Веймаром находится печально знаменитый Бухенвальд, где погибло более 56 тыс. узников. В 40-х годах к нему из Веймара была проложена железнодорожная ветка, после войны разобранная. «Контраст между искусством живших в Веймаре художников, поэзией Гете, Шиллера и дорогой, ведущей в концлагерь, невозможно объяснить», — сказала Ренате Кляйн. На обратном пути мы подъехали к монументальной скульптурной композиции. Изможденные фигуры, выполненные из бронзы, стояли на высоком плато. За их спинами — вытянутое к небу огромное здание крематория в форме усеченной пирамиды. Перед ними, насколько хватает глаз, — залитые солнцем цветущие поля Тюрингии.

Наш экскурсовод по Эрфурту Райнер Бозекер рассказал, что его дед, крестьянин, владевший хозяйством на юге Германии, был приговорен к отправке в Бухенвальд: он голосовал против избрания Гитлера канцлером, все бюллетени в

небольшом округе были пронумерованы... Но знакомый чиновник переложил досье на Альфреда Бозекера в другую стопку, и потом оно благополучно затерялось.

Райнер Бозекер – известный в Эрфурте человек, с ним постоянно здоровались, раскланивались встречные. Музыкант по образованию и призванию, создатель квинтета духовых инструментов «Corps de musique», экскурсоводом российских и англоязычных групп он работает по совместительству. Со своим небольшим оркестром объехал он всю Германию, гастролировал в России, Франции и Италии.

Музыка – важная составляющая жизни Эрфурта, звучала она и на празднике Общества германо-израильской дружбы в Малой синагоге, куда нас пригласили после возвращения из Веймара. Малая синагога Эрфурта, расположенная в историческом центре, на берегу Геры, содержится мэрией и с ноября 1998 года используется как культурный центр, в котором проходят выставки, лекции, встречи, организуемые еврейской общиной. Сегодня община составляет 600 человек, более 95% — выходцы из постсоветских государств, часть евреев не участвуют в общинной жизни.

...В зале для приемов вокруг длинных столов собралось человек сорок. Немцев, интересующихся Израилем, среди них было больше, чем бывших наших соотечественников. Клезмерские мелодии играли два музыканта, один родом из Эрфурта, а другой – из Ташкента. Звучала немецкая речь, молодые люди, недавно побывавшие в Израиле, рассказывали о поездке, работе в кибуце, демонстрировали слайды.

Новая синагога Эрфурта, куда Райнер привел нас на следующий день, стоит на месте разрушенной в ночь с 9-го на 10-е ноября 1938 года. Прежняя — рассчитанное на 500 человек сооружение в псевдомавританском стиле с куполом и высокими арочными окнами — была освящена в 1884 году. Во время Хрустальной ночи, приуроченной ко дню рождения Лютера, ее разграбили и подожгли. Евреев Эрфурта обязали оплатить бензин, пошедший на «растопку», а также разборку обгоревших руин. Община объединяла тогда около 1000 человек, все они были постепенно депортированы в концлагеря, последний эшелон ушел в Терезиенштадт в феврале 1945-го... После освобождения в Эрфурт вернулось лишь 15 евреев.

Новое здание, сдержанностью линий напоминающее проект архитектора-минималиста, возведено в 1952-м. Это первая синагога, построенная в ГДР. На ее открытие приехали 600 человек из Тюрингии, Саксонии, Силезии и пограничных с ГДР районов Польши. Как и в других культовых сооружениях Эрфурта, здесь есть орган. Еженедельно раввин проводит в синагоге занятия для детей, сегодня она — центр возрождающейся религиозной жизни.

«Вам необходимо увидеть светильник, сохранившийся в Эрфурте с XIII века, — сказал Райнер, когда мы вышли из Новой синагоги. — По-немецки: Sabbatampel, “субботняя лампада”, она висит в католическом соборе». Направляясь к Домской площади, мы прошли мимо здания, в котором ныне работает правительство Тюрингии, а в прошлом располагался наместник правившего Эрфуртом архиепископа. Никаких атрибутов государственной власти на здании, охраны вокруг, не говоря уже о «мерседесах» с «проблесковым маячком», мы не увидели. Как говорил Лао Цзы, лучший правитель тот, которого подданные на замечают...



Мемориал, посвященный узникам Бухенвальда

Огромную Домскую площадь по диагонали пересекала утиная процессия. Впереди шествовали два селезня, за ними, стараясь не отставать, семенили три кряквы. Судя по их виду, они только что выбрались из Геры и спешили по неотложному делу. Наблюдая эту пастораль, отвлекшую нас от созерцания готической архитектуры, подошли мы ко входу в собор.

– Ваша история начинается здесь, – сообщил Райнер, указав на высеченные из камня средневековые скульптуры.

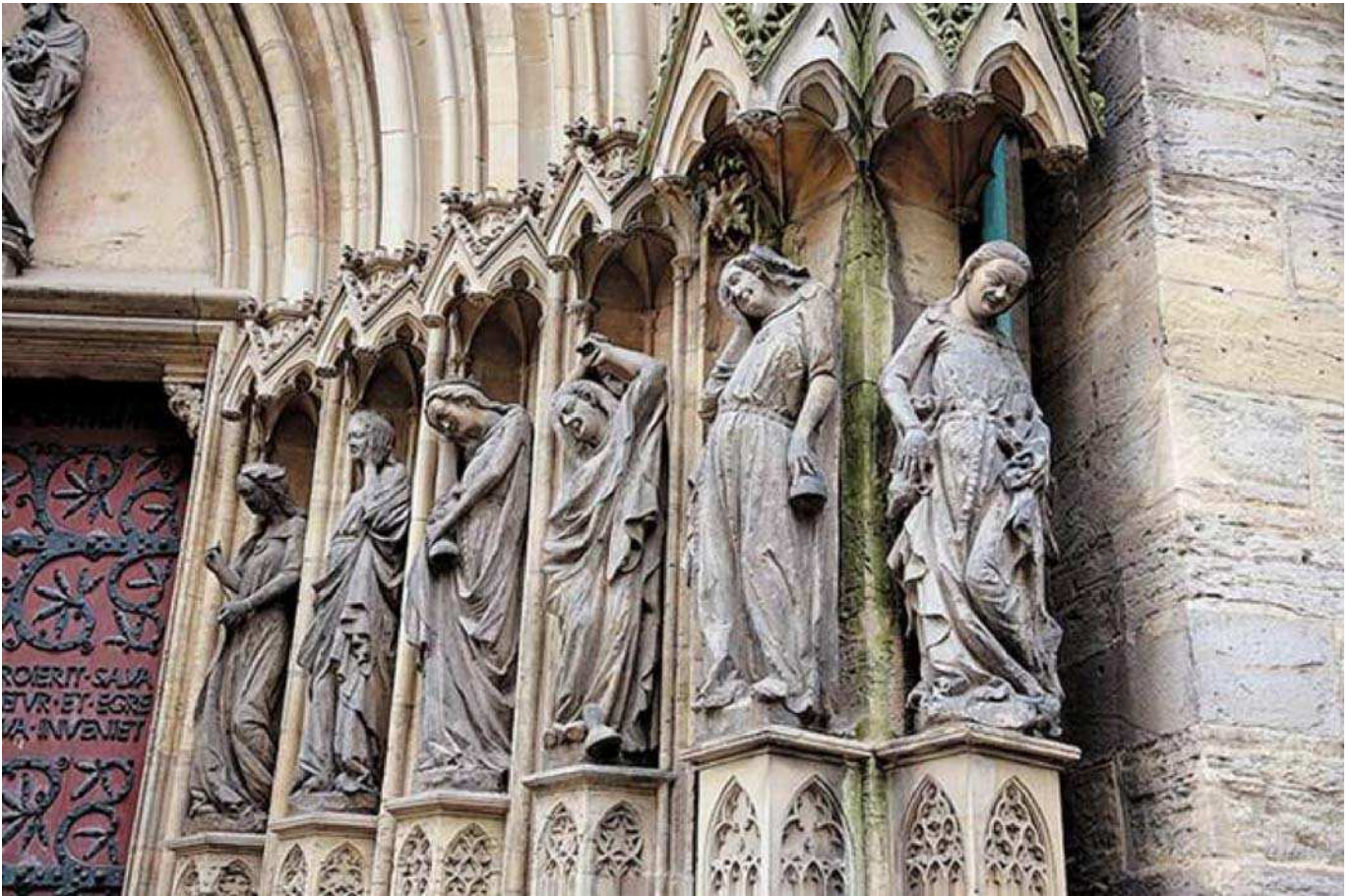
Статуи слева и справа от входа изображали «благоразумных» и «безумных» девиц. «Благоразумные» символизировали католическую церковь, а «безумные», роняющие из рук скрижали или кубок, – синагогу. В советские времена, помнится, подобный способ идеологической обработки назывался «монументальной пропагандой».



«Субботняя лампада» в интерьере католического собора

– Такая же аллегория есть и внутри: две девушки, у одной завязаны глаза, а другая улыбается и держит чашу с вином, — сообщил Райнер.

Никто сегодня не может сказать, как менора попала в собор, была ли она подарком общины. Эта двенадцатилучевая полая звезда из бронзы в Средние века заполнялась маслом, на остриях лучей горело двенадцать огоньков. В XIX веке лампу решили почистить и обнаружили надпись на древнееврейском. Датированная 1240-м годом менора — древнейший ритуальный светильник романской эпохи. Сегодня она висит в одном из приделов собора, по определенным дням над ней загорается фонарь, и свет его, как уверяет проспект для туристов, напоминает западному миру об иудаизме...



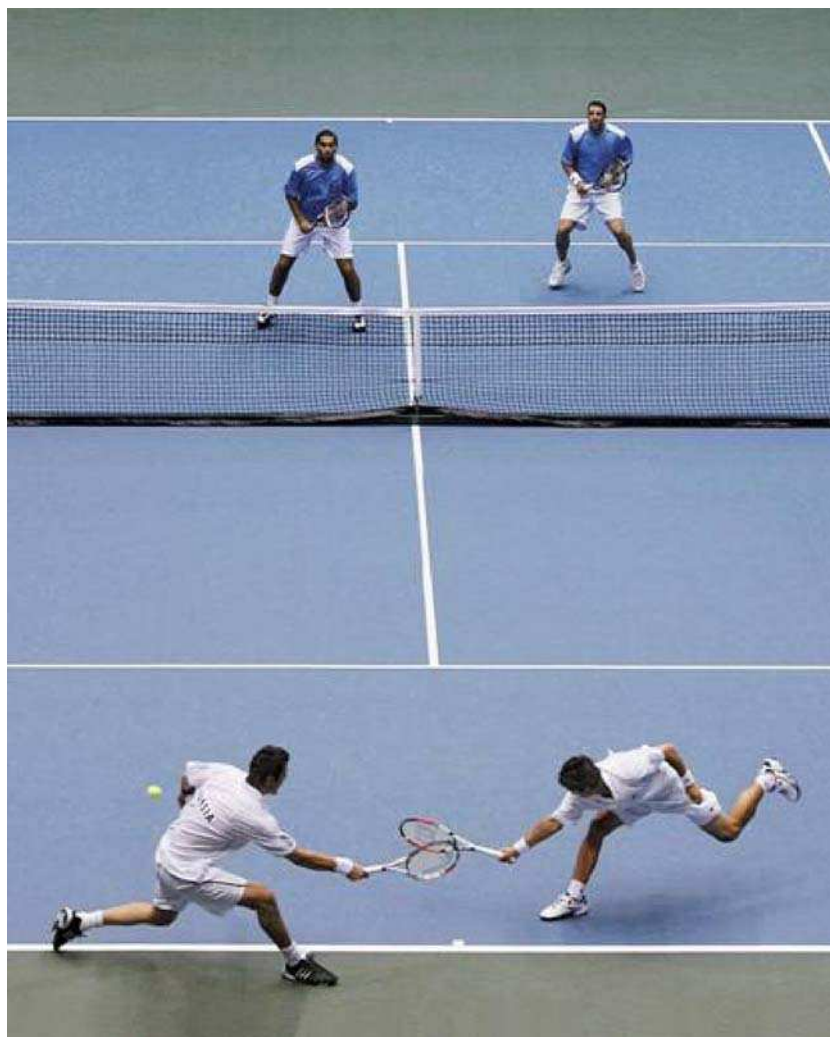
Аллегорические фигуры – корчащиеся в бесовских муках безумные девы, олицетворяющие синагогу, – у входа в кафедральный собор Эрфурта

Автор благодарит Национальный туристический офис Германии в России за организацию поездки и д-ра Карин Чех за консультацию при написании статьи.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО?

Марк Зайчик

В июле в Тель-Авиве во Дворце спорта «Нокиа Арена» прошел сенсационный четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса между сборными командами Израиля и России по теннису.



Парная встреча между Энди Рамом и Йони Эрлихом (Израиль) и Маратом Сафиным и Игорем Куницыным (Россия)

Интерес к трехдневной встрече этих сборных оказался огромным. Билеты были проданы заранее, причем несколько десятков болельщиков прилетели в Израиль из России.

В стране долго велся спор, где проводить теннисный матч с россиянами. Домашние корты Рамат-Ашарона обеспечивали преимущество израильтянам из-за сверкающего июльского солнца, привычного покрытия и близости трибун с неистовыми фанатами нашей сборной.

В конце концов, пришли к справедливому решению – провести игры в «Нокиа» по соображениям удобства и экономической выгоды: играть при наличии кондиционера и нормального освещения лучше для всех, не говоря уже о сэкономленных средствах, которые оказались очень кстати в это непростое для Федерации тенниса Израиля время. Стадион на 11 тыс. зрителей является домашней площадкой чемпиона Израиля по баскетболу команды «Маккаби» (Тель-Авив).

Россияне приехали в Израиль не в «оптимальном» составе. Отсутствовали Давыденко и Турсунов. Зато были Игорь Андреев, Марат Сафин, Игорь Куницын, отличные игроки, которые в мировом рейтинге стоят выше своих израильских соперников. Капитан российской сборной Шамиль Тарпищев выказывал в интервью сдержанный оптимизм. Ему вторил Марат Сафин, успевший разозлить многих, сказав, что «победа израильтян в Швеции в 1/8 финала была добыта благодаря травмам ведущих теннисистов в составе хозяев корта». Израильтяне же предпочли не говорить слишком много, потому что, несмотря на родные стены, явно шли вторым номером в этой встрече.

Первый день матча принес невероятный успех, которого не ждали даже самые большие оптимисты. Сначала 31-летний Харель Леви (212-й в мировом рейтинге) обыграл «на характере» 24-ю ракетку мира Игоря Андреева со счетом 6:4, 6:2, 4:6, 6:2. Этой победы никто не ожидал, на нее не рассчитывали, потому она так дорога. В стане российской сборной после этой игры наблюдалось известное потрясение, если судить по поведению Тарпищева и его ребят.

Во втором матче первого дня встретились 23-летний Дуди Сэла (33-й в мире) и Михаил Южный. Сэла сумел огромными усилиями переломить ход игры и вырвать победу со счетом 3:6, 6:1, 6:0, 7:5.

Израиль повел в счете после первого дня – 2:0.

Во второй день матча состоялась парная встреча, которая определяла все. Иерусалимский дуэт – 29-летний Энди Рам и 32-летний Йони Эрлих – состязался с Маратом Сафиным и Игорем Куницыным. Встреча продолжалась более четырех часов. Переполненный Дворец спорта неистово поддерживал свою пару, которая вела в счете 6:3, 6:4. Россияне, продемонстрировав класс и выдержку, сумели сравнять результат – 7:6, 6:4.

В пятой, решающей партии, в драматической ситуации, при счете 4:4 Энди-Йони, как их любовно кличут в Израиле, смогли победить 6:4 и принести своей сборной победу в четвертьфинальной игре. Эрлих и Рам показали замечательный теннис, бесконечную волю к победе и неукротимый боевой дух.

3:0 в пользу израильской сборной после двух дней матча! Впервые в истории наши спортсмены смогли выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса. Такого результата не мог предвидеть никто.



Дуди Сэла после победы в матче против Михаила Южного

Случившееся можно смело назвать мировой спортивной сенсацией. Эта победа – вероятно, самый большой успех национального спорта за всю историю Израиля. Выход в полуфинал Кубка Дэвиса стоит в одном ряду с такими достижениями, как золотая медаль Олимпиады в Афинах яхтсмена Галя Фридмана, «серебро» баскетбольной сборной на ЧЕ-1979 и европейское «золото» Алекса Авербуха в прыжках с шестом.

В последний день матча Сэла, получив травму, проиграл Игорю Андрееву. Затем Харель Леви победил Игоря Куницына, принеся израильской сборной четвертую победу в этой встрече. Окончательный результат матча 4:1 в пользу израильтян.

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что победа израильтян заслуженна и справедлива. Он объяснил провал своих ребят тяжелейшим графиком мировых теннисных турниров и несогласованностью работы их организаторов.

Капитан израильской сборной Эяль Ран отметил, что выход в четверку сильнейших сборных мира является огромным успехом всех спортсменов, тренеров и болельщиков команды.

Марат Сафин, для которого игра в Тель-Авиве была заключительной в составе сборной России, признался после соревнований, что израильтяне были подготовлены великолепно и победили по праву. «Я очень люблю Израиль и с удовольствием приеду сюда еще не раз», – сказал ветеран российского тенниса.

Теперь в полуфинальном матче розыгрыша Кубка 18–20 сентября наша сборная играет на выезде против Испании. Ожидается очень тяжелый матч, в котором израильтянам будет противостоять одна из сильнейших теннисных сборных мира. Три раза (в 2000, в 2004 и в 2008 годах) испанская команда выигрывала Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль (2-й в мире), Фернандо Вардаско (9-й) и Томми Робредо (14-й) играют за эту великую теннисную команду.

Проигрывать испанцам заранее никто в Израиле не собирается. В теннисе все возможно, даже в матче против сборной Испании с ее невероятным по силе составом.

СЕМЕН КАРЛИНСКИЙ. ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

5 июля на 85-м году жизни в своем доме в Калифорнии скончался выдающийся историк русской литературы, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Семен Аркадьевич (Саймон) Карлинский.



Профессор Карлинский был крупным исследователем литературы русского модернизма, драмы допушкинского периода, первым биографом Цветаевой, популяризатором русской литературы в Америке (его работы о Гоголе, Чехове и Набокове широко читаются и по сей день), автором первопроходческих трудов по истории русской гомосексуальной культуры, блестящим преподавателем, эрудитом и человеком глубокого и оригинального интеллекта.

Семен Аркадьевич никогда не жил в России: он родился в семье русских евреев в Харбине. В 1938 году семья переехала в Калифорнию, где Семена стали называть Саймоном. Во время второй мировой войны Карлинский служил в американской армии, а затем работал и учился в Берлине и Париже, всерьез занимаясь музыкальной композицией (он был учеником Артура Онеггера). Вернувшись в США в 1957 году и не имея систематического гуманитарного образования, он под руководством Глеба Струве и Романа Якобсона за девять лет прошел путь от студента-первокурсника до берклийского профессора русской литературы.

Научные труды принесли Карлинскому известность в среде профессионалов, а публикации в журналах «Нью-Йоркер», «Нэйшн» и литературном приложении к «Нью-Йорк таймс» – среди американской интеллигенции. Карлинский обладал прекрасным художественным чутьем, ярким писательским стилем и незаурядным чувством новой исследовательской проблематики.

Критические статьи о Набокове привлекли к молодому еще автору благосклонное внимание самого классика (по собственному признанию, прочитав работу Карлинского о своем творчестве, Набоков «мурлыкал словно кот» от удовольствия). Годы позже провокативная книга о роли сексуальности в творчестве Гоголя («Сексуальный лабиринт Николая Гоголя») скандализировала ученый мир и подверглась разному официальным советским литературоведов.

Свои главные труды Карлинский написал по-английски, и, к сожалению, они переведены на русский лишь в отрывках. Отношение к нему в России было двойственным: с одной стороны, он был культовым автором и его работы несомненно находили поклонников в филологической среде и за ее пределами.

С другой стороны, его интерпретация Гоголя и очерки истории гомосексуальной культуры представлялись некоторым советским филологам отражением извращенности загнивающего Запада, клеветой на русскую духовность, да и просто чудачеством.

Карлинский не без горечи отмечал отсутствие понимания его трудов в России (см. его подробное автобиографическое интервью, данное Славе Могутину в 1993 году). Однако ряд авторитетных работ по истории сексуальности в русской культуре, вышедших в последние годы как на Западе, так и в России, указывают на важное стимулирующее значение трудов Карлинского для последующих поколений историков русской культуры.

Много болея в последние годы, Семен Аркадьевич не переставал следить за литературной, музыкальной и научной жизнью. Он подготовил новые издания своих книг и начал работу над воспоминаниями. Его остроумные, парадоксальные и точные выступления в дискуссиях на берклийских славистических коллоквиумах часто вспоминаются их участникам. Смерть Карлинского была скорой и легкой: профессор Питер Карлтон, близкий друг Семена Аркадьевича в течение тридцати пяти лет, вышел из дома в сад нарвать цветов. Когда он вернулся, Карлинского уже не было в живых.

Άαήήέέ Άάθθòòάεί

ЗИНОВИЙ ВЫСОКОВСКИЙ.

МУДРЫЙ ШУТ

3 августа на 77-м году жизни скончался актер и писатель Зиновий Моисеевич Высоковский. Его кредо было: плачь перед Б-гом – смейся перед людьми.



Он родился 28 ноября 1933 года в Таганроге. С именем А.П. Чехова его связал не только родной город, но и чеховский принцип: «Будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у него нет чувства юмора, он – дурак». Когда в 1952-м юноша отправился в Москву поступать в Щукинское училище, его отец, главный бухгалтер кирпичного завода, тяжело вздохнув, сказал: «Ребенок с золотой медалью уходит в босяки».

Начало «босяцкого» пути казалось успешным: Зиновий прошел прослушивание и триумфально вернулся в родной город. Однако через два месяца в Таганрог из Главного управления учебных заведений пришла телеграмма с отказом в зачислении. Чуть позже выяснилось: в Москве раскручивалось «дело врачей» и евреев отправляли подальше. Юноша успел поступить в Таганрогский радиотехнический институт, где начинали готовить кадры для космоса: «Удивительно, но учиться в открытом театральном вузе мне не разрешили, а в совершенно закрытый радиотехнический взяли». Став дипломированным радиотехником, он тем не менее в 1957 году поступил в «Щуку», на курс В. Этуша. «Я сделал главное – я догнал свой поезд», – говорил он. После окончания училища Высоковский пришел в труппу Московского театра миниатюр (ныне Театр «Эрмитаж»), который возглавлял В.С. Поляков – сценарист «Карнавальной ночи» и тогдашний главный автор Райкина. «Говорили, что такого содружества не видели ни вблизи, ни вдалеке. Что на уме у Полякова, у Райкина на языке», – вспоминал артист. Там произошла знаменательная встреча: «Среди моих новых приятелей был коренастый, крепко сбитый парень с гитарой... В 1962 году Владимиру Высоцкому было 24 года, и никто не предполагал тогда, что именно он скажет от всех нас за всех нас про всех нас так, как никто другой...» Сам же Высоцкий, услышав однажды, как Высоковский исполняет его стихи, сказал: «Меня читать может только Зяма». Они долго дружили. И три года назад артист выпустил аудиокнигу «Мой Высоцкий» со стихами знаменитого друга и воспоминаниями о нем.

В 1966-м артист перешел в Театр Сатиры, который покинул в 1987-м, после смерти Андрея Миронова. «Художественное руководство Театра Сатиры во главе с главным режиссером и кукловодом просто нас ненавидело, – вспоминал Высоковский, – считало, что мы вносим в академическую сатиру (я до сих пор не понимаю, что это такое) некоторый привкус эстрады. Когда мы получили всесоюзную, действительно дикую популярность, то мы вроде стали самодостаточны, и он стал этого бояться».

А «дикая» популярность пришла к артисту благодаря телевизионному «Кабачку 13 стульев», куда он пришел в 1967-м. Шутки «зайцевода» и «зайцелюба» пана Зюзи (которые придумывал сам артист) повторяла вся страна. Казалось, маска пана Зюзи так приросла к Высоковскому, что он уже не сможет без нее. Но нет, он продолжал играть в театре, выступать на эстраде (цикл монологов о «Люльке»).

Его талант, ум и профессионализм ценил Аркадий Райкин, который безуспешно звал артиста в свой театр. Однако Высоковский обладал независимым и самостоятельным характером: в коллективе он всегда стоял особняком, наблюдал за происходящим со стороны. Он много размышлял над сущностью своей профессии и ее сегодняшней судьбой: «В нашей большой и прекрасной стране нет и никогда не было возможности сказать царю правду иначе, чем путем скоморошества и юродства. Шут, даже стоя на коленях, мог дать пощечину королю. Сейчас мы живем без царя в голове. И нет шутов. Талантливых придурковатых навалом. А в шуты не идут... Шут нищ, шут бескорыстен, шут гоним. Наше время таких шутов не рождает».

Книга «Жизнь моя – анекдот», вышедшая несколько лет назад, заканчивается словами книги Коелет: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это – доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?»

Ī èõàèĕ Ī à-Ēĭãĭ

Авторы номера

Евгений Берштейн (род. 1967) профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы в Рид-Колледже (Портленд, Орегон, США). Автор публикаций по истории русской литературы и культуры XX века.

Жанна Васильева арт-критик, сотрудничает в изданиях «Литературная газета», «Сегодня», «Персона» и др.

Йеуда Векслер (р. 1946) композитор, музыковед, писатель и переводчик. В его переводах издано более 40 книг.

Матвей Ганапольский (р. 1953) журналист, теле- и радиоведущий. Лауреат многочисленных журналистских премий: финалист «Тэффи», премии Международной конфедерации журналистских союзов, премии кинофестиваля «Золотой овен», премии «Телегранд».

Михаил Горелик (р. 1946) эссеист, публицист, литературный критик. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

Хаим Граде (1919–1982) один из крупнейших еврейских писателей XX века. Писал на идише. Получил светское и традиционное еврейское образование. Дебютировал как поэт, был членом литературной группы «Юнг Вильне». Автор сборников стихотворений, рассказов и романов «Безмужняя жена», «Цемах Атлас», «Немой миньян».

Валерий Дымшиц (р. 1959) антрополог, этнограф (фольклор и культурная антропология евреев Восточной Европы), литературовед, переводчик с идиша, английского и немецкого («Тяжба с ветром» [Антология еврейской литературной сказки], Ицик Мангер, «Книга рая»), директор центра «Петербургская иудаика».

Фридрих Дюрренматт (1921–1990) драматург, прозаик и публицист. Лауреат многих литературных международных и национальных премий, в том числе Мольеровской (1957), Шиллеровской (1959), австрийской Государственной премии за европейскую литературу и др.

Борис Жутовский (р. 1932) художник, мастер книжного оформления и абстрактной живописи. Один из представителей поколения художников-шестидесятников. Создатель большого цикла графических портретов современников «Последние люди империи».

Марк Зайчик (р. 1947) прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»). Печатался в журналах «Континент», «22».

Анна Исакова журналист, прозаик (роман «Ах, эта черная луна!» [2004]). Литературный обозреватель газеты «А-арец».

Аркан Карив (р. 1963) работал грузчиком, дворником, репетитором. Преподавал физику, иврит, английский, итальянский. В 1989 году переехал в Израиль. Работал журналистом, шпионом, официантом. Написал три книги об израильском сленге,

триллер (вместе с Антоном Носиком) и роман «Переводчик». Высшей ценностью считает аргентинское танго (из автобиографии Карива).

Борис Кли́н (р. 1970) журналист, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2006». Зам. главного редактора журнала «Человек и закон». Работал спецкором газеты «Коммерсантъ», журнала «Профиль».

Аркадий Ковельман (р. 1949) историк, заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура».

Евгений Левин (р. 1973) журналист, переводчик, автор пособий по еврейской традиции.

Меир Леви́нов (р. 1959) преподаватель истории иудаизма, переводчик и публицист. Автор книг «Владеющий Именем», «Еврейская чертовщина».

Аркадий Львов (р. 1927) писатель («Двор», сборники рассказов). В 1976 году эмигрировал в США. Работал на радио «Свобода».

Афанасий Мамедов (р. 1960) прозаик, журналист. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам».

Ольга Минкина историк, гебраист. Автор публикаций по истории и культуре евреев Российской империи конца XVIII – начала XIX века.

Алиса Найман режиссер-документалист, журналист. Автор фильмов «Мона Лиза», «Ништяк», «Омоним». Живет в Израиле.

Синтия Озик американская писательница, автор более десятка книг – романов, сборников рассказов и эссе. Награждена множеством премий, в том числе премией Бернарда Маламуда, премией О. Генри.

Александр Рапопорт (р. 1960) поэт (сборники «Образ жизни», «Имя и число») и журналист.

Давид Фейнберг (1840–1916) общественный деятель, автор мемуаров. Родился в Ковно, в 1863 году переехал в Петербург, где стал инициатором преобразования еврейской общины. С 1870 года занимал пост секретаря петербургской общины, а с 1891 года – главного секретаря петербургского Комитета Еврейского колонизационного общества.

Адин Эвен-Израэль (Штейнзальц) (р. 1937) раввин, педагог, ученый, почетный доктор ряда университетов Израиля и США. Автор свыше семидесяти книг и сотен статей, относящихся к самым разным областям науки, религии, философии и искусства. Основатель новаторских учебных заведений и просветительских организаций в Израиле и СНГ, в том числе Института изучения иудаизма (1990). В 1988 году удостоен высшей награды еврейского государства: Премии Израиля.